

«ИСПОВЕДЬ» В. И. КЕЛЬСИЕВА

Подготовка к печати Е. Книгисепп

Вступительная статья и комментарии М. Клевенского

1867 год был в русской общественной жизни исключительно беспросветным годом. «Белый террор», начавшийся после покушения Каракозова в апреле 1866 г., господствовал всюду. «Царила всюду тишина, мертвечина, нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной: ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду», — говорит один современник¹. В 1866 г. были закрыты правительством два руководящих органа передовой мысли — «Современник» и «Русское Слово», и литература была этим обезглавлена. Даже и за границей в 1867 г. прекратился «на полгода», как объявили издатели (в действительности навсегда), «Колокол». Нужно было некоторое время, чтобы русское общество хоть несколько оправилось от разразившегося в 1866 г. «белого террора». Признаки оживления начинаются с 1868 г. В этом году революционно-демократическая литература собирает свои силы и вновь обретает центр в «Отечественных Записках», фактически перешедших в руки Некрасова. Возобновляется и зарубежная периодическая пресса (французский «Kolokol», бакинское «Народное Дело»). Начинается заметное движение среди молодежи, в Петербургском университете происходят сильные волнения, на революционную сцену выступает С. Г. Нечаев. Но все это — уже 1868 и последующие годы. В 1867 г. все еще было глухо и неподвижно. Если кое-какие революционные организации, составлявшие промежуточное звено между ишутинцами и нечаевцами, и существовали, то они ушли глубоко в подполье, были совершенно незаметны в общественной жизни и слабы по своему личному составу².

С общей, крайне реакционной, атмосферой 1867 г. вполне гармонировало такое событие, как возвращение в этом году в Россию раскаявшегося в своем революционном прошлом В. И. Кельсиева. Сдача Кельсиева правительству была первым случаем открытого перехода человека, пользовавшегося репутацией революционера, в лагерь реакции, и поэтому она вызвала большое общественное внимание. В реакционной прессе происходило ликование. Например, в «Современном Листке» (газета, издававшаяся по два раза в неделю при духовном журнале «Странник») возвращение Кельсиева сопоставлялось с возвращением в Россию в 1866 г. иезуита Джунковского, и выражалась надежда, что их пример не останется бесплодным³.

Сильнейшее впечатление «обращение» Кельсиева произвело на Ф. М. Достоевского. В письме от 9/21 октября 1867 г. он пишет прямо с восторгом А. Н. Майкову, известившему его о новых взглядах Кельсиева и об освобождении его из тюрьмы: «Об Кельсиеве с умилением прочел. Вот дорога, вот истина, вот дело!». И со злобою он продолжает: «Знайте однако же, что (не говоря уже о поляках) [а] все наши либералишки семинарно-социального оттенка взвядятся как звери. Это их проймает. Это им хуже, если бы им носы отрезали. Ну, что им теперь говорить, в кого грязью кидать?»⁴. Кельсiev со своим обращением от революционности к монархизму и панславизму отразился и в художественном творчестве Достоевского: чрезвычайно убедительна высказанная в литературе гипотеза, что в основе образа Шатова в «Бесах» лежит личность Кельсиева⁵.

Более углубленное исследование этого эпизода показывает, однако, что восторги реакционной прессы не имели под собою особенно прочной почвы.

Мотивы своего возвращения в Россию и историю всех своих революционных попыток и заграничных злоключений Кельсiev подробно изложил в «Исповеди», писанной им с середины июня по 12 июля 1867 г., под арестом в III отделении. Документ этот не оставляет никакого сомнения в том, что ренегатство Кельсиева не явилось чем либо неожиданным, а наоборот, органически было связано со всем строем его социального поведения. С полной очевидностью «Исповедь» показывает, что эмиграция Кельсиева ни в какой мере не может рассматриваться как следствие его стойких революционных убеждений, что эмигрантом он сделался под влиянием кратковременного увлечения революционными идеями. О том, как поверхностно было у Кельсиева это увлечение, свидетельствует хотя бы тот факт, что революционное фразер-

ство прекрасно уживалось у него с самым откровенным юдофобством, которое сохранилось у него и в годы его эмигрантской жизни и следы которого отчетливо заметны и в «Исповеди». В период общего революционного подъема Кельсиев еще кое-как сохранял свой политический радикализм. Но как только, обстановка изменилась, его зыбкость обнаружилась вполне: будучи человеком довольно скромных внутренних ресурсов, Кельсиев со спокойной совестью пошел на капитуляцию. В этом смысле целиком справедлива та характеристика Кельсиева, которая была дана ему Ткачевым в одной непропущенной царской цензурой статье⁶: «...эмигрантом г. Кельсиев сделался не во имя какой-нибудь идеи, не ради какой-нибудь деятельности, не в силу какого-нибудь мирозерцания или, по крайней мере, какой-нибудь гнетущей необходимости, а просто потому, что «ветром в ту сторону подул», — писал Ткачев. — «По той же самой причине сделался он сперва утопистом, потом отрицателем, дошедшим до отрицания всего мира, рода человеческого, мира чувства, своих воспоминаний и своих надежд, потом руссофилом, доводящим свое руссофильство до обожания кнута и батога... и, наконец, сотрудником «Голоса» и «Всемирного Труда», наперсником гг. Краевского и Хана. Каковы превращения, каково хамелеонство! Если бы флюгер умел понимать и чувствовать по-человечески, он вероятно позавидовал бы удивительной способности г. Кельсиева применяться к направлению ветров».

Однако интерес «Исповеди» не ограничивается тем, что она очень ясно рисует побудительные мотивы ренегатства ее автора. Если бы дело было только в этом, то она, может быть, и не заслуживала бы серьезного внимания. Но она, кроме того, представляет собою существенный источник по истории русского общества и литературы эпохи отмены крепостного права, той эпохи, когда Россия, по выражению Ленина, делала первый шаг на пути превращения из феодальной монархии в буржуазное государство. В течение этой эпохи, имевшей громадное значение для всей последующей истории России, автор «Исповеди» близко соприкасался с Герценом и Огаревым в их издательской деятельности. Хотя ни Герцен, ни Огарев отнюдь не преувеличивали сил и способностей Кельсиева, они относились к нему с известным доверием, и повседневная жизнь знаменитых эмигрантов была ему известна ближе, нежели их многочисленным случайным посетителям. Кельсиев провел в Лондоне те годы, когда популярность издателей «Колокола» находилась в зпоее, когда их имена гремели по всей России, когда чуть ли не каждый русский, попавший в столицу Англии, считал своим неперенным долгом посетить Герцена и засвидетельствовать ему свое уважение. В главе «Апогей и перигей» в VI-й части «Былого и дум» Герцен ярко описал эти годы. Первая часть «Исповеди» Кельсиева, посвященная его пребыванию в Лондоне, служит ценным материалом для комментария к «Былому и думам».

Разумеется, относиться к Кельсиеву как к беспристрастному свидетелю было бы грубой ошибкой. Многого в деятельности Герцена и Огарева Кельсиев просто не понимал; порой преднамеренно искажал истину. Иные из его характеристик и оценок стоят на грани клеветы. Чего стоят, например, его слова о том, что Герцен был, по сути дела, не революционером, а реформатором, что его только принимали за агитатора, а в действительности он был «органом оппозиции старому порядку вещей, появившейся и действовавшей в самой России». В этом суждении Кельсиева действительность поставлена на голову: мы знаем, что хотя Герцен колебался порою между либерализмом и демократизмом, «демократ все же брал в нем верх» (Ленин). Таким образом, все сообщаемые Кельсиевым сведения, а тем более высказываемые им оценки, подлежат, конечно, самой тщательной критической проверке. Но при бедности мемуарных материалов, дошедших до нас от эпохи 60-х годов, нельзя пренебрегать и таким источником, как «Исповедь», при всей его порочности.

Много интересных сведений содержит и 2-ой отдел «Исповеди», посвященный описанию тайной поездки Кельсиева в Россию для установления связи с русскими революционерами и со старообрядцами, которых, из-за преследований, выпавших на их долю со стороны царского правительства, Кельсиев имел наивысшую считать естественными союзниками революционной партии. Революционное движение 60-х годов до сих пор изучено чрезвычайно недостаточно. Отчасти это объясняется опять-таки крайней скудостью материалов, дошедших до нас от этой эпохи. Поэтому второй отдел «Исповеди» Кельсиева, повествующий о событиях, совершенно не освещенных другими источниками, не может не привлекать к себе внимания всех интересующихся революционным движением 60-х годов. Безусловно весьма ценны те данные, которые Кельсиев приводит относительно братьев Серно-Соловьевичей, игравших видную роль в движении тех лет, и относительно других участников этого движения.

Своеобразный интерес представляет третий раздел «Исповеди» Кельсиева, описывающий его деятельность в Константинополе в 1862—1863 гг., имевшую своей задачей объединение элементов, настроенных враждебно по отношению к царскому правительству: старообрядцев, переселившихся из России в Турцию, чтобы избежать преследований за веру, полков-эмигрантов, черкесов, эмигрировавших из только что завоеванной царизмом их родины. «Исповедь» Кельсиева является буквально единственным источником для ознакомления с этой средой.

После Кельсиева немало революционеров оторвалось от своего прошлого и

перешло в лагерь самодержавия. Почти для всех этих ренегатов характерно то, что после своего обращения они отзывались с резкой враждебностью о своих прежних товарищах и руководителях по революционному делу. Конечно, в своем положении «кающегося грешника» Кельсиев не был и не мог быть объективен. Но как в «Исповеди», так и в позднейших высказываниях, он старался не забрасывать грязью всех тех, с которыми раньше шел рука об руку. Короче, насколько это было доступно ему как ренегату, пытался соблюсти видимость порядочности. Он говорит в «Исповеди» о своей искренней любви к Герцену, дает самые хорошие отзывы о братьях Серно-Соловьевичах и др. То же самое мы находим и в «Пережитом и передуманном». О Герцене и Огареве там сказано: «Вражды к ним у меня, разумеется, не было, да и быть не могло: расставаясь с ними в 1862 г., я унес об них самое светлое воспоминание, от которого не имел повода до сих пор отказаться. Если они ошибались и до сих пор ошибаются, как политические деятели, все же я лично не имею повода считать их нечестными или недобросовестными»⁷.

Уже через четыре года по возвращении в Россию, в рецензии на книгу Н. С. Лескова «Загадочный человек», Кельсиев решительно восстал против того, что Лесков назвал эпоху 60-х годов «комическим временем». «То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, считаю я своим священным долгом. Мы ошибались: мы думали сотворить в России революцию — но время наше комичным не было. Что значит комическое время? спросил бы я г. Стебницкого. Мне кажется, что и сам Дон-Кихот далеко не только комичен. Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами гороховыми, какими нас старается представить г. Стебницкий, мы не были». Там же говорится о братьях Серно-Соловьевичах и Ничипоренко: «Они целиком, вполне, безвозвратно принадлежали к этому времени, и если они погибли, если по груди их проехала тяжелая телега истории, то я все же не вижу, за что и почему над ними смеяться и за что бросать грязью в их память»⁸.

Такое же отношение к революционерам Кельсиев проявлял и в своих устных беседах. По свидетельству одного литератора, познакомившегося с Кельсиевым уже в 1870 г., его отзывы о лицах, с которыми он был близок в период своего эмигранства, были добродушны и беззлобны, а об иных он отзывался даже с теплым сочувствием⁹.

Конечно, не исключена возможность, что этот внешне-объективный тон в отношении к Герцену, Огареву и другим революционерам был продиктован Кельсиеву определенными тактическими соображениями: не надо забывать, что, возвращаясь в Россию, он мечтал о какой-то общественной карьере, которая была невозможна без завоевания известных симпатий со стороны некоторых общественных групп. Вполне вероятно, что, принимая на себя обличье «беспристрастного свидетеля», Кельсиев стремился купить таким путем благожелательное отношение к себе со стороны известных слоев русской общественности.

Рассказ о своей жизни Кельсиев писал в тюрьме III отделения, в ожидании того или иного решения своей участи. Его «Исповедь» должна была послужить доказательством искренности его обращения и раскаяния. При таких условиях совершенно естественно должны были возникнуть и действительно возникли предположения, что «кающийся грешник» неизбежно будет покупать улучшение своего положения ценой выдачи других. В упомянутом письме к Майкову Достоевский говорит об этом: «...Теперь про Кельсиева говорить будут, что он на всех донес. Ей-богу, помнящее мое слово». Сделать такое предсказание было не трудно. В «Пережитом и передуманном» Кельсиев говорит: «Помилование мое возбудило много толков и комментариев. Слухи ходили чрезвычайно разнообразные и, как водится, большей частью преувеличенные и фантастические. Причин моего возвращения никто не знал, да и до сих пор никто не знает. Мне удавалось слышать, будто я еще из-за границы условился с правительством и будто сдача моя в Скулянах была вперед подтасованным делом. Говорили тоже, будто я множество лиц запутал в своих делах и будто сорок человек — так уверяли, что ровно сорок — сидят по моей милости в крепости»¹⁰.

Очень трудный момент для Кельсиева создавался тогда, когда следователи III отделения, исходя из показаний «Исповеди», ставили ему дополнительные вопросы и требовали большей конкретности и детальности, добываясь имен и всего того, что могло быть полезным для целей политического сыска. В общем, Кельсиев придерживался и здесь той же тактики. Написанный им довольно обширный список посетителей Герцена в Лондоне в начале 60-х годов не давал никаких существенных нитей и не был опасен для названных им лиц.

Интересно отметить, что когда зашла речь о поляках-эмигрантах в Галаце, которых Кельсиев мог считать находящимися в полной безопасности от русского правительства, то тут он показал довольно хорошую осведомленность и дал довольно много сведений.

Толки о «сорока лицах», якобы выданных Кельсиевым и арестованных, не имели реальных оснований. Никакого дознания, на основании показаний Кельсиева,

не возникло, и неизвестно, чтобы кто-нибудь был арестован вследствие оговора Кельсиева.

Не всегда, однако, Кельсiev в его положении мог избежать таких моментов, когда ему приходилось оказывать те или иные услуги правительству в деле сыска. Известен такой случай. В начале 1867 г. у вятского купца И. П. Ворожцова при обыске было найдено письмо с подписью «Н. О.». Ворожцов дал неправдоподобное объяснение, что письмо писано неким Николаем Пестеревым, однако, в III отделении основательно заподозрили, что автор письма — Огарев. Для проверки этого предположения прибегли к экспертизе Кельсиева, еще находившегося в тюрьме III отделения. На допросе 8 августа в следственной комиссии он категорически удостоверил: «Почерк предъявленного мне письма я без всякого колебания признаю почерком Н. П. Огарева, — ошибиться мне в этом невозможно»¹¹. В данном случае Кельсiev, конечно, не мог отговориться незнанием, как это часто делал на допросе по своему делу: никак нельзя было поверить, чтобы он не знал почерка Огарева. Поэтому он, стремясь произвести впечатление вполне откровенного человека, признал руку Огарева. Так «раскаяться» Кельсiev, хотел он того или не хотел, неизбежно толкало его на путь осведомительства.

Кельсiev подробно изложил фактическую сторону своего пребывания за границей. Своей жизни до эмиграции он касается в «Исповеди» очень мало. Этот период может быть несколько освещен на основании «Пережитого и передуманного» и других источников.

Василий Иванович Кельсiev, родившийся в 1835 г. в Петербурге, принадлежал к очень обедневшей и давно потерявшей всякие связи с поместным землевладением дворянской семье. По некоторым сведениям, он «принадлежал к роду, вышедшему в Россию с Кавказа при Екатерине II и имевшему право на княжеский титул, с течением времени утраченный»¹². Сведения эти очень сомнительны. Во всяком случае, уже дед Кельсиева был простым канцелярским служителем в г. Шацке. Отец же его служил старшим помощником пахтаузского надзирателя петербургской таможни и вышел в отставку коллежским асессором. Обстановка детства Кельсиева была семейной обстановкой мелкого служащего, хотя отец его, о котором у нас имеется мало сведений, был не чужд образования¹³.

С семи или восьми лет Кельсiev учился в одном частном пансионе, когда же ему минуло десять лет, т. е. в 1845 г., отец отдал его в коммерческое училище, где он пробыл десять лет. Отец содержал его в пансионе на свои средства, но когда отец скоропостижно умер в марте 1852 г., возможность учиться на свой счет кончилась. Мать хлопотала о казенном содержании. О результатах хлопот имеются две разные версии. Брат Кельсиева, Иван, на допросе следственной комиссии в 1862 г. показал: «Так как брат еще в очень молодых летах начал заниматься восточными языками (китайским, манчжурским и т. д.), то Американская компания, имея в виду извлечь впоследствии какую-нибудь выгоду из этих знаний моего брата, приняла на себя издержки его окончательного образования»¹⁴. Аверкиев же, товарищ В. Кельсиева по учению и близкий к нему человек, утверждает, что Кельсiev, по смерти отца, воспитывался на счет экономических сумм училища¹⁵.

Во время пребывания Кельсиева в училище у него продолжало развиваться то же романтически-мечтательное направление, которое впервые сложилось еще в раннем детстве. «Часто припоминается мне наше училище с его толстыми липами и соснами, как иглы, прямыми березами. Сколько раз, бывало, гуляя по его аллеям в рекреационные часы, начинал я мечтать об разных вычитанных мной рыцарских подвигах, об невероятных путешествиях, о геройских встречах с разбойниками, о тех заключенных в башнях красавицах, которых следовало мне освободить из-за железных решеток, из власти их жестоких похитителей»¹⁶.

Из событий внешнего мира до коммерческого училища доходили отдаленные и очень неясные слухи о революционном движении 1848 г. в Западной Европе. А в 1849 г. ученики узнали об аресте петрашевцев. В мечтательном уме Кельсиева петрашевцы стали представляться, как очень интересные, традиционные романтические заговорщики. «В Петербурге заговор. Какие-то заговорщики, какие-то страшные люди собрались, хотели бунт сделать... Так и представлялись страшные, бледные фигуры с бородами, — а тогда бороды были запрещены еще, — с длинными волосами, в шляпах, надыннутых на брови, в широких плащах с красной подкладкой, с кинжалами и с ядами; клялись они на черепах, расписывались собственной кровью, что-то страшное делалось. Зачем? Для чего делать бунт? Чем и кто их обидел? И в то же время, — воспоминание ли это делало, или дух времени был таков, — сочувствие к этим ужасным заговорщикам все-таки шевелилось в душе. Они были окружены загадкой, они тайну для нас составляли, они были запечатанным письмом. Мысль не могла оторваться от них, и детский ум все работал и работал над вопросами: для чего, зачем, почему люди делают заговоры, чего хотят?»¹⁷.

В 1855 г. Кельсiev окончил училище с чином XIV класса и тотчас же поступил вольнослушателем на филологический факультет Петербургского университета. Средства для жизни он получал от службы в Российско-Американской компа-

нии за двадцать пять рублей в месяц; обязанности его состояли в переводе коммерческой корреспонденции с английского и немецкого языков¹⁸.

Под влиянием патриотических настроений, вызванных Восточной войной, Кельсиев решил было идти на военную службу вольноопределяющимся. Ему уже представлялось, как он в качестве офицера или юнкера ведет свой отряд на приступ, оказывает чудеса храбрости и пр. Но узнавши, что вышло распоряжение не пускать вольноопределяющихся в дело, а оставлять их в резерве, он не стал подавать прошение и вернулся к своим занятиям.

В 1856—1857 гг. с Кельсиевым был близок Н. А. Добролюбов, тогда студент старших курсов Главного педагогического института. Кельсиев производил на До-



В. И. КЕЛЬСИЕВ

Гравюра на дереве

Литературный музей, Москва

брюлюбова очень благоприятное впечатление. 20 января 1857 г. Добролюбов записывает в дневнике: «Это человек серьезно мыслящий, с сильной душой, с жадной деятельности, очень развитый разнообразным чтением и глубоким размышлением... Он не пугается отвлеченных вопросов, но берет их, не разобщая с жизнью. Одно, что мне в нем не нравится, это излишняя прихотливость в отношении к собственной жизни. Может быть, впрочем, что и это в нем есть следствие внутренних сил, которые ищут себе выхода и рвутся в разные стороны»¹⁹.

В дневнике Добролюбова дальше следует рассказ о различных планах Кельсиева и о его мечтаниях — о том, что Добролюбов называл «прихотливостью в отношении к собственной жизни». Кельсиев имел в виду ехать в Китай; китайский язык он изучил так, что мог свободно говорить на нем, и много читал по-китайски. Но вдруг это все ему надоело, и летом 1856 г. он с головой ушел в изучение естествознания. Этого увлечения хватило на несколько месяцев, Кельсиев опять вернулся к изучению Китая, но вскоре опять решил, что от поездки в Китай он никакой пользы сам не получит и другим не принесет. В январе 1857 г. он расспрашивал Добролюбова о славянской филологии, имея в виду выдержать экзамен на звание учителя русского языка и стать преподавателем. «Надолго ли это, не

знаю», — скептически добавляет Добролюбов. В 1857 г. Добролюбов оставил занятия в университете, не доведя их до конца.

О последнем годе своей жизни в Петербурге перед эмиграцией Кельсиев вспоминает в письме к Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи: «Напиши также, что делают старые петербургские знакомые времен наших поэтических вечеров в доме Юннера, времен блаженного 1858 года, моих медовых месяцев: Курочкины, Алексей Потехин, Кожанчиков, Максимов, Малиновский, П — и, Шифнер, Любиль, Ф. Достоевский, Горбунов, Островский, Березин, проф. Васильев, проф. А...ни, Касаткин московский etc., etc. Шифнер что делает? Всем им поклон»²⁰.

В перечне этих знакомых Кельсиева обращает на себя внимание упоминание Ф. Достоевского. Очевидно, Федор назван здесь по ошибке вместо Михаила: Ф. М. Достоевский в 1858 г. жил еще в Сибири, и Кельсиев никак не мог встречаться с ним в Петербурге.

Кельсиев начинает свой рассказ с того момента, когда он в 1859 г. появился в Лондоне и вместо того, чтобы ехать на Аляску старшим помощником колониального бухгалтера, сделался эмигрантом. Он в это время представил собой человека, захваченного радикальными влияниями времени, но находившегося еще в периоде брожения, не устоявшегося. Герцен, характеризую Кельсиева, особенно подчеркивал в нем элементы критики и отрицания. «С первого взгляда можно было заметить много неустойчивого и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опеки и крепостей, но еще не прижился ни к какому делу и обществу: цели не имел... От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскчал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведения... Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и, очертя голову, пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относились он к вере и к неверию, к русским порядкам и к порядкам западным»²¹.

Становясь эмигрантом, Кельсиев имел в виду, прежде всего, литературную деятельность. В конечном счете, в этой деятельности он потерпел полную неудачу. Его первая статья в «Колокол» по женскому вопросу была решительно забракована Герценом, и Кельсиев позже сам был ему благодарен за это. В «Колоколе» вообще не появилось ни одной значительной статьи Кельсиева; роль его ограничивалась тем, что он просматривал корреспонденцию, приходившую из России, составлял иногда на основании ее заметки, держал корректуру и пр. Это была полезная, но совершенно второстепенная роль. Увлечшись расколом, он начал было писать о нем книгу, но увидел, что это ему не по силам, и ограничился опубликованием материалов о расколе со своими вступительными заметками. В «Общем Вече», казалось бы, Кельсиев должен был играть первенствующую роль (и он на это рассчитывал), однако несколько его статей для первого номера были отвергнуты Герценом и Огаревым, а в последующих номерах он вовсе не участвовал. Разумеется, тут нельзя говорить о каком-нибудь недоброжелательстве Герцена и Огарева к Кельсиеву, а лишь о том, что он оказался неподходящим публицистом для зарубежных органов.

Неудачу своего перевода библии признавал сам Кельсиев. Если прибавить к этому прокламацию 1863 г., изданную Кельсиевым в Константинополе, то этим ограничится во всех смыслах незначительная литературная его продукция за весь революционный период его деятельности.

Обращаемся к непосредственной практической революционной деятельности Кельсиева. Здесь заслуживает внимания то, что он сообщает о пунктах своего расхождения по вопросам тактики с Герценом и Огаревым. Расхождение состояло в том, что Герцен и Огарев ограничивались ролью публицистов-пропагандистов, а Кельсиев указывал на необходимость создания какой бы то ни было организации имеющих революционных и оппозиционных сил. «Я тысячу раз указывал на это Герцену и Огареву, но они стали на своем... Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а организовать, ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков не хватало, — они не были государственные люди».

Ясно, что настоящим «государственным человеком», в противовес Герцену и Огареву, Кельсиев считал себя. Ему даже казалось иногда, что Герцен и Огарев сами сознают это его преимущество. Когда он впервые собрался в Константинополь, его старые товарищи высказались против этой поездки, как не имеющей определенной цели. «Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня вперед, и мое имя загрозило бы их имени, так что их значение, как публицистов, померкло бы перед моим значением агитатора». Нечего и говорить о том, что представление о себе, как о «государственном человеке», у политически неустойчивого и очень сумбурного Кельсиева было чистой иллюзией. Н. А. Серно-Соловьевич на допросе в следственной комиссии в январе 1864 г. дал такую

общую характеристику Кельсиева: «...И с одного раза можно было понять, что это не политический деятель. Он человек, повидимому, с добрым сердцем, но болезненный, нервный, впечатлительный... Он легко возбудит участие лично к себе, но всегда поселит недоверие к делу, за которое берется»²².

Своеобразие революционной деятельности Кельсиева за границей определяется его стремлением привлечь к революционному движению раскольников и сектантов. Он очень живо рассказал, какое сильное впечатление произвело на него знакомство с документами о расколниках и об их преследовании правительством: «Я всю ночь не спал за чтением. Я чуть с ума не тронулся. Точно жизнь моя переломилась, точно я другим человеком стал». Герцен, которому он с горячим увлечением рассказал о расколниках, поручил ему сделать из имеющихся документов извлечения для печати, чтобы осветить деятельность правительства против раскола. Но Кельсиеву этого было мало: «Мне захотелось приманить раскольников на нашу сторону, возбудить в них политическую оппозицию правительству, воспользоваться беспопытским учением, что царь — антихрист, министры и архиереи — архангелы сатаны, чиновники и священники — воплощенные черти. Мне хотелось сделать для раскольников практический вывод из их верований, надоумить их, чего им хотеть, чего добиваться и кого держаться».

Идея о том, что революционеры могут найти себе поддержку у старообрядцев и сектантов, как гонимой правительством части населения, как известно, была очень живуча в истории русского революционного движения. Попытки революционизировать раскольников и сектантов проходят через все 70-е и 80-е годы и не прекращаются до самого конца XIX в. Попытки были обречены на неудачу, но этой идее о расколниках, как естественных союзниках революционеров, отдала дань очень видные революционеры — такие, как А. Д. Михайлов и др. Родоначальником этого течения революционной мысли является, несомненно, Кельсiev, потративший много энергии на заведение связей с расколниками и воздействовавший в этом направлении на своих старших товарищей — Герцена и Огарева.

Неустойчивый, легко поддающийся разным влияниям, Кельсiev, мечтавший сначала обратить раскольников к революции, сам, в конце концов, подчинился реакционной идеологии раскольников и сектантов. Он рассказывает о том, как многому его «научило» (т.е. приблизило его к приятно идее самодержавия) более близкое знакомство с старообрядцами. Характерно, что человеком, с которым Кельсiev советовался о возвращении в Россию с покаянием и который вполне поддерживал его в этом намерении, был яский скопец Константин Степанович.

Следует отметить, что известную наклонность к мистике Герцен заметил в Кельсиеве уже с самого начала: «Особенно оригинально то, что в скептическом ощущении Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре. Церковный оттенок, наречие и образность остались у него в форме, в языке, в слоге и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противоположных металлов»²³. О том же вкратце упоминает и Серно-Соловьевич: «Занятия богословскими вопросами положили на него весьма странный отпечаток»²⁴.

В сложной и запутанной жизни Кельсиева имели немаловажное значение его крайнее самодлюбие и честолюбие. Он был уверен в том, что ему предстоит сыграть важную историческую роль, и за что бы он ни брался, в его воображении немедленно возникали самые широкие и блестящие личные перспективы. В «Исповеди» порой очень чувствуется неумеренность его самооценки. Но особенно характерно в этом отношении письмо его к Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи. Письмо писано тогда, когда Кельсiev уже вполне разочаровался в своих прежних путях и претерпел большие жизненные удары. Свои надежды он сосредоточил в это время на литературной деятельности, и деловой целью его письма было желание узнать о возможности печататься в русских журналах. Свои писания Кельсiev охарактеризовал следующим образом: «Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и желчь Данте — и ты получишь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений. Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в обрванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется не продолжаемой никем»²⁵. Это звучит совсем уже по-хлестаковски.

О печальной судьбе Кельсиева после его возвращения в Россию немного можно сказать. «Исповедь» его, законченная 12 июля, была доставлена на прочтение Александру II. 3 сентября последовало распоряжение царя о полном прощении Кельсиева, с восстановлением его, таким образом, во всех прежних правах. Царь, кроме того, признал, что Кельсiev «по своим познаниям, знакомству с делами о расколе, об униатах, о западных и южных славянах, действительно, может быть с пользою употреблен правительством»²⁶. 11 сентября Кельсiev был освобожден из III отделения и поселился в Петербурге.

Сейчас же по освобождении он попал в герои дня и сделался «модным человеком». На первых порах его тщеславие было удовлетворено, но в дальнейшем он

почувствовал фальшивость этого повышенного интереса к нему. «Что ни говорите, есть своего рода удовольствие обращать на себя общее внимание и служить предметом толков: это как-то щекочет самолюбие, — но быть лвом хорошо день, другой, третий, много неделю, но à la longue становится утомительно показывать самого себя и знать, что девять десятых новых и старых знакомых смотрят на вас сочувственно или не сочувственно, а все-таки, как на жульез»²⁷.

«Интересный» раскаявшийся эмигрант, бывший соратник Герцена, стал предметом усиленного внимания лиц, высоко стоявших на общественной лестнице. На «вечер с Кельсьевым» приглашали крупных бюрократических тузов; он бывал в салоне графа А. К. Толстого, у кн. В. Ф. Одоевского, познакомился с профессором и академиком А. В. Никитенко и пр. Он устраивал приемы и у себя, женившись на З. А. Вердеревской (по первому мужу Агреновой). Жена его была причастна к литературе, помещая статьи в журналах. По словам Никитенко, она была красавица и замечательная музыкантша.

У Кельсьева был ряд широких планов деятельности в России. Из «Исповеди» видно, что он мечтал о роли какого-то посредника между правительством и революционной средой и очень надеялся на себя в этом отношении. Затем он предлагал правительству свои услуги, чтобы вернуть на Кавказ выселившиеся в Турцию русское население. Далее, он хотел стать основателем и руководителем газеты «с чисто русским, патристическим направлением». Все эти планы потерпели крушение.

Уже в мае 1869 г. Кельсьев горько жаловался на свое положение проф. Никитенко, бывшему у него на музыкальном вечере, и говорил, что он в поисках куска хлеба собирается ехать в Америку, чтобы читать там лекции о России²⁸.

В феврале следующего года на положение Кельсьева обратил внимание гр. Ланской, председатель следственной комиссии, в которой его допрашивали в 1867 г. Он обратился к министру внутренних дел с предложением по поводу Кельсьева. Указав, что последнего не принимают на государственную службу и отказывают ему в разрешении издавать газету, он рекомендовал Кельсьева, как вполне благонадежного человека и основательного специалиста по вопросам о расколе и уния-тах, и спрашивал, не найдет ли возможным министр внутренних дел принять его на службу в свое министерство²⁹. Это ходатайство не имело последствий.

Увлечение Кельсьевым прошло довольно скоро. Если в представлении передовых людей того времени ренегатство Кельсьева с самого начала встречало ту оценку, которой оно заслуживало, то теперь и те люди, которые сначала стремились с ним познакомиться, стали им тяготиться. Он видел возникшую к нему холодность и в обществе больше сидел в стороне и молчал, лишь по временам «с какою-то навязчивостью и апломбом» вступая в общий разговор. Кельсьев до такой степени не понимал своего положения, что в начале пытался возобновить связи с прежними знакомыми из радикальных кругов. Н. К. Михайловский рассказал об одном таком совершенно неуместном визите Кельсьева к Н. С. Курочкину. Поговорив с хозяином очень недолго в кабинете, он вышел оттуда красный, как рак, явно в большом смущении...³⁰

Для Кельсьева оставался один только вид деятельности и один способ зарабатывать себе средства к существованию — это литературный труд. Помимо нескольких отдельно вышедших книг, он печатался в «Голосе», «Отечественных Записках», «Всемирном Труде», «Заре», «Ниве», «Семейных Вечерах».

Из всего написанного им за это время наибольший интерес представляет книга мемуарного характера «Пережитое и передуманное»; впечатления заграничных скитаний Кельсьева даны еще в книге «Галичина и Молдавия. Путевые письма». «Пережитое и передуманное» (название это, несомненно, подсказано герценовским заглавием «Былое и думы») частично совпадает по содержанию с «Исповедью», являясь другой редакцией рассказа Кельсьева о своей жизни (конечно, характер этой редакции в значительной степени определялся цензурными условиями). Книга эта (равно как и «Галичина и Молдавия») дала возможность высказаться в рецензиях о личности и судьбе Кельсьева. Самая большая статья о Кельсьеве была написана Михайловским³¹. Михайловский отнесся к Кельсьеву довольно снисходительно. Он писал: «Как фантазер, он видит всегда только одну сторону дела, и именно ту, которая открывает поле для героических подвигов; как человек энергический и глубоко честный, он отдается односторонне понятию им делу весь, без остатка. В этом его оправдание и глубокое несчастье». Или: «...Каково бы ни было наше личное отношение к тому, чем жил г. Кельсьев прежде и чем он живет теперь, мы не можем отказать ему в нашем, разумеется условном, уважении».

Другие отзывы о «Пережитом и передуманном» были гораздо более резкими, — недаром Герцен писал: «Бросать в Кельсьева камнем лишнее: в него и так брошена целая мостовая». Такова, например, рецензия в «Вестнике Европы»³². Несколько раз высказывался о Кельсьеве Д. Д. Миняев³³. Он писал, например: «В своей книге г. Кельсьев как будто всеми средствами силится доказать свою нравственную несостоятельность, бедность мысли и ту кадетскую болтливость, которая вырывает только его собственные комические стороны... Что за смесь школяр-

ства и надутости, прстоумья и заносчивости, шарлатанства и переливания из пустого в порожнее!». Минаев сильно обрушился не только на Кельсиева, но и на статью Михайловского о нем, назвав ее «бестактной от первой строки до последней». «На Кельсиева до сих пор смотрели как на человека, который хотя и заблуждался, но все же человека серьезного, с крепкими убеждениями и с положительной целью для деятельности», — писал Минаев в другой статье, анонимной. — «Но вот вышла его книга и все увидели в ней только «записки современного Репетилова», хвастающегося своим «умственным невежеством». Оказывается, что у Кельсиева и не было никаких убеждений и за границу он попал как Репетиллов: «шел в комнату, попал в другую». Говорят, что книга Кельсиева очень дорога. Это уж чересчур зло. Продавать собственные карикатуры на самого себя за 2 рубля — слишком дешево, и это показывает большое самоотвержение автора. Стоила бы книга дорожее, она была бы менее доступна. А теперь... Бедный г. Кельсиев!.. За человека страшно!..».

В одну из названных статей («Неделя», 1868, № 46) Минаев вставил и свое пятистишие, посвященное Кельсиеву:

Ты сколько в «Голосе» статей не пиши,
С еврейским племенем войну открывши вдруг,
Решили мы и гласно и в тиши:
Ты в Тульче был казак-баша,
А на Руси — баша-бузук.

Если о «Пережитом и передуманном» и «Галичине и Молдавии» в печати было много отрицательных отзывов, то в дальнейшем писания Кельсиева постигла та участь, которая хуже всего для литератора: о нем, как правило, просто молчали. Это совершенно понятно ввиду незначительности его произведений.

Нельзя сказать, чтобы Кельсiev сколько-нибудь заметно проявил себя как боевой реакционный публицист. Произведений, где он непосредственно отзывался на злобы дня, у него немного. В статье «Обличитель прошлого века» он старается установить сходство героев фонвизинского «Бригадира» с современными передовыми людьми и отмечает, что когда Тургенев написал «Дым», Лесков «Некуда», а Писемский «Взбаламученное море», то современные «Иванушки» на них обиделись. Такое же возмущение излишней обидчивостью читателей на Тургенева за нарисованные им типы мы видим и в статье «Я. П. Полонский, как юморист».

Кельсiev пробовал свои силы и в беллетристике. Им написаны три исторических повести: «Москва и Тверь», «При Петре» (при участии В. Клюшникова) и «На все руки мастер». Все это чисто ремесленные произведения, бледные, растянутые и скучные.

Существуют указания на некоторые неосуществившиеся литературные замыслы Кельсиева. Во «Всемирном Труде» за 1868 г., № 12, в объявлении о статьях, которые должны были появиться в первых номерах журнала за 1869 г., значатся «Трущобники и казнимые» Кельсиева, — такого произведения в печати не было. О некоторых своих планах Кельсiev рассказал в начале 1868 г. кн. В. Ф. Одоевскому. Кельсiev, с которым Одоевский познакомился 5 января, заинтересовал последнего не только своей биографией, но и «организацией, склонной к галлюцинациям». Он кратко записывает в дневнике: «Рассказ Кельсиева о его магическом опыте с евреем Хозе в Константинополе. Призрак отца. Душа мира». Кельсiev рассказал ему проект романа о существах (имеющих вид лягушек), достигших высшего совершенства, открывших элексир жизни, философский камень и пр. Через несколько дней он передал Одоевскому содержание целых трех фантастических романов, из которых Одоевскому более или менее понравился «Гном». «Должно, между нами, опасаться, — занес Одоевский в дневник, — что Кельсiev совсем помешается, к тому ведет его нервная его натура»³⁴.

В конце концов, все жизненные планы Кельсиева рухнули, и вся его жизнь свелась к работе совсем второстепенного литератора из-за куска хлеба. Он не выдержал и стал отчаянно пить — чем он страдал уже за границей после испытанных им тяжелых потерь. На знавших его в последние годы жизни он производил крайне тяжелое впечатление совсем опустившегося человека. В последний год он впал в полную апатию и стал решительно чуждаться всех. Ему хотелось уйти куда-нибудь от людей, окончить свою жизнь где-нибудь в глуши. Таково было логическое завершение его жизненного пути после его «раскаяния» в 1867 г. Ко всему прочему присоединились и тяжелые семейные переживания, — он расстался с женою.

4 октября 1872 г. Кельсiev умер в Полюстрове от паралича сердца, в крайней бедности, на руках у своего старого учителя А. Е. Разина. Знавший его А. П. Чебышев-Дмитриев пишет: «Узнав об этом, я невольно порадовался за него: тяжела была ему в последние годы его бесполезная, никому не нужная, разбитая, неудающаяся жизнь!».

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ М. П. Сажин (Арман Росс), Воспоминания, М., 1925 г., стр. 19.
- ² См. П. Козьмин, Революционное подполье в эпоху «белого террора», М., 1929 г.
- ³ «Современный Листок», 1867 г., № 82, передовая статья.
- ⁴ Достоевский, Письма, т. II, 1930, стр. 47.
- ⁵ Там же, стр. 398—399.
- ⁶ Опубликовано А. А. Шиловым в сб. Института литературы Академии Наук «Шестидесятые годы», М.—Л. 1940, стр. 212—218.
- ⁷ «Пережитое и передуманное», стр. 90.
- ⁸ «Заря», 1871 г., VI, 2-й отдел, стр. 1, 11.
- ⁹ См. Экс (А. П. Чебышев-Дмитриев), На полпути, СПб., 1874 г. (Статья «В. И. Кельсиев»).
- ¹⁰ «Пережитое и передуманное», стр. 219.
- ¹¹ «Красный Архив», 1930 г., т. I (38), стр. 169—170.
- ¹² «Русский биографический словарь».
- ¹³ «Пережитое и передуманное», стр. 253.
- ¹⁴ Дело III Отделения I экспедиции (1862 г.), № 230, л. 110.
- ¹⁵ См. «Современная Летопись», 1862 г., №№ 47 и 50 («Письмо в редакцию» Д. В. Аверкиева).
- ¹⁶ См. «Пережитое и передуманное», стр. 259.
- ¹⁷ Там же, стр. 265—266.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Н. А. Добролюбов, Дневник, стр. 155.
- ²⁰ «Русская Старина», 1882 г., IX, стр. 635—637.
- ²¹ Герцен, т. XIV, стр. 401, 402—403 («Былое и думы», часть шестая, глава XI—«В. И. Кельсиев»).
- ²² М. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1903 г., стр. 192.
- ²³ Герцен, т. XIV, стр. 401.
- ²⁴ М. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», стр. 192.
- ²⁵ «Русская Старина», 1882 г., IX, стр. 636.
- ²⁶ Герцен, т. XIX, стр. 395.
- ²⁷ «Пережитое и передуманное», стр. 220.
- ²⁸ А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, 1905, стр. 385.
- ²⁹ См. Герцен, т. XIX, стр. 395—396.
- ³⁰ Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, изд. 2-е СПб., 1905 г., стр. 69—70.
- ³¹ «Жертва старой русской истории», — «Отечественные Записки», 1868 г., № 12.
- ³² См. «Вестник Европы», 1868 г., VII. Подпись: Д. За этим псевдонимом скрывался А. Н. Пыпин.
- ³³ «Неделя», 1868 г., №№ 11, 27 и 46; 1869, № 1—4.
- ³⁴ «Литературное Наследство», № 22—24, стр. 239—240.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ В. И. КЕЛЬСИЕВА

Библия

Священное писание ветхого и нового завета, переведенное с еврейского, независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся в греческом и славянском переводах. Отдел первый, заключающий в себе Закон, или Пятикнижие. Перевод Вадима. Книги I—V. Лондон, Trübner and Co, 1860 г. Книга первая. С предисловием переводчика. — Книга вторая. Исход. — Книга третья и четвертая. Левит и Числа. — Книга пятая. Второзаконие. С предисловием переводчика.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск первый. Лондон, Trübner and Co, 1860 г. С предисловием Кельсиева.

ГОНЕНИЕ НА КРЫМСКИХ ТАТАР.

«Колокол», лист 117, 22 декабря 1861 г. (без подписи).

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск второй, Лондон, Trübner and Co, 1861 г. С предисловием Кельсиева.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск третий. О скопцах. Лондон, Trübner and Co, 1862 г. С предисловием Кельсиева.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск четвертый. Лондон. Trübner and Co, 1862 г.

ДОНОС ИЖЕ ПО ДЕЛАМ ВЕРЫ ФИСКАЛЬСТВУЮЩЕГО КУПЦА СОПЕЛКИНА.
С примечанием В. К., — «Общее Вече», № 1, 15 июля 1862 г.

ПРОКЛАМАЦИЯ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ СЛОВАМИ: «ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ ПОМИЛУЙ НАС, ГРЕШНЫХ...»

Налитографирована в 1863 г. в Константинополе. Перепечатана в № 12 «Общего Веча», от 8 марта 1863 г.

ПИСЬМА ИЗ АВСТРИИ.

«Голос», 1866 г., №№ 190, 218 (подпись: И.-Ж. По ошибке, в № 190: Н. Ж.).

ВЗГЛЯД ЮЖНЫХ СЛАВЯН НА РУССКОГО ЦАРЯ.

Письмо к редактору «Голоса». «Голос», 1866 г., № 253 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. I. ПЕРЕМЫШЛЬ.

«Голос», 1866 г., №№ 260, 261, 263, 268 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. ЛЬВОВ.

«Голос», 1866 г., №№ 274, 276, 278 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. ХЛОПЫ.

«Голос», 1866 г., №№ 318, 325, 333 (подпись: Иванов-Желудков).

РУССКОЕ СЕЛО В МАЛОЙ АЗИИ.

«Русский Вестник», 1866 г., № 6 (подпись: В. Иванов-Желудков).

СЛОВАЦКИЕ СЕЛА ПОД ПРЕСБУРГОМ.

«Русский Вестник», 1866 г., № 7 (подпись: В. Иванов-Желудков).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. ХЛОПЫ.

«Голос», 1867 г., № 3 (подпись: Иванов-Желудков).

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЯССАМИ.

«Голос», 1867 г., №№ 54, 55 (подпись: В. Иванов-Желудков).

К ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ГАЛИЦИИ. ПОЛЬСКИЕ ЭМИГРАНТЫ.

«Голос», 1867 г., №№ 62, 63, 68 (подпись: В. Иванов-Желудков).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. ИЕРЕИ И ЕВРЕИ.

«Голос», 1867 г., №№ 90, 91 (подпись: Иванов-Желудков).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА.

«Отечественные Записки», 1867 г., № 1 (подпись: В. П. Иванов-Желудков).

УНИАТСКИЙ АГИТАТОР. ЗАПИСКИ ВТОРОГО ПОКЛОННИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В РИМ И ИЕРУСАЛИМ ПО ИНИЦИМ МЕСЯЦА ВОСТОКА, СОВЕРШЕННОГО ПОПОМ СВ. СЛАВЯНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ИПОПОЛИТОМ АНДРЕЕВЫМ ТЕРЛЕЦКИМ, ВРАЧЕСТВА И СВ. БОГОСЛОВИЯ ДОКТОРОМ. — ЛЬВОВ, 1861 г., т. I.

«Отечественные Записки», 1867 г., №№ 1, 2 (подпись: В. П. Иванов-Желудков).

СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ.

«Отечественные Записки», 1867 г., № 20.

ИСПОВЕДЬ.

Впервые напечатана в «Архиве Русской Революции», издаваемом И. В. Гесеном; кн. XI, Берлин, 1923 г., стр. 163—310.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. ИЕРЕИ И ЕВРЕИ.

«Голос», 1868 г., №№ 69, 88, 89, 99, 106.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. АРЕСТ В КАРПАТАХ.

«Голос», 1868 г., №№ 133, 149, 157, 162, 190, 191.

НЕЛОВКИЙ ЗАЩИТНИК ЕВРЕЕВ (ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ).

«Голос», 1868 г., № 128.

ОБЪЯСНЕНИЕ.

«Голос», 1868 г., № 166.

О ТОМ, КАК Я ТРУСА ПРАЗДНОВАЛ.

«Всемирный Труд», 1868 г., № 2.

ОЧЕРКИ ТУЛЬЧИ.

«Всемирный Труд», 1868 г., №№ 6, 8, 10.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ, КАК ЮМОРИСТ.

«Всемирный Труд», 1868 г., № 9.

ОБЛИЧИТЕЛЬ ПРОШЛОГО ВЕКА.

«Всемирный Труд», 1868 г., № 10.

ШУЛЕРА (СЛУЧАЙ).

«Всемирный Труд», 1868 г., № 12.

ПЕРЕЖИТОЕ И ПЕРЕДУМАННОЕ.

Воспоминания Василия Кельсиева. СПб., 1868 г.

ГАЛИЧИНА И МОЛДАВИЯ.

Путевые письма Василия Кельсиева. СПб., 1868 г.

- ИЗ БЫТА ПОЛЬСКИХ ЭМИГРАНТОВ.
«Всемирный Труд», 1869 г., № 1.
- ИЗ РАССКАЗОВ ОБ ЭМИГРАНТАХ.
«Всемирный Труд», 1869 г., № 2.
- СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ. И. БОЖИИ ЛЮДИ.
«Заря», 1869 г., № 1.
- СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ.
«Заря», 1869 г., №№ 10, 11.
- ИЗ РАССКАЗОВ ОБ ЭМИГРАНТАХ.
«Заря», 1869 г., № 3.
- РАСКОЛЬНИКИ И ОСТРОЖНИКИ.
Очерки и рассказы. Сочинение Фед. Вас. Ливанова, СПб., 1869 г. «Заря», 1869 г., № 6; 1870 г., № 4.
- ЭМИГРАНТ АБИХТ.
«Русский Вестник», 1869 г., № 1.
- ПОЛЬСКИЕ АГЕНТЫ В ПАРЕГРАДЕ.
«Русский Вестник», 1869 г., №№ 6, 9, 11; 1870, № 1.
- УСТЬЕ ДУНАЯ.
Очерк. «Нива», 1870 г., № 4, 9.
- ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН СВ. КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ.
Очерк. «Нива», 1870 г., №№ 5, 6, 8.
- КЛАДБИЩЕ ТАТАРСКИХ ХАНОВ В БАХЧИСАРАЕ.
«Нива», 1870 г., № 6.
- МОСКВА И ТВЕРЬ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ.
«Нива», 1870 г., №№ 16—34.
- МОИ МЫШКИ.
«Семейные Вечера», 1870 г., № 4. (В конце «Продолжение следует». Однако такого не было).
- СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ.
«Семейные Вечера», 1870 г., №№ 6, 7.
- РУМУНЫ.
«Нива», 1871 г., № 1.
- ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК; ЭПИЗОД ИЗ КОМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ НА РУСИ, С ПИСЬМОМ АВТОРА К И. С. ТУРГЕНЕВУ, ЛЕСКОВА-СТЕБНИЦКОГО.
«Заря», 1871 г., № 6.
- НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР (ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ).
«Семейные Вечера», 1871 г., №№ 11, 12; 1872 г., № 1.
- МОСКВА И ТВЕРЬ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ.
СПБ., 1871 г.
- ПРИ ПЕТРЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ВРЕМЕН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.
«Нива», 1871 г., №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
- АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ.
«Нива», 1872 г., №№ 3, 11.
- ЦЫФИРНАЯ СЧЕТНАЯ МУДРОСТЬ.
«Нива», 1872 г., № 8.
- ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ, ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ.
«Нива», 1872 г., № 10.
- ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
«Нива», 1872 г., № 19.
- В. КЕЛЬСИЕВ И В. КЛЮШНИКОВ. ПРИ ПЕТРЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ВРЕМЕН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.
СПБ., 1872 г.
- ЗАМЕТКИ О ТАТАРСКОМ ВЛИЯНИИ НА ВЕЛИКОРУССОВ.
«Гражданин», 1873 г., №№ 44, 45.
- ПИСЬМА КЕЛЬСИЕВА.
К епископу Кириллу. — «Православный Собеседник», 1867 г., № 2; к О. С. Гончару — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, т. XVII, стр. 282—285; к Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г., — «Русская Старина», 1882 г., № 9; к Н. Ф. Петровскому, И. И. Шibaеву, Н. М. Владимирову, Н. А. Серно-Соловьевичу, О. М. Белозерскому (1862 г.) — Лемке Мих., Очерки освободительного движения шестидесятых годов», изд. 2-е, СПб., 1908 г., стр. 29—39.

«ИСПОВЕДЬ»

ПИСЬМО В. И. КЕЛЬСИЕВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ ГРАФУ П. А. ШУВАЛОВУ¹

[24—25 мая 1867 г.]

Граф!

Простите великодушно, что я осмеливаюсь обратиться непосредственно к вам.

Я всегда в жизни действовал по убеждению, по убеждению пристал в конце 1859 г. к русским лондонским эмигрантам, по убеждению отстал от них в половине 1863 г. и 19 мая сего 1867 г.², опять-таки по убеждению, сдался добровольно в руки правительства на скулянской таможне.

В три с половиной года моей политической деятельности верования моих лондонских товарищей казались мне чуть что не последним словом человеческой мысли. Я был горд, что верования эти распространяются в России, которую я никогда не переставал любить страстно, — мне казалось, что из России должен истечь свет добра, правды и любви на весь род человеческий. «Подождите, — говорил я иностранцам, — мы, русские, покажем вам пример приложения к делу всех социалистических теорий, к нам будете вы ездить учиться, у нас будете искать истины!». Мне тогда было от двадцати четырех до двадцати восьми лет, Россию я видал только в Петербурге и в его окрестностях; людей знал только по книгам; исполнимое отличал от неисполнимого только по соображению; в политике внутренней я был федералист, в экономических вопросах — социалист. Но кровавая революция мне всегда была противна, — это видно из писем моих, перехваченных летом 1862 г. у бедного Ветошников³.

Горячо и искренно веровал я в правоту и в исполнимость нашего дела. Но наступило польское восстание. Все вокруг меня кричало и толковало, что это восстание вызовет и у нас отголосок, что оно послужит краеугольным камнем к воссозданию федеральной России по входящим в состав ее историческим особям. Я плохо доверял успеху поляков, но, будучи последовательным, с горечью в душе должен был поддерживать их сторону, рассчитывая, что уже если потекли реки крови, то пусть же они текут не даром. Скоро пришлось мне окончательно разубедиться, а это было очень больно...

Как наше, так и польское дело — оба не удались по одной и той же причине — по своей непрактичности. Мы упускали из виду, что нельзя одному сословию жертвовать интересами всех других, мы забывали, что у народа есть свои предания, которыми он поступит разве с жизнью. Мы были слишком последовательны — и мы оборвались. Почти что на том же самом и поляки оборвались: они тоже не знали ни своего материала, ни запаса своих орудий. Крестьянство не захотело Польши, Франция не подала помощи.

В досаде, в хандре, убедившись, что столько лет труда и самоотвержения не повели — да и не могли повести — ни к чему, что все, во что я веровал и чему служил, было не более как студенческая мечта, благородная фраза без содержания, я задал себе вопрос: что делать? Ехать на Запад было противно, да и незачем. В Россию вернуться было нельзя, хоть и тогда еще я подумывал о возвращении, но у меня была семья на руках, я не имел права рисковать ею. Я отправился в Добруджу, в Тульчу, и поселился: там я был все-таки между русскими, мог быть им полезен и мог изучить сектантов и простолудинов.

Полтора года в Тульче, где я был представителем всех русских выходцев, дали мне понять множество вещей, о которых я прежде и не догадывался даже. Секты наши не носят в себе ничего революционного, наши сектанты — верноподданные до конца ногтей, хоть подчас и считают государя антихристом, а чиновников ангелами сатаны. Про-

стой народ наш на бунт против царской власти не пойдет. Даже русский выходец, бежавший в Турцию или за веру или от каторги, и тот в глупине души — верноподданный государя. Скучно мне было между ними, — там нет ни одного мало-мальски развитого человека, — и я уехал от них, но они заразили меня своею тоскою по родине.

В Галаце, летом 1865 г., меня постигло страшное несчастье: у меня умерли двое детей и жена; брата я схоронил еще в Тульче. В страшном упадке духа провел я зиму, отрицая все на свете, на котором нет ничего прочного. Но душа жаждала исхода, — отрицанием нельзя было удовлетвориться.

Мне наука еще оставалась. Я в Вену поехал и занялся славянскими наречиями, санскритом, зендом, славянскими мифами, которые я лет уже семь изучаю, и познакомился там с представителями славянства, из которых многие были недавно на этнографической выставке⁴. Услышав от меня рассказы о моих похождениях, о захолустьях, куда ворон костей не заносит, а меня любопытство мое заносило, они просили меня описать их земли. Удостойте, граф, пробежать хоть мельком мои статьи в «Русском Вестнике» («Русское село в Малой Азии» и «Словацкие села под Пресбургом»), в «Голосе» за прошлый и за нынешний год «Путешествие по Галичине», «Польские эмигранты», «Наблюдения над Яссами» и прочие мелкие статьи о славянах, о Вене и т. п., — все под псевдонимом В. П. Иванов-Желудков⁵. До сдачи моей в Скулянах никто не предполагал даже, что под этим именем скрывается известный государственный преступник. Удостоите же, граф, пробежать эти статьи, и вы увидите, какое впечатление вынес я из моего знакомства с славянами, а в особенности с галицкими русскими. Результатом всего была томительная зима, проведенная в раздумье в Яссах, и наконец безусловная сдача моя в руки правительства на прошлой неделе*.

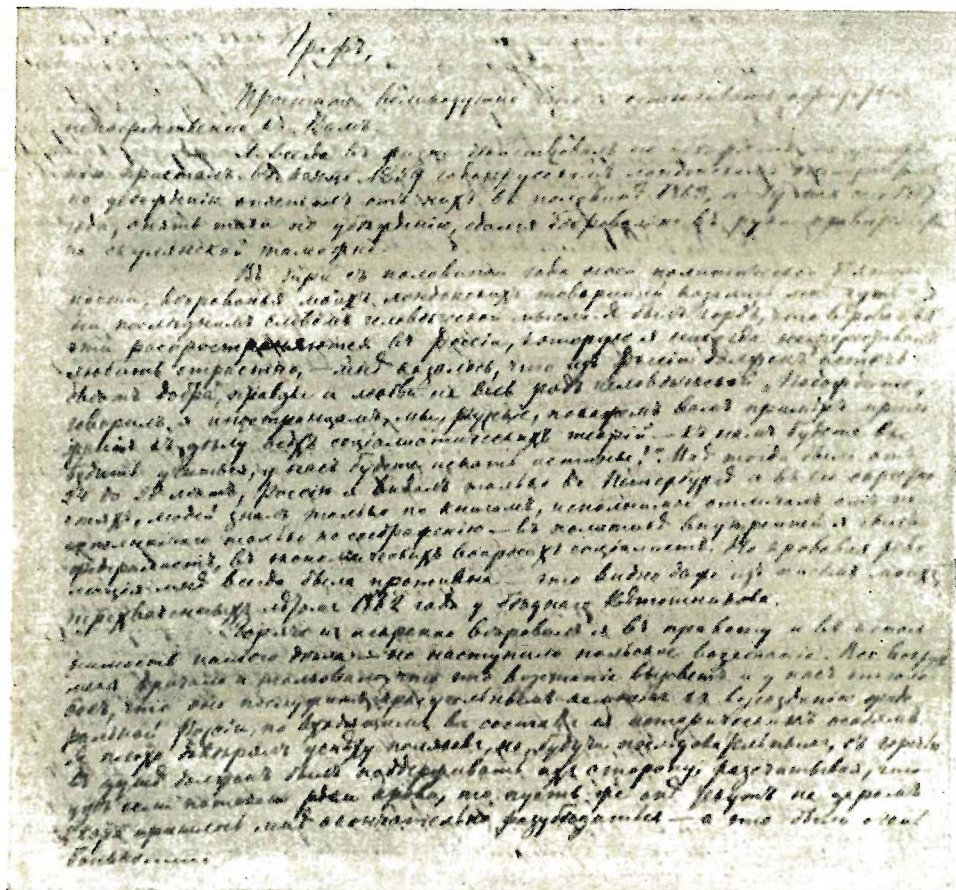
Из юноши, увлеченного общим движением, проявившимся в России в 1855 г., во время наших севастопольских неудач, и сделавшегося революционным агитатором и организатором, я превратился в горячего верноподданного, пламенного патриота, готового на все для царя и отечества, и потому считал бесчестным, — совесть моя мне не позволяла, — долее оставаться за границей. Нынешнее царствование так велико, так превзошло своим величием и блеском, что история России дней наших кажется какой-то сплошной овацней, праздником, торжеством. Самые несчастные и печальные события, случающиеся в России, точно нарочно ниспосылаются провидением, чтобы вызвать новые восторги из груди нашего исполинского народа. Я следил за всем, что совершалось и совершается, и я не выдержал, я не мог оставаться вчуже. Теперь я в тюрьме уже, но во мне нет раскаяния и нет печали в моем поступке. Мое будущее мрачно и грозно, но меня утешает мысль, что я все-таки дома, и лучше ж я буду страдать дома, чем одиноко ликовать среди чужих людей.

Что меня ждет, граф? Я злого ни России, ни правительству ровно ничего не сделал... Я хотел сделать, я делал попытки, я трудился, но все было напрасно, теории мои были неприменимы к практике, и я только воду толкал. Зла государству мною не причинено, я виноват только в намерениях и в попытках. Излагать историю их было бы бесполезно и заняло бы несколько месяцев времени, не представляя в сущности ни пользы, ни интереса. Но если правительство мне позволит, я бы охотно написал и напечатал некоторые эпизоды из моих агитаторских походов, в поучение юношам, садящимся не в свои сани. По-

* Следующий абзац очерчен сбоку красным карандашом.

куда я прошу вас, граф, об одном: мне крайне хотелось бы видиться и переговорить с вами, мне есть много чего сообщить высшему правительству — вы требуйте меня к себе в С.-Петербург.

Девять лет жизни за границей, в среде революционеров, эмигрантов, сектантов, бродяг и т. п., между простонародьем разных соседних нам племен, дали мне возможность узнать множество отношений, неизвестных ни нашему правительству, ни литературе. То, что правительство узнает иногда, оно узнает из официальных донесений или из следст-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА В. И. КЕЛЬСИЕВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ А. П. ШУВАЛОВУ
ОТ 24—25 МАЯ 1867 г.

Архив Революции, Москва

венных показаний, а ни тем, ни другим — я по опыту убедился — нельзя очень доверять. Первые пишутся большею частью по слухам, потому что официальное лицо редко может свести личное, непосредственное знакомство с темными людьми, а вторые представляют только дагерротипный снимок с того, что путал подсудимый. Я же был в другом положении, мне все двери были открыты, все языки были развязаны, я везде был свой человек. Вы требуйте меня к себе в С.-Петербург, мне есть что рассказать вам, а на бумаге писать не все следует. Из рассказов моих вы убедитесь, что я искренний человек, и что так же искренно передаю мои сведения правительству, как и самого себя ему отдал. Обо всем, что вы от меня услышите, вы сообщите государю

императору, даже просить помилования у которого я не дерзаю, и каков последует его приговор, таков я приму безропотно как следует истинному верноподданному.

Граф,

не забудьте вполне положившегося на вас

Василия Иванова Кельсиева

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ *

Прежде чем я приступлю к изложению моей прошлой деятельности против правительства, я должен сделать оговорку, что если некоторые факты или подробности будут упущены мною в настоящем изложении, то это случится никоим образом не из умысла, а или по забывчивости, или потому, что подробности эти кажутся мне не заслуживающими внимания. Я буду стараться не делать подобных пропусков, но если они случатся, то покорнейше прошу высочайше утвержденную надо мною комиссию не ставить мне их в вину, так как я на каждый вопрос и на каждый случай из моей жизни всегда охотно дам отдельное показание или пояснение в виде приложения к настоящей записке. Раскаяние мое искренно, и откровенность моя, как и самая моя сдача правительству, не вынуждены.

Записка моя необходимо — для ясности изложения — должна разпасться на следующих пять отделов:

1. Деятельность в Лондоне, с ноября 1859 г. по март 1862 г., когда я занимался изучением раскола, революционных учений и т. п., а равно и изданием «Сборника правительственных сведений о расколе».

2. Поездка в Россию с турецким паспортом на имя Василия Яни, в марте 1862 г., для соединения сектантов с партией «Колокола».

3. Деятельность в Цареграде, с октября 1862 г. по декабрь 1863 г., когда я старался соединить в одно все противуправительственные элементы: сектантов, черкесов, поляков и т. п.

4. Пребывание в Тульче, с декабря 1863 г. по апрель 1865 г., где я был атаманом русских выходцев и где я убедился фактами в несостоятельности моих политических верований.

5. Пребывание в Галаце (с апреля 1865 г. по апрель 1866 г.), в Вене, в Венгрии, в Галичине (по ноябрь 1866 г.) и в Яссах до 19 мая сего 1867 г., когда я явился в скулянскую таможену с просьбою об моем арестовании.

Затем, приступая к своему рассказу, я обращаюсь к сердцу государя и к доказанному благоразумию его правительства с просьбою, что какая бы участь меня ни постигла, какой бы каре ни был я подвергнут, обратить, во имя России, внимание на причины и обстоятельства, вызвавшие и вызывающие у нас явления вроде нигилистов или эмигрантов. Как деятельнейший член оппозиции, я видел слишком близко многое, что совершенно недоступно официальным лицам, я входил в трущобы, куда не всякий решился бы заглянуть, да мало кто и заглядывал, я изучал — и изучал добросовестно — партии, стоящие за и против правительства... Я кончил тем, что, вследствие этого пристального изучения основных начал нашей и общеславянской народности, я сдался в безусловное распоряжение правительства, которому и представляю теперь мою исповедь.

* На первой странице карандашом помета: «Нужное. Препроводить в комиссию. 19 июня».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОНДОНЕ

Я приехал в Лондон в мае 1859 г. Поводом к этому была болезнь моей жены, понудившая меня взять отпуск на шесть месяцев от Российско-Американской компании, в колонии которой я ехал старшим помощником бухгалтера. Жена моя захворала в Плимуте сильным кровотечением после родов; доктора советовали ей ехать на лето в Германию, а для этого нужно было достать паспорт, так как кроме отпуска у меня не было других документов. Это обстоятельство и понудило ехать в Лондон, но поездка, при дурном устройстве английских железных дорог, при чрезвычайно коротких остановках на станциях и при чрезвычайно длинных туннелях, сильно потрясла только-что оправившееся здоровье моей жены и очень дурно подействовала на ребенка, которого она сама не могла кормить грудью. Я приехал в Лондон с больною семьей и должен был остаться там на целое лето, так как паспорт не приходил из Петербурга. Настала осень, ребенок хирел и хирел, жена все была слаба, а между тем срок отпуска выходил, нужно было ехать в Гамбург, сесть на компанейский корабль «Цесаревич» и ехать в Америку, т.-е. пройти весь Атлантический океан с севера на юг, обогнуть мыс Горн и пройти весь Тихий океан с юга на север. Я подал* прошение об отпуске еще на полгода. Компания предложила мне или немедленно ехать или подать в отставку, с уплатою ей сделанных на меня расходов. Я отдал ей в распоряжение всю мою движимость, которая уже была в ее руках, и просил ее, что буде продажа моей библиотеки и моих вещей не покроет моего долга, то чтобы она известила меня об этом, и я приму меры расквитаться с нею. Ответа от нее я не получил, равно как и семейных бумаг, находившихся между моими вещами, так что до сих пор ничего не знаю об моих к ней отношениях. Причину ее молчания я объясняю себе тем, что я вскоре после того объявил себя эмигрантом.

Причины, побудившие меня пойти в генеральное русское консульство в Лондоне заявить, что я отказываюсь от своей карьеры, что порываю с отечеством, с родными, с близкими, заключались в общем тогдашнем настроении русской молодежи. Герцен и Огарев долго и упорно уговаривали меня отказаться от моего намерения, но дух времени сильнее здравого смысла; я остался в Лондоне против их желания, без определенной цели, без выясненной задачи. «Работать нужно, пропагандировать нужно, это священный долг современного русского», — твердил я себе. Мне тогда было двадцать четыре года, Россию я видел только от Петербурга до Новгорода, да и то мельком. Жизнь я вел в Петербурге кабинетную, сведения и теории мои были почерпнуты из книжек и из рассказов таких же юношей, каким я тогда был; занятия мои состояли в изучении китайского, манчжурского, монгольского, тибетского и санскритского языков, да наречий наших финских племен, а лингвистика, разумеется, плохо могла содействовать знанию действительной жизни и общественных отношений. Я даже и общества тогда избегал по крайней застенчивости моего характера: я был человек книжный, кабинетный, я даже в Америку ехал именно для изучения эскимосских и американских наречий, которые меня сильно интересовали, больше даже, чем заманчивая перспектива сделаться современем русским консулом где-нибудь в Кантоне или в Шанхае. И вот, вместо того, чтобы исполнить свое давнишнее намерение побывать в русской Америке, повидать племена, живущие по берегам Тихого океана, изучить их цивилизацию, языки, нравы, предания, верования —

* Зачеркнуто: в отставку

мечта, которую я лелеял с тринадцатилетнего возраста, — я все бросил, от всего отрекся и сделался пропагандистом. А примирение с Американской компанией было возможно, — стоило только обождать выздоровления жены...

Я еще в Петербурге был захвачен тем оппозиционным движением умов, которое началось у нас вследствие неудач крымской кампании. Редкий кто из моих тогдашних сверстников не роптал на правительство; доверие его способности и благонамеренности падало со дня на день, и молодежь, испуганная и оскорбленная за Россию, волей-неволей напрягла все свои силы на изучение зла и на отыскание средств к спасению.

России тогда почти никто хорошо не знал, — она вся, со своим настоящим и прошедшим, была покрыта канцелярскою тайной, — для изучения ее приходилось обращаться к рукописной литературе да к сочинениям об нас иностранцев, т. е. к весьма плохим источникам. Но и эти скудные источники были тогда запрещены, что и давало им огромный вес в наших глазах. «Зачем таят от нас правду? — рассуждали мы. Отчего все, что у нас происходит, покрыто тайной? Разве это не доказательство недобросовестности и даже злоумышленности правительства?» — и правительство становилось в наших глазах партией заговорщиков...

Последствия были такие, каких и ожидать следовало. Все, что только исходило из правительственной среды, вперед не пользовалось доверием; все, что заявляло себя против правительства и его действий, вперед могло рассчитывать на сочувствие и доверие. Запрещенные книги неминуемо стали казаться иногда чуть ли не откровением свыше, и достоинство их стало тоже неминуемо оцениваться не по содержанию, а по степени запрещенности. Что же мы находили в этих книгах, которые читались с такою жадностью? Крайние революционные и философские учения! Перед нами открывался новый мир, мир, пожалуй, фантастический, возможный только в теории, но неопиты всегда страстные охотники до теорий, а особенно до теорий, преследуемых властью. Возражать нам, вести с нами полемику, переубедить нас никто не мог, потому что никто или мало кто заглядывал тогда в России в эти книги, потому что изучение этих теорий было тогда крайне затруднено, потому что даже литература не смела говорить об них. Как духовная цензура содействовала развитию у нас всяких религиозных сект, так политическая цензура вызвала — необходимым сделала — возникновение той партии, которую впоследствии стали называть нигилистами. Если ж к этому принять в расчет смелость * русского ума, который крайне последователен в своих выводах и ни перед чем не останавливается как в положениях, так и в отрицаниях, то нигилизм и окажется чисто русским доморощенным явлением. «Русский человек, — говорят наши сектанты, — тем не похож на всех других, что он правды ищет». И действительно, страсть к последовательности, к развитию каждого положения до *pes plus ultra* довела простонародье до скопчества, до самосожигательства, до восторженности, а гимназистов, семинаристов и студентов догнала до таких отрицаний, о каких Западу и во сне не снилось. Последовательность — отличительная черта даже самой истории нашей. Владимир из братоубийцы превращается в чело- века, совестящегося казнить разбойников. Наш народный герой Илья Муромец только-что на ноги встает, как начинает мечтать, что, будь в землю кольцо ввинчено, своротил бы он мать сыру землю, будь столб от земли до неба, стряхнул бы он с места небо синее. Московские бояре задались мыслью собрать землю русскую и подавить орду поганую —

* Зачеркнуто: врожденную дерзость.

и вот не только земля русская, но даже и значительный лоскут Мазовии стал нашим, не только царство Казанское и Астраханское наше, но и Ташкент к нам попал, а Хива и Бухара ждут того же. Никон, патриарх, с его ненужно последовательными исправлениями обрядов, Петр Великий, с его не только ненужным, но даже и вредным предпочтением иностранцев русским и бритьем бород, были глубоко русские люди, как и их преемники по сей день. И эта-то мощь нашей русской государственной мысли приводит в трепет турок в Цареграде, немцев в Вене и мадьяров в Пеште: они предчувствуют, что близок час, когда наша западная граница перешагнет Карпаты и протянется по далматскому берегу Адриатики, когда славянство примкнет к нам в силу собственного его тяготения и в силу нашей исторической миссии, исполняемой нами столько веков с такой ничем не колебимой последовательностью.

Другая причина увлечения молодежи социализмом и атеизмом лежала в весьма плохом устройстве тогдашних средних и высших учебных заведений, в которых учили всему на свете и ничему не выучивали. Энциклопедичность нашего образования, всезнайство наше, способность судить обо всем, не зная ровно ничего толком, давали нам смелость браться за разрешение каких угодно сложных вопросов науки и жизни и ловко отбивать возражения наших противников, забрасывая их мишурой нашей мнимой учености. Наши училища готовили нас вовсе не в полезных подданных и граждан, вовсе не в деловых людей, а в людей светских, салонных, в мастера на все руки и поэтому развили в нас не любовь к труду и к исследованию, а страсть хватать вершки, отыскивать последнее слово науки, — мы и стали материалистами, потому что не были достаточно подготовлены отличать гипотезы от фактов.

В атеизм загнало нас плохое положение православной церкви в то время, — я в этом убедился в бытность мою в Галичине, осенью прошлого года, где я имел случай изучить, какие полезные силы для государства, для нравственности и для науки таятся в православии и как мы сами себя расслабляем, не давая ему ни должной поддержки, ни должного развития. У униатов, как и у протестантов, семинарий нет, — дети духовенства воспитываются вместе с детьми мирян. От этого они вовсе не отрываются от мира ни своими сведениями, ни приемами, ни костюмом, как у нас. По окончании гимназии желающие посвятить себя духовному званию поступают или на богословские факультеты, или в духовные академии, и только по окончании курса в этих высших учебных заведениях, только по сдаче весьма строгого экзамена получают они право на рукоположение. Но и затем связь их с училищами не прекращается. Они сплошь и рядом занимают кафедры даже вовсе не по богословским наукам, они бывают инспекторами, воспитателями, смотрителями училищ. Церковь не оставляет детей и приучает их смотреть на нее с любовью и с уважением. У нас же было (как теперь, я не знаю) совершенно другое: Петр Великий стеснил духовенство, потому что оно заявляло себя против его антинациональных реформ, Бирон и К^о придавили его из отвращения ко всему немецкому и непротестантскому, затем иезуиты стали возбуждать правительство против православного духовенства, за ними поляки и те же немцы, за ними сочувствие к духовенству подорвал в нашем обществе дурной пример французских ультрамонтанов, итальянских санфедистов⁶ и т. д. Все эти исторические причины свели наше духовенство на minimum его деятельности и сделали из него — к величайшему торжеству сектантства и атеизма — машину для исполнения обрядов. Нравственность его пользовалась плохой славой, невежество его было известно всем и каждому, — да и могло ли оно быть образованным, когда можно сделаться священником прямо из семинаристов? Наконец, у него не было свет-

ского лоска, как у ксендза или у пастора, по-французски оно не знало, балы и театры ему заперты, а при таких недостатках, разумеется, ни в одну гостиную священник не входит без зову...

Я поступил в коммерческое училище десятилетним ребенком (в 1845 г.). В нашем доме строго соблюдались все постановления и обычаи церкви. Посты никогда и ни в каком случае не нарушались, углы были уставлены иконами, перед которыми теплились неугасимые лампы, в церковь мы ходили как следует, чуть-что не каждый день, молебны и водосвятия совершались у нас в большие праздники. Я был искренно православным, насколько то было возможно при моем возрасте, но училище сделало меня атеистом.

Дети очень впечатлительны и наблюдательны, а тем более скоры на выводы. Нам твердили наши воспитатели и учителя: «Учитесь, будете людьми, как мы», а они были все более или менее индифферентны. О посте в среду и в пятницу я даже забыл в училище; иконы, которые я так любил и уважал, были в комнатах училища крохотные, загаженные мухами, молитвы перед учением и после учения исправлялись, очевидно, только для формы, закон божий преподавался точно неизбежная излишность. Ничто не дышало тем тихим, ясным, всепроникающим духом христианства, как в английских, в галицких школах. Воспитателей (гувернеров) было у нас восемь человек — и из них только двое русских, а впоследствии даже один. Инспектор и директор также были неправославные. Мы смотрели на них, как на развитейших людей, и догадывались, что развитие и православие, наука и наша вера не ладят между собою. О вере с нами говорил только законоучитель, да и то раз в неделю, а воспитатели иноверцы невольно должны были обходить молчанием эти вопросы. К этому, мы узнавали невольно, что на Западе люди и умнее и лучше нас, что оттуда идут в Россию все истины науки и все правила общежития. Вывод был ясен и неизбежен. К этому явилась на помощь геология с ее гипотезами об образовании земного шара, физиология, география и прочее и прочее, так что сомнение в * истинах веры, которую мы держали и которую нам преподавали убийственно сухо, поневоле стало закрадываться в душу, а разъяснить эти сомнения было некому. Учителя наши отделялись от нас, не желая попасть впросак, воспитатели даже по самому умственному развитию своему не были в состоянии отвечать на наши вопросы, да и увертывались от них, чтобы не сказать чего-нибудь неправославного. Приходилось доходить до всего своим собственным умом. Наш законоучитель разъяснял нам все чересчур схоластически — так, что мы его не понимали, и дошли мы собственным умом кто до молоканства, кто до атеизма, как воспитанники других училищ пошли в нигилизм, как Балабины, Гагарины, Голицыны, Свечины и пр. поделались католиками⁷. И так до тех пор будет у нас твориться, покуда белое духовенство не будет признано сильнейшим консервативным элементом русской народности, пока оно не займет в обществе того же положения, каким оно пользовалось у нас в XVII в., а в Англии и по сию пору. Я решительно не вижу других средств для противодействия всяким фантастическим теориям и учениям, кроме уничтожения семинарий, устройства богословских факультетов при университетах, реформы духовных академий на манер униатской *Barbareum* в Вене⁸ и запрещения ставить в священники или в диаконы лиц, не знающих основательно латинского, греческого, еврейского языков да одного из новейших западных (славянские наречия все должны быть обязательны), не знающих основательно церковной истории и археологии, и мне кажется, что если не

* Зачеркнуто: уроках закона.

будут приняты деятельные меры, то через несколько десятков лет православие пропадет в России. Его с одной стороны раскол поглотит, а с другой западный протестантизм, а то и другое будет несчастьем для нашей политической будущности. В настоящее время вопрос о поддержке православия становится в высшей степени важным ввиду усиленной деятельности против него и против самого раскола иностранных пропагандистов, которые, как мне кажется, скоро возьмут верх, но об этом я расскажу после, покажу скажу только, что изгнание белого духовенства из светского общества и закрытие ему клубов, театров, трактиров, общественных увеселений — политическое самоубийство. Я много и пристально изучал быт православных священников в Болгарии, в Молдавии и в Австрии, и у меня сердце болит при воспоминании, как у нас не умели пользоваться этим сильным рычагом прогресса, сколько талантов гибнет и какое малое число истинно образованных людей выходит из наших училищ. Будь духовенство посредником высших и низших сословий, никакой нигилизм не пустил бы корней, да и грамотность была бы распространена в народе.

Отступления мои, может быть, слишком длинны, но я делаю их по необходимости, так как рассказ о событиях, которые я видел или в которых участвовал, был бы непонятен без объяснения причин этих событий. Перехожу к тому, что делалось в Лондоне.

*

В мае 1859 г., когда я приехал в Лондон, я застал Герцена во всем блеске его славы и авторитета. Через два года влияние его стало ослабевать, через три года звезда его окончательно померкла. Я познакомился с ним по общему порядку, какой не то сам завелся, не то Герценом же был заведен в Лондоне. Каждый приезжий естественным образом прежде всего бежал к Трюбнеру⁹ купить «Колокол», «Полярную Звезду» и прочие заграничные издания. При этом выходила вечная комедия, очень лжившая Трюбнеру, — русские жали ему руку, благодарили его за его либерализм, за его деятельность для блага человечества вообще, а русского народа в особенности. Они, в простоте души, принимали его чуть ли не за равного Маццини, а во всяком случае за друга и за помощника Герцена. Трюбнеру это ужасно льстило, он сам на себя начинал смотреть, как на замечательного человека, собирался (и даже советовал спрашивать), не будет ли полезно гравировать его портрет для распространения в России. Он думал, что это будет содействовать развитию оппозиции. Я раз, в шутку, выпытал у него признание в надежде, что благодетельствованный им русский народ рано или поздно поставит ему памятник. В сущности, Трюбнер — добрый малый, ловкий издатель и агент американских книг, человек практически не глупый и очень оборотливый. На лондонских изданиях он нажил большие деньги, единственно умением* распространить их на континенте. Наконец, он имел безусловное доверие к Герцену и Огареву, а потом ко мне, так что брался издавать все безусловно, что только мы ему предлагали. Порусски он не знал ни слова, об России понятия не имел. Про него говорили, будто он много содействовал ввозу в Россию своих изданий — это неправда. Он слишком осторожен, чтобы рисковать своим товаром, посылая его наудалую. Как тогда, так и после «Колокол» и пр. распространялись единственно путешественниками, возвращавшимися из-за границы.

Приезжий в Лондон обыкновенно изъявлял Трюбнеру желание удостоиться счастья познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и при-

* Зачеркнуто: ловко.

глашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание или у себя или у приезжего, если последнему почему-нибудь не хотелось, чтобы его видели в доме Герцена. Такие случаи бывали очень часто. Лица очень высокопоставленные никогда не входили в дом Герцена, и тайна свидания их с ним так и остается тайной на долгое время, когда выйдут в свет неизданные главы его записок «Былое и думы», которые много прольют света на историю этого периода. Собственные имена в доме Герцена не произносились или произносились очень редко. Кто сам не хотел скрывать своих визитов, тот сам себя называл; кто конфузился или просил, чтобы его не выдавали, того имя или мы переменяли, что было, впрочем, редко, или обыкновенно отделялись от нескромных вопросов тем, что не помним, не знаем, трудное имя и т. п. Да и трудно было помнить всех приезжавших на поклонение, так много их было. Они мелькали один за другим, входили с трепетом благоговения, слушали и врезывали себе в память каждое слово Герцена, сообщали ему сведения словесно или в заранее приготовленных записках, выражали ему свое собственное сочувствие и сочувствие своих знакомых, благодарили за пользу, приносимую общением России, и за страх, который «Колокол» навел на все нечестное и нечистое, затем раскланивались и исчезали. Кого только ни перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он выдался с глазу на глаз. Много раз, стоя у камина в его кабинете в Fulham'e¹⁰, я хохотал в душе, смотря на какого-нибудь капитана в отставке, который нарочно поехал в Лондон из такой глуши, как Симбирск или Вологда, заявить свое сочувствие, объяснить, что он не ретроград, как и сосед его Степан Петрович и как кум его Петр Степаныч. «Это все, доложу вам, золотой наш Александр Иванович, люди благородные, свободомыслящие-с, да-с, этими людьми вся губерния наша может гордиться! И если б правительство умело выбирать людей, ценить бы-с умело благородство характера — давно бы-с они важные места занимали в государстве! Но у нас-с, как вы и сами изволили заметить, больше на низкопоклонстве можно выехать? Вот, например, наш исправник — уж вы его отделайте в «Колоколе», вам за это весь уезд благодарен будет, мне даже поручено просить вас об этом.. Человек развратный, жену свою бьет, проиграл в карты прокурору четыре рубля и не платит!». Являлись дамы с дочерьми и с сыновьями, просили написать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах. Какой-то господин, отправляясь в Иерусалим, писал письмо с известием о своем намерении и с изложением своего взгляда на ничтожество жизни. Все это, разумеется, сильно надоедало Герцену и Огареву и постоянно ставило их в самое неловкое положение. Печатать всего, что присылалось или что сообщалось, не было возможности: «Колокол» должен был бы принять размеры «Times», а содержание его состояло бы из невероятных процессов, сплетен и всякой дряни, он потерял бы мигмом все значение, превратясь в орган личных неудовольствий бог знает кого, бог знает против кого. Клевета и так в него попадала, а что было бы, если бы все печаталось?

Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева. Свидания и приемы несерьезные делались раз в неделю (впоследствии два раза), в назначенный день, обыкновенно в воскресенье, с пяти часов вечера. Тут-то и была каторжная работа обоим издателям «Колокола» — занимать гостей, быть любезными со всеми, выслушивать всякий вздор и не показывать вида, что скучно. А не принимать тоже было нельзя, — каждый приезжий все-таки привозил какие-нибудь но-

вые сведения, да и в интересах пропаганды необходимо было знакомиться с каждым, ищущим знакомства. Эти люди все-таки были передовыми в своих кружках, были смелее других, решаясь являться публично в общество изгнанников, и, воротясь домой, могли усилить свой авторитет известием, что они обедали у Герцена, указали ему на некоторые злоупотребления, дотоле ему неизвестные, и вообще говорили с ним о важных государственных делах. Но, в сущности, сколько я мог заметить, мало кто из них понимал ясно, чего добивается «Колокол». Гости наши в простоте души считали нас революционерами, тогда как мы были реформаторами, они принимали Герцена за агитатора, а он был * органом оппозиции старому порядку вещей, начавшейся и действовавшей в самой России. С кем можно сравнить Герцена и Огарева, по их взгляду на вещи и по их направлению, это скорее всего с Брайтом и Кобденом¹⁾. Обстоятельства принудили их, против их воли, сделаться агитаторами, но на этом агитаторстве и подорвалось их влияние.

Здесь я опять должен сделать отступление, так как считаю долгом разъяснить правительству силы и взаимные отношения так называемой партии беспорядка. Официальные сведения об ней неверны, потому что составители официальных записок всякого рода (как я убедился, сличая изданные мною официальные записки о расколе с тем, что есть на деле) всегда преувеличивают опасность, по весьма естественному ** желанию и отличиться перед начальством усердием и подделаться под его личный взгляд, а, пожалуй, еще и из страха навлечь на себя ответственность, если из партии, которая поручена им для исследования, вдруг и в самом деле возникнет что-нибудь опасное. То же надо заметить и о показаниях, даваемых обвиненными при следствиях, — они запутывают дело или по незнанию или умышленно, чтоб отвертеться. Фанатики из них преувеличивают опасность из хвастовства или из желания стяжать мученический венец; малодушные, блудливые, как кошка, и трусливые, как зайцы, попав в руки правительства, пугаются своей участи и, чтоб спастись, начинают каяться в тюрьме — а это уж самый неблагоприятный мотив раскаяния — и плетут на своих товарищей все, что попало, из страха и из желания подслужиться следователям и судьям. Затем, сочинения и прокламации самих деятелей оппозиции также не заслуживают доверия, это я уж по личному опыту знаю. Когда мне пришлось сделаться агитатором, как это расскажу впоследствии, я сплошь и рядом должен был привирать о располагаемых мною средствах; я должен был, как это ни было мне противно, туманить глаза людей, на которых приходилось действовать, преувеличенными рассказами о силе и значении нашей партии в России. Политические и религиозные агитаторы, революционеры, социалисты, иезуиты, молокане, спириты — все прибегают к этому способу; послушать любого из них, то мир только его сторонниками и держится, а будущность цивилизации только его секте или партии и принадлежит, тогда как на деле-то оказывается, что история человечества идет по диагонали двух сил: силы предания или привычки и силы толчка, даваемого ей новыми учениями, поэтому ни одна партия и ни одна секта никогда не достигают своей цели.

Я стоял слишком близко к лондонской партии, оставил ее по убеждению, воротился в Россию по доброй воле и потому надеюсь, что показание мое не может быть заподозрено в умышленном искажении фактов и что мне нет никакой выгоды преувеличивать или уменьшать их значение.

* Зачеркнуто: не более как.

** Зачеркнуто: чувству.

Приехав в Англию вскоре после декабрьского *coup d'Etat*, Герцен, как и сам он рассказывает в «Былом и думах», примкнул к существовавшему тогда Европейскому революционному комитету¹². Комитет этот состоял из представителей всех народностей и всех партий и, естественно, не замедлил распасться на веки вечные. Во времена первой республики (1789 г.) догмат оппозиции был чрезвычайно прост: все люди рождаются одинаково — да будет же в человечестве братство, равенство и свобода! Эту логическую посылку мог одинаково исповедывать и француз, и англичанин, и самоед, но с падения республики, а тем более с реставрации, вопрос осложнился. Прогрессисты принялись за серьезное изучение наук экономических, исторических и словесных, и из этого изучения возникли партии социалистов, поборников исторического права и поборников национальности. Волнения начала 30-х годов уже показали, какое направление примет история, а 1848 год окончательно разрубил гордиев узел и определил характер нашей эпохи. Принципы 1789 г. убиты им были наповал в Париже, в Вене и в Берлине, потому что каждому стала ясна их несостоятельность и неприменимость к практической жизни. В Италии борьба кипела за национальность, в Германии — тоже, в Венгрии — за историческое право. В разгаре борьбы и в переполохе от реакции предводители движения искренно верили, что между ними нет никакой разницы, что они одинаково думают, чувствуют и к одному и тому же стремятся, поэтому они так легко и сошлись в эмиграции, никак не предполагая, что сближение необходимо должно было их перессорить.

Между французами было две партии: революционеры (Ледрю-Роллен) и социалисты (Луи Блан). Одна сторона обвиняла другую в проигрыше дела, в непрактичности, в пристрастности. Маццини не мог простить французам взятия Рима, которое погубило итальянское дело¹³, а французы не могли понять, что Италия не может же на веки вечные оставаться расчлененной из вежливости и из уважения к Франции. Франция — передовая страна Европы, Франция — родина и очаг мысли, наук, вкуса, Франция для блага человечества должна преобладать над Европой, и без ее санкции ни один народ не только своей внешней политикой, но даже и внутренней распоряжаться не должен, а тут Маццини признает Италию чуть ли не выше Франции, благоговееет только перед *Dio e popolo*¹⁴, да еще имеет нахальство заявить, что *Italia fara da se!!!*¹⁵ С мадьярами также никто не мог сладить. Мадьяры были аристократы, гордые своим происхождением, генеалогиями, историческим правом на словаков, словенцев, хорватов, сербов, русских; либеральные принципы, провозглашенные ими, очевидно, были взяты на реквизицию, чтобы * произвести восстание. Немцы никак не могли ни мадьярам простить их бунт против Вены, ни итальянцам их нечувствительность к благам немецкой культуры, ни французам их необходимость исправить границу присоединением зарейнских земель. Про поляков и говорить нечего. Они были разбиты на три главные партии, не считая множества мелких, и никак не могли убедить немцев, что Данциг, Кенигсберг и Бранденбург входят в состав Польши; на итальянцев они были злы, да и злы до сих пор, что итальянский вопрос отвел глаза Европы от польского; только с французами они как-то ладили и ладят, но и то не с эмигрантами, а с бонапартистами, от которых ждут действительной помощи.

Кроме розни в принципах, распадению Центрального европейского революционного комитета помог еще финансовый вопрос. Каждая партия, каждая народность считала свое дело неотлагаемо важнейшим в

* Зачеркнуто: поддержать.

Европе, и каждая уверяла, что выиграй она, то и все другие выиграют, а капитал был небольшой — Герцен чуть ли не больше всех пожертвовал, — да и большинству эмигрантов жить было нечем, за работу же эмигранты принимаются очень неохотно, в ожидании, что не сегодня — завтра снова заварится каша, тунеядничают, интригуют и кончают обыкновенно очень плохо.

Комитета теперь нет, и едва ли когда-нибудь он возобновится, но эмигранты все-таки состоят в связях между собою. С французами, с немцами Герцен почти совсем разошелся, так что в мое уже время ни те, ни другие почти и в доме у него не бывали, а кто и бывал, то не из замечательных (Девиль, ... *, Альтмауэр, Майзенбург, ... *)¹⁶. С мадьярами он точно так же разошелся, выдаясь изредка только с Кошутом и с Пульским¹⁷. Отзывы его об них обо всех — о французах, немцах и о мадьярах — были вообще не в их пользу. Только с Маццини и с его друзьями был он в хороших отношениях. Он очень уважает итальянцев за их способность быстро понимать каждый вопрос и беспристрастно отзываться даже о враждебных им партиях. Маццини нравится ему за его железную волю, за ловкость, смелость и последовательность. Это действительно необыкновенный человек, ему все покоряется. Английская аристократия тысячи фунтов стерлингов давала ему на итальянское дело; каждый год раза по два, по три ездил он в Италию, где был приговорен к смертной казни, и ездил обыкновенно без паспорта. Он всем пожертвовал во имя единства Италии и вот почти добился его. Остается еще сделать из Италии республику. Программа его: Dio e popolo!

Итак, от Европейского комитета осталась только приязнь некоторых из его членов и готовность сделать друг другу разные мелкие услуги. Англичанин, едущий в Италию, может получить от Герцена письмо к Гарибальди. Кошут может дать русскому, представленному Герценом, рекомендательное письмо в Пешт, но далее этих приятельских отношений связи нынешних предводителей политических партий не идут.

Другое происходит в массе эмиграции, в этих хористах революции, как Герцен их называл. Это народ совсем особенный и ничуть не похожий на вожakov. Большинство их составляют бывшие гимназисты, недоучившиеся студенты, прапорщики и поручики, мелкие чиновники, солдаты, мастеровые, которые из фразы, из увлечения пошли на баррикады или в повстанье и унесли свои головы в эмиграцию. Работать они не любят, потому что «мы, дескать, крови своей за свободу не жалели», да и головы у них чересчур экзальтированы, чтобы за что-нибудь дельное приняться. В политических, экономических и социальных вопросах они ровно ничего не смыслят. Задолбили себе, что свобода вещь очень хорошая да что без революции свободы добиться нельзя, что цари, дворяне и попы — враги свободы, что всякое восстание есть дело и благородное и полезное, — на том и конец, дальше и спрашивать их не о чем. Газет они почти не читают, а что и читают, того толком не понимают, легковверны до крайности, волнуются при каждом нелепейшем слухе, подыскивают нелепейшие объяснения непонятным для них действиям передовых политических деятелей, приписывают им намерения и дела, каких у тех и в помысле не было. Один из таких господ взвалил на Герцена и Маццини поджигательство в южной России через мое посредничество, при помощи скопцов и липован!¹⁸ Это так же верно, как то, что Каракозов был подослан дворянством (по словам «Nord»¹⁹) или что покойный цесаревич Николай Александрович²⁰ жив и что его видают в Новороссийском крае. Переслушать нет возможности всех нелепид, которые болтают эмигранты и все интересующиеся политикой, но

* Пропуск в подлиннике.

не следящие за ней толком. Они врут для того, чтобы задать тон, показать, что и они кое-что знают, что они пользуются доверием у людей сведущих и имеющих связи. Предположение, догадка в их неразвитых, но тщеславных умах мигом превращается в истину.

Эти хористы — вечные и неизменные участники каждой революции или инсurreкции. Они дерутся в Италии, в Америке, в Польше, в Кандии, в Перу и в Чили. Где только потасовка, там без них не обходится. Держатся они вместе, невзирая на национальность, а партий между ними не водится. Но союз их не страшен, потому что они не имеют ни авторитета, ни связей, ни капитала. Опасность от них может быть другого рода: услышит какой-нибудь из подобных господ, сосланный в Казань или в Рязань, что поджоги приписываются революционерам и совершаются ими во имя благоденствия рода человеческого, станет об этом раздумывать и, чего доброго *, сообразит, что и он обязан сделать такую же услугу прогрессу. По крайней мере, настолько, сколько я знаю противуправительственные силы современной Западной и Восточной Европы, я не могу допустить — представить себе не могу самой возможности — общества политических поджигателей. Я знаю, что правительство имеет другой взгляд на этот вопрос, но я могу то только заметить, что если б что-нибудь подобное существовало в Добрудже, в Молдавии и в молдавской Бессарабии, то это не могло бы не быть мне известным, а если б мне было известно, то — пусть мне на слово поверят — я бы или остановил безумцев или сам бы указал на них правительству. Липованы и скопцы сами бы растерзали на месте каждого, кто явился бы к ним с подобным предложением, а когда я сообщил им, что русские газеты обвиняют их в поджигательстве, они только хохотали на это обвинение, даже не обижаясь им, так дико оно им показалось. Наконец, наши консулы в Галаце, в Измаиле и в Тульче должны были бы что-нибудь слышать о поджигателях и об их агентуре в Добрудже. Старообрядческий епископ тульчанский Иустин находится теперь в Москве, где он принял единоверие, в Москве же, кажется, теперь живет и инок Иоасаф из Славского скита, — пусть правительство наведет справки, если оно все еще верит этой сплетне, которая могла зародиться только в умах эмиграционной черни да следящих за нею полицейских агентов, обыкновенно очень плохо знакомых с делом и тоже излишне сообразительных ²¹.

Итак, Революционный комитет распался. Герцен остался один с приятелем своим, поляком графом Ворцелем, предводителем польской демократической партии и редактором газеты «Demokrata Polski» ²². Типографию свою он поместил вместе с типографией Ворцеля и начал печатать свои повести, воспоминания («Тюрьма и ссылка»), «С того берега» и т. п. сочинения, которые в строгом смысле слова были вовсе не революционные и даже совершенно безвредные, хотя тогдашние цензурные правила и не могли допустить появления их в России. Но другой русский эмигрант, бывший тогда в Лондоне, Энгельсон ²³, не удовлетворялся этой чисто литературной деятельностью. Он стал печатать известные памфлеты: «Письмо Емельки Пугачева», «Видение святого Кондратия» и т. п. Что это за человек был, можно судить по его сочинениям, лишенным не то здравого смысла, не то понимания нашей народности ²⁴. В «Видении святого Кондратия» он предлагает не хоронить мертвых, а сжигать их! Точно об тогдашнем положении дел нечего было сказать дельного и точно одного подобного предложения народу не было бы довольно внушить ему раз навсегда суеверное отвращение к либералам! ²⁵ Герцен печатал его статьи нехотя ²⁶ и кончил тем, что порвал

* Зачеркнуто: решит.

с ним. Из его собственных памфлетов того времени замечателен только один «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству», с знаменитою фразой: «К топорам, братцы!»²⁷. Нет сомнения, что этот памфлет был толковей и дельней энгельсоновских. Кроме того, Герцен ни за что не соглашался делать пропаганду в России при помощи иностранцев, тогда как Энгельсон настаивал, что следует воспользоваться Крымской войной для распространения лондонских брошюр в России. Если не ошибаюсь, это и была одна из главных причин их размолвки²⁸.

Начал Герцен «Полярную Звезду», самая обертка которой показывает его глубокое благоговение к прежним поборникам свободы в России²⁹. Ни про одного из них не позволит он худо при нем отозваться. Но ни «Полярная Звезда», ни памфлеты — ничто не указывало на определенный план его деятельности, хотя уже и тогда он поставил себе задачей добиваться 1) освобождения крестьян с землею, 2) отменения цензуры и 3) отменения телесного наказания, — требования, как я и выше заметил, вовсе не революционные, — о республике, о династии не было ни слова, равно как и не было ни одного слова в пользу восстания, сколько я помню.

Огарев, друг детства Герцена, его alter ego, приехав в Лондон, основал «Колокол»³⁰ и дал более правильный ход пропаганде. Герцен уступил ему все финансовые, экономические и юридические вопросы, оставив за собой только общие статьи и смесь, где было более простора его широкому перу и его врожденному юмору. С этого же времени начинается и эпоха его огромного влияния на всех образованных людей в России.

Заговоров он не делал, тайных обществ не основывал. «Пусть в самой России заводят оппозиционные и реформистские лиги, — твердил он каждому приезжему, — нам из-за границы этого делать неудобно, да и нечестно бы было толкать людей на гибель, зная, что сами ничему не подвергаемся. Наше дело быть органами движения, путь ему и цель указывать, высказывать то, о чем цензура заставляет молчать...» И действительно, несмотря ни на просьбы, ни на какие убеждения, Герцен и Огарев не решались выступить агитаторами на манер Маццини. Так было до лета 1862 г.

Это — смотря на дело с тогдашней точки зрения — было большой ошибкой. Вся Россия волновалась лондонскою пропагандой, все готово было действовать против правительства, но никто не знал, как и с чего начать; даже чего хотеть, не знали. Люди приезжали в Лондон с полною готовностью служить делу, они отдавались в безусловное распоряжение Герцена, они команды ждали, им нужна была формула, катехизис, чего хотеть и чего не хотеть, и в ответ не получали ничего определенного. Я тысячу раз указывал на это Герцену и Огареву, но они стояли на своем: «Ну, хоть устав лиги сочините, — говорил я, — напишите его по параграфам; ваши слова, ваш приказ будет иметь силу и авторитет. Укажите точно и ясно, чего следует добиваться, а то ведь хаос идет вопиющий между прогрессистами». Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а организовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков не доставало, — они не были государственные люди.

С самого Парижского мира³¹, когда с наплывом русских за границу так быстро стали расходиться их издания, а вместе с тем и авторитет их приобрел такое огромное значение, им чуть не каждый приезжий, чуть не каждое письмо предлагали деньги на поддержку пропаганды и на основание капитала для тайного общества, — они не принимали, а собрать могли бы сотни тысяч. «Наших собственных средств доволь-

но, — отвечали они, — для ведения пропаганды, приемом денег мы навлечем на себя и большую ответственность и, чего доброго, набросим тень на чистоту наших целей. Употребите эти деньги в России, там они более нужны, потому что там нужно дело делать». Жертвователи пожимали плечами, спускали деньги в Париже или в Баден-Бадене, а кто и не спускал, кто и желал бы отдать их кому-нибудь в России, тот не знал, к кому обратиться. Даже когда [уже] авторитет пропаганды стал падать, один юный офицер, только-что получивший по наследству что-то около ста тысяч рублей наличными, не считая огромного имения (Кзаков, помнится, его звали)³², привез свой капитал (в 1862 г.) в Лондон и отдавал его Огареву, обещаясь отдать и то, что выручится от продажи имения. «Мы заводим теперь общий фонд³³, — сказал Огарев, — и мы решили, что у кого меньше пяти тысяч рублей серебром (если не ошибаюсь) дохода, тот пусть пять процентов своего дохода вносит, а у кого больше, тот десять процентов, а таких пожертвований мы не можем принять». Это мне сам Кзаков рассказывал в Париже, ругаясь на чем свет стоит и, очевидно, переменяя убеждения. Сколько я, с самого начала моего знакомства, ни убеждал Герцена и Огарева в необходимости иметь капитал на непредвиденные обстоятельства, нельзя было их уломать. А последствия показали, что я был прав и что сила Лондона, главным образом, состояла в том, что тамошних деятелей считали людьми очень деловыми и что никто не мог допустить, чтобы они, волнуя Россию, не были готовы стать в данную минуту во главе восстания. Энтузиасты думали, что у нас не только несметные капиталы, но что у нас есть даже склады пушек, пороха, ружей...

Горько мне разоблачать ошибки людей, которым я некогда слеповеровал и которых до сих пор искренно люблю, особенно Герцена... Мне тяжело писать разъяснение их неудач*, но разъяснение это необходимо сделать. Государь и правительство его сделали столько добра России в эти тринадцать лет, они так сумели перегнать нас, тогдашних прогрессистов, что долг лежит на каждом добросовестном русском раскрыть им прошедшее и настоящее — все, что может облегчить им труды их в будущем.

Еще что погубило нас — это нападки Герцена на русских литераторов и журналистов. После войны все журналы наши и вся литература приняла оппозиционный характер, все образованные люди сочувствовали возникновению русской типографии за границей, и если кто и роптал на лондонскую пропаганду, то только в том смысле, что она недостаточно ловко ведет дело, бьет не туда, куда следовало бы. Удовольствие, что у нас явилась оппозиция, было общее, и вся журналистика ее поддерживала. Вместо того, чтобы воспользоваться таким благоприятным настроением умов, Герцен и Огарев стали нападать на Каткова, на Краевского, на Усова³⁴ — да почти что на всех без исключения — за их обмолвки или за их взгляды, в которых они не сходились с «Колоколом». Если б эти мелочи оставить без внимания, не требовать от людей невозможного единомыслия по всем второстепенным вопросам, то едва ли бы возникла такая вражда к нам сначала «Московских Ведомостей», а потом и всех прочих журналов. Герцен с Огаревым, как и Чернышевский с Благосветловым³⁵, не сумели справиться с свободой книгопечатания, потому что были излишне приучены к строгой цензуре. Они совершили самоубийство, вызвав без малейшей нужды оппозицию своим принципам. Они дотравили своих противников до перемены убеждений из-за наносимых им оскорблений, а известно, что убеждения и взгляды людские всего легче меняются из-за личных неудовольствий. Я злился, что

* Зачеркнуто: точно я операцию делаю над собой.

русские публицисты стали нападать на «Колокол», а Герцен и Огарев радовались; им казалось, публичные возражения на их принципы только распространят эти принципы в обществе, — так глубоко верили они в правоту своего дела.

В 1860 г. каждый приезжий слушал их с благоговением, в 1861 г. начали робко возражать им, в 1862 г. с ними уже спорили и прямо в глаза им говорили, что они забыли Россию. Даже мне наедине жаловались на промахи и на политическую несостоятельность Герцена и Огарева. А Герцен все острил да шутил, хоть иногда и со слезами на глазах, в силу своего глубокого юмора и сильно любящего сердца, и никак не мог удержаться от статей вроде той, где говорилось, будто его хотят похитить³⁶. Что письмо об этом действительно к нему пришло, это положительно; и что почерк лица, которым оно было писано, был знаком, хотя никто не знал, кто этот тайный друг пропаганды, — все это верно. Но, во-первых, не следовало обращать внимания на такую несбыточную угрозу, а во-вторых, следовало догадаться, что если и был такой умысел, то он никак не принадлежал самому правительству, а если даже и принадлежал, то существовал, как проект, как предположение, об осуществлении которого даже и не думали, потому что и в секрете его не держали. Статья эта тоже сильно скомпрометировала Герцена, сделав его смешным... Впрочем, трудно даже и перечислить все причины, поведшие его к падению с той высоты, на какой он стоял до 1861—1862 гг. Довольно того заметить, что в то время, когда я выступил агитатором, наш кредит был уже сильно подорван, а наше бессилие в финансовом отношении, как и недостаток в слепо преданных последователях, и излишек в врагах и в критиках окончательно подорвали наше влияние, и, как я ни бился, я уже не мог восстановить его.

*

Я сказал, что я остался в Лондоне с больною семьей и без средств. По счастью, мне попались уроки³⁷, которыми я пробилась кое-как целое лето. К осени один книгопродавец, Williams, сделал мне предложение перевести библию с церковного на русский для одной высокопоставленной особы, имени которой он объявить мне не вправе и которой в настоящее время нет в Лондоне.

— Я и условий даже не знаю, сколько эта особа заплатит за ваш труд, но мне поручено найти способного переводчика, если можно лингвиста, а как вы именно такое лицо, какое нужно, то я вам сообщу условия, когда эта особа возвратится.

В тот или в другой день я передал этот разговор Трюбнеру. Трюбнер нахмурился:

— А, так его высочество так со мной поступает!!! Не через меня ищет переводчика, не через меня, издателя русских книг и друга русских, а через Вильямса!!!

— Какое его высочество?

— Lucien Bonaparte³⁸, известный дилетант лингвистики... Так вот он как! Я этого от него не ожидал. Я уже раз нашел ему переводчика для «Песни песней»*, а он вот как со мной!.. — расхохотался Трюбнер.

— Да зачем же ему этот перевод?

— А! у него вечные фантазии. Он занимается сравнением европейских языков...

* Напечатано в ограниченном числе экземпляров. кажется, не больше двадцати пяти. Переводил какой-то эмигрировавший офицер, по фамилии Т... [так в подлиннике]. Он впоследствии служил у Гарибальди. Я его не застал в Лондоне³⁹. [Примечание Кельсиева].

— Жалко, — сказал я, — а я думал предложить ему перевести библию не с церковного — это труд скучный да и не занимательный, — а с еврейского.

Глаза Трюбнера засверкали:

— А вы знаете по-еврейски? Неужели вы знаете?

— Не скажу, чтобы я был гебраист, но понимаю свободно почти все, что читаю...

Трюбнер подпрыгнул:

— Тогда вот что. Переводите библию для меня. Это будет и памятник русской литературы и будет иметь цивилизующее влияние на Россию и, наконец, — наконец, это должно будет пойти...

На другой день мы подписали контракты, и я сел за работу. В этот же день у меня умерла моя первая дочка. Трюбнер предложил мне начать с труднейшей книги, с пророка Исаии, чтобы посмотреть, как у меня пойдет дело и в силах ли я справиться с этим трудом. Вознаграждение он дал мне крохотное, судя по английским ценам за литературный труд, — десять фунтов стерлингов (около шестидесяти рублей) за книгу. Работал я усердно, даже страстно, пользуясь при этом преимущественно рационалистическими комментаторами, которых выводы как нельзя более согласовались с моим тогдашним атеизмом и приводили меня в восторг разъяснением последних моих сомнений. Перевод мой и сделан был в таком духе, т. е. темные и спорные места я переводил не так, как они понимаются церковью и как утверждены ее преданием, а так, как их объясняют рационалисты — на основании одних законов еврейской грамматики. Разумеется, во мне возникло при самом начале моей работы желание облагодетельствовать русский народ истинами, в которых я был убежден, как не знаю в чем.

Перевод Исаии не напечатан, — Трюбнер отложил его до того времени, пока я переведу исторические и учительные книги, и я принялся за «Пятикнижие» моисеево⁴⁰, которое и издано с нелепейшим предисловием, образчиком сумбура, сидевшего в моей голове. Перевод мой вышел плох. Во-первых, мне трудно было подыскивать русские слова на каждое еврейское, а я задал себе задачу сделать перевод таким точным, чтобы каждое еврейское слово во всем моем труде передавалось только определенным раз навсегда русским. Для точности же я не изменял еврейского синтаксиса, жертвуя верности красотой слога. Из-за этого у меня вышла маленькая неприятность с Герценом. Когда набран был первый лист, он ахнул неизяществу перевода и наотрез объявил, что он ни за что не допустит печатания в Лондоне такого безобразия, которое скомпрометирует репутацию «Вольной русской типографии». Как я ему ни объяснял разницу перевода литературного с научным, он стоял на своем, хоть и был совершенно неправ, как человек, никогда не занимавшийся филологией и не понимающий ее требований: перевод для исследователей, для ученых, какой я предпринял, делается всегда на условиях, совершенно отличных от перевода, назначаемого для легкого чтения и для публики. Но делать было нечего, пришлось уступить принципам, как его в шутку называл Огарев, и сделать из перевода по одной системе перевод по двум, что его окончательно погубило. К этому надо прибавить еще опечатки тогда еще очень неисправной лондонской типографии, из которых некоторые вышли даже очень забавны: вместо «и передал ему бог свой дух» напечатано: «и дал ему бог свой перевод». Строгая, но в сущности верная рецензия этого труда была тогда же сделана в «Православном Обозрении»⁴¹ и перепечатана во многих светских журналах. На книгах моисеевых перевод мой и остановился. Трюбнер хотел посмотреть, как он пойдет в продаже, а пошел он плохо и по высокой цене трюбнеровских изданий и по общему равнодушию

нашей читающей публики ко всему, что касается религии. Причины этого равнодушия я указал выше.

Во время работы над переводом я сблизился с Lucien Bonaparte. Меня познакомил с ним Трюбнер, и Lucien дал мне доступ в свою библиотеку, богатую собранием старопечатных библий на разных славянских наречиях, которыми я и пользовался. Принц — большой любитель лингвистики, много работает, но взгляды его на науку и знакомство с современными научными приемами отстали века на два. Намерения своего перевести библию с церковного на русский он не оставлял, но, почему-то вообразив, что острожское издание представляет лучший славянский текст, он хотел сделать перевод с острожского, да еще с первого, которого нет в Лондоне и которое он искал где-нибудь купить. Так это дело и не состоялось. Видались мы часто, много спорили о лингвистической классификации языков, не убедили ни в чем друг друга и расстались с его отъездом в Париж, где он заседает в сенате. Принц тогда занимался кельтийскими наречиями, но никак не мог совладать с звуком «ы». Есть кельтийское слово дум, которое выговаривается совершенно как наше дым; принц никак не мог произнести его. О политике у нас не было сказано ни слова.

[В это же время издан был в Лондоне «Стоглав»⁴². Русские журналы приписывают мне это издание, в чем я совершенно неповинен. Его напечатал беглый дьякон нашей афинской миссии Агапий⁴³, грязная личность, оклеветавшая в «Колоколе» своего архимандрита, наделавшая пропасть подлостей в Лондоне и уехавшая на Восток. В Бейруте Агапий был униатом, но и там перессорился с отцом Гагариным⁴⁴, потом в Александрии сделался он почтальоном, кажется, а где он теперь, не знаю. Рукопись «Стоглава» подарил ему князь Петр Владимирович Долгорукий⁴⁵.]*

Мой перевод библии, несмотря на всю его неудачность, принес однако своего рода пользу. Лондонское библейское общество стало перепечатывать «Осьмикнижие» издания 20-х годов, а в России духовные академии принялись за самостоятельные переводы. Странное дело, все, что в настоящее царствование замышлялось во вред правительству и церкви, все пошло им на пользу!

Уроки мои продолжались, библейское общество пригласило меня корректировать его издание «Осьмикнижия» и «Нового завета» на весьма щедрых условиях, досуг был у меня большой, так что я мог возвратиться к моим любимым занятиям сравнительным изучением языков. Изредка я составлял также для «Колокола» экстракты из процессов, неправильно решенных в России, и вообще разные маленькие извлечения из больших дел, как, например, из кипы бумаг по делу о выселении в Турцию крымских татар⁴⁶. Рукописей и дел привозилось и присылалось в Лондон несметное множество — одних нефранкированных писем получал Герцен шиллингов на десять в день (рубля на три), и у него положительно не было возможности самому перечитывать всю эту гору бумаг, приходивших в его руки.

Раз вечером, отдавая мне на пересмотр разные бумаги, он вдруг остановился и сказал: «Да постойте, вы, богослов, — как он меня шутя называл с тех пор, как я принялся за библию, — просмотрите-ка заодно и документы о раскольниках. Они у меня давно валяются, прочесть их я все не соберусь, а мне говорили, что они очень интересны. Я, признаться сказать, в богословских вопросах ничего не смыслю, стало, это по вашей части. Посмотрите, может, что и найдется извлечь из них для «Колокола». И он вытащил мне огромный тук рукописей, о котором

* Квадратные скобки — в подлиннике.

он бы и не вспомнил до сих пор, думаю, если б не шум, наделанный незадолго перед тем книгою Щапова о расколе⁴⁷.

Воротаясь домой, я стал перебирать записки о раскольниках и не мог оторваться от них. Я всю ночь не спал за чтением. Я чуть в уме не тронулся. Точно жизнь моя переломилась, точно я другим человеком стал. В самом деле, не дай Герцен мне этих документов, может-быть, я до сих пор был бы революционером и нигилистом. Они спасли меня.

Мне казалось при чтении их, что я вхожу в неведомый, таинственный мир, в мир сказок Гофмана, Эдгара По или «Тысячи и одной ночи». Скопцы, с их мистическими обрядами и их исполненными поэзией «распевцами» и «страдами», хлысты, с их причудливыми верованиями, мрачные типы беспоповцев, интриги старообрядческих вожakov, существование русских сел в Пруссии, в Австрии, в Молдавии и в Турции — все это неожиданно открылось мне в эту ночь; секта сменяла секту, образы неслись передо мною один за другим, точно в волшебном фонаре, я читал, читал, перечитывал, голова кружилась, дух спирался в груди. Я убил бы того, кто помешал бы мне читать, я за всю Калифорнию не * выпустил бы из рук этих записок. Как сумасшедший, выбежал я из дома в полдень, чтобы освежить голову, которая не могла переварить всего прочитанного, и чтобы поделиться моим восторгом с Герценом, с Огаревым, с Чернецким, нашим типографщиком, с Трюбнером, наконец, с первым встречным. На меня смотрели, разумеется, с недоумением, не понимали, чему я так радуюсь, и изо всех моих рассказов о верованиях наших сектантов заключили только, что они очень глупы. Словом, меня никто не понял.

«Ерунда! — говорили мне, — дураки эти раскольники! Как можно из-за формы креста или из-за перстосложения спорить, навлекать на себя гонения, вздор, мелочь делать догматом, упускать дух учения церкви из-за обрядности? Как можно сочинять и веровать в Христов Иван Тимофеевичей или в богородицу Акулину Ивановну, матушку царицу небесную?...».

Но я видел совсем другое. Эти мужики-сиволапы, эти бородатые кушцы, поруганные и осмеянные Европой и нашими образованными людьми, эти невежды, варвары, погрязнувшие в грубом материализме, мигом поднялись в моих глазах. Не плох тот народ, который при всех общественных неурядицах и под страшным гнетом XVII и XVIII в. сумел не заснуть как западный *rausan* или Вауер или как польский *chlór*, а, напротив того, думал и думал о высших вопросах, могущих занимать ум человеческий — о правде и неправде, о Христе и об антихристе, о вечности, о душе, о спасении, короче — о тех мировых вопросах, над которыми бились и доселе бьются лучшие подчас — вина не его; он додумывался, до чего мог, толковал и понимал как умел, — не отсутствие таланта мешает даровитому маляру стать великим художником, а незнание техники, перспективы, анатомии, законов освещения и гармонии красок. Раскольниковство делает честь русскому народу, доказывая, что он не спит, что каждая умная мужицкая голова сама хочет проверить догматы веры, сама промышляет о истине, что русский человек правды ищет, а какую найдет, по той и пойдет, не пугаясь ни костра, ни пещеры с заваленным входом, ни оскотления, ни даже человеческих жертв и людоедства. На Западе простой народ слеп. Западные секты сочинены для него учеными богословами, а русский человек сам, один-одинехонек, на свой салтык и на свою ответственность правды ищет, как сам и Сибирь завоевал, и русское царство отстоял, сам свою архитектуру даже создал и свое искусство, и — я твердо верую — сам

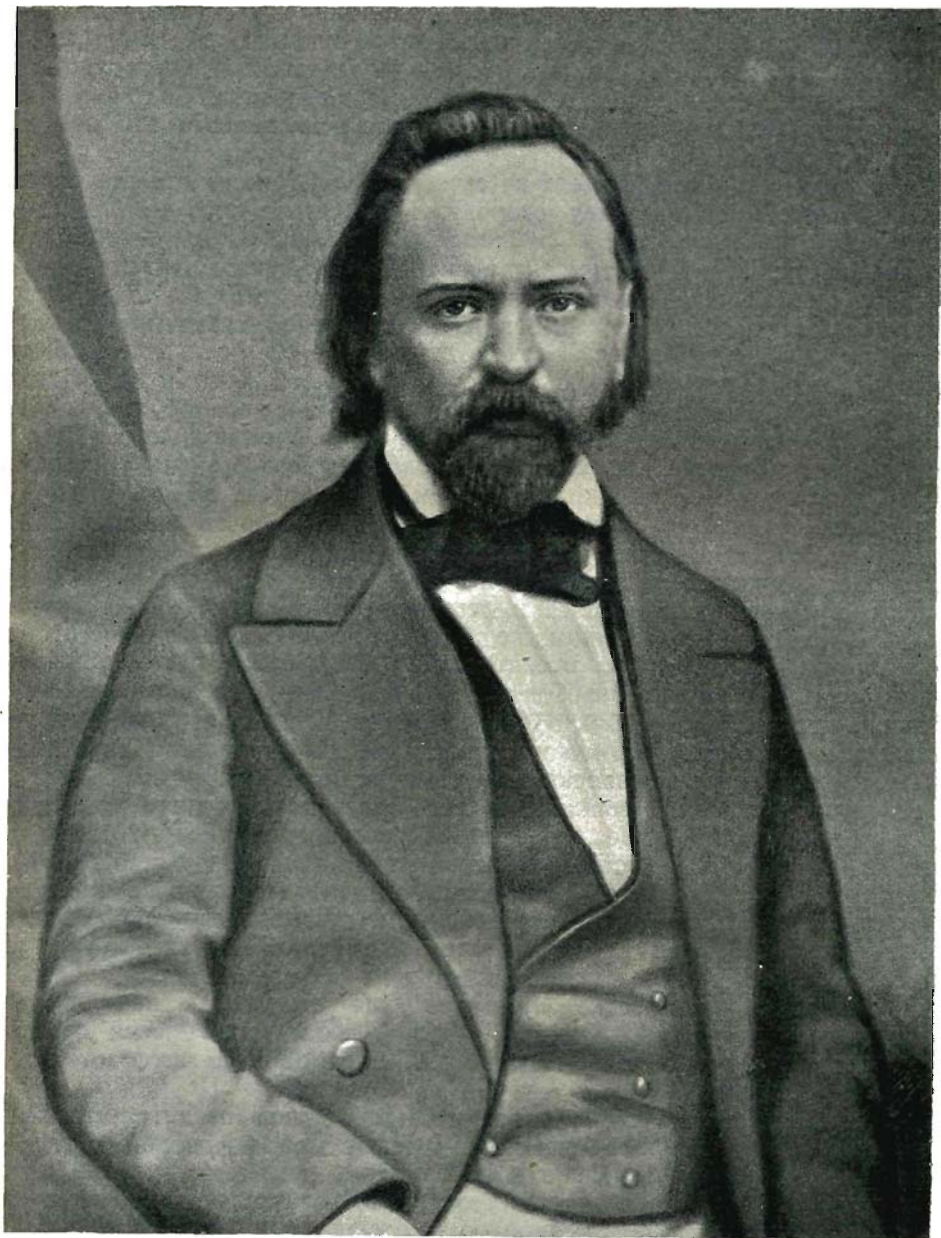
* Зачеркнуто: отдал бы.

создаст и свою науку и общественный быт и перешеголяет ими шумливый и гордо презирающий нас Запад. Задатки этому — даже и больше, чем задатки — уже положены реформами настоящего царствования.

Другое, что меня так заинтересовало в расколе, — это оригинальность, или, лучше сказать, вычурность его учений, не похожая ни на что в целом свете, такая же самобытная, как архитектура Василия Блаженного, как обделка икон в фольгу, как резьба берестяных бурок для соли, как раскраска деревянных чашек, — словом, его, несомненно, русское происхождение и исключительно русский характер. И вот я поставил себе почти задачею жизни разгадать сущность этого явления, докопаться до его источников и проникнуть в его тайны. Я, как тогда, так и до сих пор, ничем так не интересовался, как всем загадочным, вычурным, таинственным. Это меня в детстве заставило одолеть китайскую грамоту, в юношестве отняло несколько месяцев на изучение египетских и мексиканских иероглифов, втянуло меня в изучение буддизма, конфуцианизма и других восточных религий, метало меня и в философию, и в астрономию, и еще не знаю куда, наконец, завлекло изучением раскола и, наконец, побудило меня посетить и исследовать такие захолустья Турции и Австрии, по которым (грубое, но меткое народное выражение) сам черт в семь лет только раз пробегает.

Наконец, меня возмутила несправедливость стеснения наших сект, тогда как иностранные пользуются у нас полной свободой. Католичество, с канонической точки зрения, — более раскольничья вера, чем старообрядчество, которое почти ничем не отличается от православия, а католичество у нас в почете и «бискупы» не должны прятаться, как «владыки». Лютеранство — ересь, а беспоповство только раскол. Лютеранство в чести, а беспоповство еле-еле терпимо. Все возможные иностранные протестантские секты терпимы в России, а наши собственные протестанты, у которых и догматы толковее, чем у западных, которые и библию признают нашу целиком, не отвергая ни одной из ее книг, которые и имена одинакие с нами носят, старого стиля держатся — молоканы — чуть что не преследуются. Такое неуважение к своему и потачка чужому меня оскорбила, как русского, а как человеку, мне стало жалко теснимых, и я не мог не понять, что стеснение это, в каких бы размерах оно ни происходило, может вести только к развитию в бедном народе фанатизма и восприимчивости ко всякого рода фантастическим учениям.

Я решил помочь горю, а помочь ему, по тогдашнему настроению умов в России вообще, а у нас в Лондоне в особенности, можно было только протестом, резкими выходками против правительства и обличительными нападками на него. По-тогдашнему, самым верным и самым действительным средством сделать что-нибудь путное было усиление оппозиции и слияние всех недовольных элементов воедино. Предполагать, что правительство и само искренно желает добра России, что его собственный интерес состоит в освобождении народа от всяких утративших надобность стеснений, тогда казалось безумием. Слова правительство и зло были чуть не синонимами. Надежды России возлагались на молодое поколение... Теперь все это кажется странно, а тогда, право, в это искренно верилось, и каждый мальчишка искренно считал себя и способнее, и опытнее всех государственных людей Европы. Опытность, практика, привычка к делам ни во что не ставились; осторожность и обдумывание казались недобросовестностью. Это была какая-то лихорадочная пора: все метались, будто спросонья, разбуженные севастопольским погромом; глаза не были приучены к свету, ум — к пониманию, руки — к работе.



ГЕРЦЕН

Фотография, 1850-е гг.

Институт литературы, Ленинград

— Ну, — сказал мне Герцен, выслушав мои панегирики расколу, — вам и книги в руки. Я в вероучениях мало понимаю, но, само собой, раскольникам следует помочь. Нельзя ж оставаться равнодушными, когда людей теснят за их, хоть и нелепые, верования. Составьте что-нибудь из этих записок и напечатайте, надо ж вывести эти дела на свежую воду.

Но мне мало было вывести на свежую воду. Мне захотелось приманить раскольников на нашу сторону, возбудить в них политическую оппозицию правительству, воспользоваться бесполовским учением, что царь — антихрист, министры и архиереи — архангелы сатаны, чиновники и священники — воплощенные черти. Мне хотелось сделать для раскольников практический вывод из их верований, надоумить их, чего им хотеть, чего добиваться и кого держаться. На беду мою, я до тех пор не был лично знаком с нашими сектантами, хотя у меня даже родных много между старообрядцами; все, что я знал об них, я знал только по доставшимся мне документам. Знай я раскол, как я теперь его знаю, я бы и не подумал рассчитывать на его помощь оппозиции.

Принялся я писать книгу по этим документам, но книга моя не удавалась. Во-первых, документы эти не имели почти никакой связи между собой, во-вторых, в Лондоне ничего почти не было из книг, изданных о русских сектах, да и в самой России мало что было о них печатано. Побился я, побился и решил, не мудрствуя лукаво, напечатать мои материалы целиком, не опуская и не изменяя ничего. Так я и сделал, — я напечатал все, что у меня было, кроме статей отрывочных, неясных, сокращенных и т. п.⁴⁸ Г. Мельников⁴⁹ впоследствии обвинял меня печатно, будто я умышленно исказил его записку, поданную его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу, которая напечатана у меня в первом выпуске⁵⁰. У меня было три списка этой записки, и все совершенно одинаковые: я не только не искажал и не переделывал ничего, мне даже интересу на это не было; я бы не посягнул на это уже и потому, что я библиофил и антикварий, а уж никто, как библиофилы и антиквари, не имеет такого слепого благоговения к письменным памятникам. Старообрядцы тоже ропщут на меня за помещение «Синаксаря»⁵¹ — пародии на их сказания, а самое помещение этой пародии доказывает, что я составлял сборник беспристрастно, а не подбирая документы, как это утверждает автор «Раскола, как орудия враждебных России партий» («Русский Вестник»), который, впрочем, и самое дело излагает и неполно и неверно⁵².

Предисловия мои к обоим выпускам «Сборника правительственных сведений о раскольниках» вполне выражают мой тогдашний взгляд и тогдашние тенденции, а равно и показывают мое полное незнание с расколом и мой пристрастный взгляд на действия людей, с которыми я не сходилась по убеждению, — отсюда мои * резкие отзывы о Надеждине, Мельникове, даже о Шафарике и Гакмане⁵³.

Печатаю «Сборник» и изучая раскол, я решился ехать в Белую Криницу, в Молдавию, в Турцию для личного ознакомления с русскими выходцами и для заведения, при их помощи, сношений с их единоверцами в России. Мне думалось устроить у них склады наших изданий, предложить им завести у нас типографию для печатания их собственных сочинений и вообще ознакомиться с ними. Герцен и Огарев наотрез отказали мне в разрешении ехать, и пришлось слушаться, потому что я сам напросился в эмиграцию, сам остался в Лондоне, против их желания, потому что всякая разладица между мною и ими

* Зачеркнуто: несправедливые.

повела бы только к ослаблению моих сил действовать для блага России. Возражения их были те, что подобная поездка не имеет определенной цели, что если раскольникам нужно, они и сами придут, сами попросят завести типографию с церковным шрифтом, сами заведут у себя склады. Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня впереди, и мое имя загорело бы их имена, так что их значение как публицистов померкло бы перед моим значением агитатора. А я еще был слишком молод (25—26 лет), да и недавно стал им известен. Кто мог поручиться, что легко приобретенная известность не вскружит мне голову, не толкнет меня злоупотребить своим влиянием и не наделает бед разделением лагеря? Чем я мог обеспечить их, что я не наговорю лишнего, не затею вздора, что, в случае ареста, не выдам из малодушия людей, которые мне доверятся?.. Разумеется, мне не было это высказано, но не понять их мотивов было нельзя. Я проглотил пилюлю, как она ни была горька, и покорился. «Выдержите искусы, Кельсиев, — говорил мне часто Герцен, всегда более расположенный ко мне, чем Огарев, — знаю, что вам тяжело, знаю, что не легко, но крепитесь, закалите свою волю, — даже монахом нельзя сделаться, не побывав послушником, даже в офицеры не иначе производят, как из кадетов или из юнкеров. Терпи казак — атаман будешь». И я терпел, выносил безропотно свое послушание, но атаманом не стал, или и стал (казак-баши), но уже совершенно другого рода.

Мысль о причинах и о сущности раскола не давала покою мне. Я бросил на время лингвистику и принялся за изучение истории России, за предания, за сказки, за народную поэзию, за мифологию. Мифология и сделалась с того времени моей специальностью, и хоть я ничего не писал по этой части, но мне кажется, что я нашел средства и метод восстановить вполне наши языческие верования, что и сделаю, если когда-нибудь буду на свободе и буду иметь возможность посещать императорскую публичную библиотеку⁵⁴. Занятия эти все более и более ознакамливали меня с верованиями, преданиями и обычаями нашего народа, но я все-таки его не знал, потому что не жилал с ним. Впрочем, и это был уже большой шаг вперед, — это был выход из отвлеченной созерцательной жизни в жизнь практическую, и этим шагом я обязан был своим документам о расколе. Они же выгнали меня и из моего кабинета. Изучая русские секты, я не мог не сравнивать их с западными, а я жил в отечестве западных сект, и мне пришлось взяться за их изучение. Но тут книги составляли для меня только пособие, комментарий, а сектанты были у меня живые. И я начал, в первый раз в жизни, шататься по разным моленным, митингам, изучать обряды, заводить знакомства с мормонами, с квакерами, с масонами, с old fellows⁵⁵ и со всеми прочими ненормальными явлениями английской жизни. Это возбудило во мне охоту ознакомиться с людьми на деле, а до тех пор я знал их только из книги, а знакомиться мне было всего любопытней с простонародьем, так как все наши верования и все социалистические системы стремились к улучшению быта низших классов, и я, переломив в себе раз навсегда и брезгливость, и застенчивость, стал посещать всякие трущобы, куда прячется и беда, и порок, заслуженное и незаслуженное горе. Я стал ходить туда, как ботаник ходит собирать растения, или как орнитолог забирается с вечера в чащу леса подслушивать и подсматривать, какая птица встает раньше, а какая позже, как какая кричит и с чего начинается день свой.

В тавернах, в питейных домах, на дешевеньких представлениях я сближался с кем попало, с кем только удавалось заговорить, гово-

рил на всевозможные темы и — и потерял веру в социализм, или, по крайней мере, в прелесть его для бедняков. Оборвыши, люди, дня по три не евшие, защищали так же горячо право собственности, как любой купец или землевладелец. Сначала мне казалось это дико, я стал добиваться причин и добился: в человеке индивидуальность слишком сильна, чтоб безусловно жертвовать ею долгое время интересам массы. Но социализм все-таки возможен и, я думаю, даже неотвратим, но только никак не в французской его форме, а вроде английских Collaborative Associations⁵⁶, с таким успехом и с такой пользой распространяющихся теперь повсюду без шума, без нарушения чьих-либо интересов и без противодействия личному обогащению их собственных членов. Подобный социализм, разумеется, заслуживает и сочувствия, и поддержки каждого честного человека и каждого правительств. Социализм же французский, по программе «Молодой России», — фантазия, могущая занимать головы разве шестнадцатилетних отцов отечества.

Итак, я перешел на реальную почву, задор мой стал улегаться, но еще не проходил. Нужно было побольше видеть и побольше узнать, чтоб окончательно отрезвиться от оппозиционной горячки. Но отрезвление это давалось не вдруг, болезнь была хроническая.

Каждого приезжего я расспрашивал о сектантах и каждого просил собирать и высылать мне материалы, разъясняя ему, разумеется, всю важность и полезность сближения нашей партии с раскольничьими согласиями и проповедуя необходимость этого сближения. Материалы, действительно, стали присылаться, и между ними, к величайшему моему восторгу, я нашел и книгу Надеждина «О скопцах»⁵⁷. Ее я давно желал видеть, списка ее у меня не было, а понятие я имел об ней только по извлечению из нее, ходившему по рукам. Книга эта была кем-то прислана Герцену — все посылки шли ему — с просьбой возвратить ее владельцу в сохранности. Стало-быть, печатать с нее было нельзя, — в типографиях необходимо разбирать оригинал на листы для раздачи работникам. Пришлось переписать всю книгу от первой до последней страницы, и, нечего делать, я переписал, с соблюдением даже орфографии Надеждина. Вышла она, впрочем, не при мне, — я уже был в России. «Скопцы» был третий выпуск моего сборника, а четвертый, составленный, как и два первых, из разной смеси, вышел, когда я был в Цареграде, и потому очень дурно прокорректирован*. На этом и кончилась моя издательская деятельность за границу. Мне приписывают издание «Собрания постановлений по части раскола»⁵⁸, — оно вышло, когда я был тоже в Цареграде, а издавал его Огарев. Кто сочинитель и кто издатель «Исповедания молоканов»⁵⁹, дрянной книжонки, вовсе не дающей понятия о молоканстве и которая, наверно, не молоканами и писана, я не знаю**.

Заключаю некоторыми подробностями из нашей внутренней жизни, которые, я думаю, не будут лишены интереса, а, во всяком случае, послужат к разъяснению многих отношений, о которых мне придется упоминать в следующем отделе.

Нас было трое в Лондоне: принципал Герцен, его alter ego Огарев и их послушник — я. К нам примыкали два поляка, которые, впрочем, вращаясь около нас, сильно обрусели. Это был типографщик Герцена, Чернецкий⁶¹, уроженец Люблинской губернии, эмигрант 1848 г., участвовавший в венгерской кампании, человек очень тихий, работающий, исправный, пользовавшийся общим уважением и сочувствием. Выбрав

* Зачеркнуто: Огаревым.

** «Грибуль», сказка Жорж Санда, — перевод моей жены; больше она ничего не печатала⁶⁰. [Примечание Кельсиева].

себе скромную роль управителя типографии, он исполнял ее усердно, с образцовою точностью, ни во что не мешался, никаких претензий не имел и довольствовался своей скромной долею. Другой⁶² был уроженец тоже Царства польского, не помню, какой губернии, действительный студент Московского университета, участвовал в Познанском деле 1846 г., дрался на баррикадах в Париже и в Берлине, пока судьба не занесла его в Англию, где он какими-то судьбами и сделался поверенным Герцена по его частным делам. Впоследствии Тхоржевский открыл небольшую книжную лавочку и летучую библиотеку, занимался разными комиссиями, вечно хандрил, вечно жаловался на нездоровье и на попусту прожитую жизнь, плакался, что холост и что жены себе по вкусу подобрать не может, но, впрочем, был очень добрый и услужливый человек, так же искренно и глубоко привязанный к Герцену, как и Чернецкий. Все мы жили тихо, смиренно, дружески, никогда не ссорились, и все признавали авторитет Герцена, даже и сам Огарев.

В 1860 г. к компании нашей прибавился иеродиакон Агапий, о котором я поминал, но войти в наш тесный кружок ему не удалось, по его тяжелому, мнительному и скрытному характеру.

В конце 1860 г. явился Дубровин⁶³, простодушный и очень симпатичный мальчик, прямо со школьной скамейки... * (бывшего дворянского полка), который прошел пешком всю Финляндию, Швецию и часть Норвегии, с переполоху, что его арестуют за какое-то письмо политического содержания. Я не понимаю, что он мог написать политического, должно-быть, какие-нибудь бредни тогдашней молодежи. С Герценом он как-то не сошелся, мучился тоской по родине и кончил тем, что, не пропущенный во Францию, поехал в Норвегию, чтобы пробраться через нее в Россию, и пропал без вести.

При нем же явился в Лондон князь Николай Платонович Трубецкой⁶⁴, который скрыл от нас причину, почему он оставил Россию. Он много настрадался, пока решился обратиться к нам за помощью... Впрочем, его история должна быть лучше известна правительству.

Был еще английский подданный, не знавший ни слова по-английски, уроженец Нижнего, Владимир Эberman⁶⁵, гимназист, бежавший из России, потому что испугался слов своих, сказанных им из мальчишеского желания себя показать квартальному, звавшего его в свидетели по какому-то делу («Что мне ваша повестка! Что мне ваши законы! Что мне ваш царь! Я — английский подданный, так мне ваш царь все равно что китайский богдыхан»). И он много натерпелся. Спустил небольшие деньги, какие у него были (помнится тысяча рублей серебром), связавшись тоже с выходцем из России, каким-то Левестамом, бывшим комиссариатским чиновником во время Крымской войны и приговоренным по суду к расстрелянию, как он сам хвастался, не объясняя, впрочем, за какие добродетели. Левестам обчистил бедного мальчика, как липку, тот с голоду предложил русскому посланнику себя в шпионы, нам об этом сообщили из Петербурга — тот же таинственный почерк, о котором я упоминал. Чернецкий вышвырнул его из типографии, и с тех пор он как в воду канул, пока я вдруг не встретил его в Тульче учителем в молоканской школе. И там ему не повезло, отчасти по моей вине и по требованию Герцена сбить его с рук куда-нибудь. Уже в кишиневском тюремном замке я узнал, что он добровольно воротился в Россию, просидел десять месяцев в том самом карцере, где мне, по счастью, повелось пробыть только двое суток, и что тот же унтер-офицер Марков, который до-

* Пропуск в подлиннике.

рил на всевозможные темы и — и потерял веру в социализм, или, по крайней мере, в прелесть его для бедняков. Оборвыши, люди, дня по три не евшие, защищали так же горячо право собственности, как любой купец или землевладелец. Сначала мне казалось это дико, я стал добиваться причин и добился: в человеке индивидуальность слишком сильна, чтоб безусловно жертвовать ею долгое время интересам массы. Но социализм все-таки возможен и, я думаю, даже неотвратим, но только никак не в французской его форме, а вроде английских Collaborative Associations⁵⁶, с таким успехом и с такой пользой распространяющихся теперь повсюду без шума, без нарушения чьих-либо интересов и без противодействия личному обогащению их собственных членов. Подобный социализм, разумеется, заслуживает и сочувствия, и поддержки каждого честного человека и каждого правительства. Социализм же французский, по программе «Молодой России», — фантазия, могущая занимать головы разве шестнадцатилетних отцов отечества.

Итак, я перешел на реальную почву, задор мой стал улегаться, но еще не проходил. Нужно было побольше видеть и побольше узнать, чтоб окончательно отрезвиться от оппозиционной горячки. Но отрезвление это давалось не вдруг, болезнь была хроническая.

Каждого приезжего я расспрашивал о сектантах и каждого просил собирать и высылать мне материалы, разъясняя ему, разумеется, всю важность и полезность сближения нашей партии с раскольничьими согласиями и проповедуя необходимость этого сближения. Материалы, действительно, стали присылаться, и между ними, к величайшему моему восторгу, я нашел и книгу Надеждина «О скопцах»⁵⁷. Ее я давно желал видеть, списка ее у меня не было, а понятие я имел об ней только по извлечению из нее, ходившему по рукам. Книга эта была кем-то прислана Герцену — все посылки шли ему — с просьбой возвратить ее владельцу в сохранности. Стало-быть, печатать с нее было нельзя, — в типографиях необходимо разбирать оригинал на листы для раздачи работникам. Пришлось переписать всю книгу от первой до последней страницы, и, нечего делать, я переписал, с соблюдением даже орфографии Надеждина. Вышла она, впрочем, не при мне, — я уже был в России. «Скопцы» был третий выпуск моего сборника, а четвертый, составленный, как и два первых, из разной смеси, вышел, когда я был в Цареграде, и потому очень дурно прорекорректирован*. На этом и кончилась моя издательская деятельность за границу. Мне приписывают издание «Собрания постановлений по части раскола»⁵⁸, — оно вышло, когда я был тоже в Цареграде, а издавал его Огарев. Кто сочинитель и кто издатель «Исповедания молоканов»⁵⁹, дрянной книжонки, вовсе не дающей понятия о молоканстве и которая, наверно, не молоканами и писана, я не знаю**.

Заключаю некоторыми подробностями из нашей внутренней жизни, которые, я думаю, не будут лишены интереса, а, во всяком случае, послужат к разъяснению многих отношений, о которых мне придется упоминать в следующем отделе.

Нас было трое в Лондоне: принципал Герцен, его alter ego Огарев и их послушник — я. К нам примыкали два поляка, которые, впрочем, вращаясь около нас, сильно обрусели. Это был типографшик Герцена, Чернецкий⁶¹, уроженец Люблинской губернии, эмигрант 1848 г., участвовавший в венгерской кампании, человек очень тихий, работающий, исправный, пользовавшийся общим уважением и сочувствием. Выбрав

* Зачеркнуто: Огаревым.

** «Грибуль», сказка Жорж Санда, — перевод моей жены; больше она ничего не печатала⁶⁰. [Примечание Кельсиева].

себе скромную роль управителя типографии, он исполнял ее усердно, с образцовою точностью, ни во что не мешался, никаких претензий не имел и довольствовался своей скромной долей. Другой⁶² был уроженец тоже Царства польского, не помню, какой губернии, действительный студент Московского университета, участвовал в Познанском деле 1846 г., дрался на баррикадах в Париже и в Берлине, пока судьба не занесла его в Англию, где он какими-то судьбами и сделался поверенным Герцена по его частным делам. Впоследствии Тхоржевский открыл небольшую книжную лавочку и летучую библиотеку, занимался разными комиссиями, вечно хандрил, вечно жаловался на нездоровье и на попусту прожитую жизнь, плакался, что холост и что жены себе по вкусу подобрать не может, но, впрочем, был очень добрый и услужливый человек, так же искренно и глубоко привязанный к Герцену, как и Чернецкий. Все мы жили тихо, смиренно, дружески, никогда не ссорились, и все признавали авторитет Герцена, даже и сам Огарев.

В 1860 г. к компании нашей прибавился иеродиакон Агапий, о котором я поминал, но войти в наш тесный кружок ему не удалось, по его тяжелому, мнительному и скрытному характеру.

В конце 1860 г. явился Дубровин⁶³, простодушный и очень симпатичный мальчик, прямо со школьной скамейки... * (бывшего дворянского полка), который прошел пешком всю Финляндию, Швецию и часть Норвегии, с переполоху, что его арестуют за какое-то письмо политического содержания. Я не понимаю, что он мог написать политического, должно-быть, какие-нибудь бредни тогдашней молодежи. С Герценом он как-то не сошелся, мучился тоской по родине и кончил тем, что, не пропущенный во Францию, поехал в Норвегию, чтобы пробраться через нее в Россию, и пропал без вести.

При нем же явился в Лондон князь Николай Платонович Трубецкой⁶⁴, который скрыл от нас причину, почему он оставил Россию. Он много настрадался, пока решился обратиться к нам за помощью... Впрочем, его история должна быть лучше известна правительству.

Был еще английский подданный, не знавший ни слова по-английски, уроженец Нижнего, Владимир Эберман⁶⁵, гимназист, бежавший из России, потому что испугался слов своих, сказанных им в мальчишеского желания себя показать квартальному, звавшего его в свидетели по какому-то делу («Что мне ваша повестка! Что мне ваши законы! Что мне ваш царь! Я — английский подданный, так мне ваш царь все равно что китайский богдыхан»). И он много натерпелся. Спустил небольшие деньги, какие у него были (помнится тысяча рублей серебром), связавшись тоже с выходцем из России, каким-то Левестамом, бывшим комиссариатским чиновником во время Крымской войны и приговоренным по суду к расстрелянию, как он сам хвастался, не объясняя, впрочем, за какие добродетели. Левестам обчистил бедного мальчика, как липку, тот с голоду предложил русскому посланнику себя в шпионы, нам об этом сообщили из Петербурга — тот же таинственный почерк, о котором я упоминал. Чернецкий вышвырнул его из типографии, и с тех пор он как в воду канул, пока я вдруг не встретил его в Тульче учителем в молочанской школе. И там ему не повезло, отчасти по моей вине и по требованию Герцена сбывать его с рук куда-нибудь. Уже в кишиневском тюремном замке я узнал, что он добровольно воротился в Россию, просидел десять месяцев в том самом карцере, где мне, по счастью, повелось пробыть только двое суток, и что тот же унтер-офицер Марков, который до-

* Пропуск в подлиннике.

ставил меня в III отделение, отвозил Эбермана из кишиневского острога в нижегородский в марте нынешнего года.

Все эти выходцы были наборщиками у Чернецкого, и если что можно об них прибавить, то разве то, что иеродиакон Агапий и князь Трубецкой были отличные наборщики и бывали приняты у Герцена, а что Дубровин и Эберман были ленивы и у Герцена, который их не взлюбил с первого разу, приняты почти не бывали.

О князе Юрии Николаевиче Голицыне⁶⁶ и о его спутниках я не считаю нужным здесь рассказывать. Его невероятные приключения и так довольно известны.

Князь Петр Владимирович Долгоруков бывал в Лондоне наездом. Отношения наши с ним были довольно натянутые. Мы расходились с ним в принципах, да и, наконец, — надо правду сказать — неловко себя чувствовали в присутствии претендента на императорский престол — и претендента очень обидчивого. Князь нигде не составил себе партии, он был всем чужой, и при нем всякий как-то стеснялся из вежливости, — тогда как без него все были свободны, и каждый чувствовал себя в нашем кружке, будто дома.

Наконец, и бывший апостольский викарий полярных стран Северного полюса, Джунковский⁶⁷, был у нас. Первый раз, кажется, летом 1860 г., второй раз осенью 1861 г. Во второе его посещение я, никогда не покидавший мысли завести церковный шрифт, сговорился с ним об устройстве в его типографии, в северной части Норвегии, в нескольких верстах от Норд-Капа, в городе... * отделения для печатания старообрядческих книг⁶⁸. Я не скрывал от него своего атеизма и моего отвращения к католицизму.

— Я должен прямо объяснить вам, Степан... *, — сказал я ему, — что уговор лучше денег. Я ни слова не скажу, не только что не напишу, в пользу исповедания, глава которого не в России, которое повлекло бы к расслаблению русской народности. Помогать расколу всех сект я готов потому, что раскол, прежде всего, наше доморощенное произведение и что каждый раскольник, прежде всего, русский; он даже верует только в те догматы, которые сочинены в России. А про последователей иностранных исповеданий этого нельзя сказать, — какие ни будь они русские патриоты, а богословие их все-таки чужого ума дело, и догматика их вырабатываться всегда будет не у нас, а за границей, где она волей-неволей будет принимать отенков, враждебный нашей национальности. Будь поляки и немцы православными, или поди они в наш раскол, не было [бы] у нас бестолковой резни с одними, да и другие бы давным-давно обрусели и языком, и именами, и самыми чувствами. А то поляки тянутся к Франции, а немцы на Пруссию глядят, — у них в Швабии свой король.

— Я очень уважаю и ценю вашу откровенность, — отвечал Джунковский, — и вам не покажется парадоксом, что я имею большое сочувствие к атеистам...

Я глаза вытаращил от такого оборота дела.

— Да, я признаю только два последовательных учения — атеизм и католицизм, есть бог и нет бога. Если нет — ну и нет, и это может войти в умную голову. А если умная голова признает, каким бы то ни было путем, что бог есть, то я не вижу, как ему не допустить проявления этого бога на земле пророчествами, чудесами, чудотворными иконами, мощами и всем, над чем смеются протестанты **, при-

* Пропуск в подлиннике.

** Я покорнейше прошу особ неправославного исповедания, в руки которых может перейти эта записка, не ставить мне в вину многих подобных отзывов, ко-

знаявая возможность их во времена ветхого завета и отрицая их в новом, со времен смерти последнего из учеников христовых. Атеиста я понимаю, а их я не понимаю...

— Ни я. Я тоже нахожу их непоследовательными. Мормон или скопец мне понятней, — отвечал я. И в самом деле, стоило мне убедиться (путем новейших открытий в астрономии) в существовании разума в природе, которую я считал бессмысленной игрой вечной материи, я пошел в церковь. Это случилось вскоре после того, как Джунковский вышел из костела в ту же церковь.

— Делайте, что хотите, печатайте, что хотите, — продолжал Джунковский; — и не работайте в пользу католицизма. Наш интерес, интерес католиков, весьма прост. Нам нужно добиться полной свободы вероисповедания на всем земном шаре и уничтожения монархий. Нам республики выгодней монархии. Вы скажете, что в Риме иначе на это смотрят — да, правда, там в большой силе старая партия, там, как и повсюду, пропасть отсталых, которые селятся сохранить отжившие учреждения и тем бросают тень на самую веру. А мы, новые, мы сами ищем союза с революционерами, — я* искал знакомства с Герценом, а не он со мной. Мы в революционерах всех цветов, даже в крайних коммунистах и фурьеристах, видим естественных союзников. Они — наши пионеры. Пусть они очистят землю от этих монархий, пусть они с лица земли сотрут все, что препятствует развитию свободнейших учреждений, и тогда на земном шаре будет едино стадо и один пастырь!

— Един пастырь, т. е. папа, я, пожалуй, допускаю, — говорил я, — но чтобы стадо единым стадо — это, уж воля ваша, сомнительно!..

— Нет, не сомнительно, Василий Иванович, — горячился Джунковский. — Теперь прогресс, наука вперед идет, невежество исчезает, а с ним исчезнет и сектантство. Протестантизм не выдержит критики, православие поймет, что оно гибнет от своего раскола с престолом князя апостолов, а про язычество да про магометанство, иудейство и прочий вздор и толковать нечего.

— Ну, теперь я понимаю, куда вы бьете, — решил я, — и я поеду в...** работать в помощь бедным сектантам с чистой совестью. Я убежден, что ни политическая, ни религиозная свобода не спасут католицизма, который тоже не состоятелен...

— Он нуждается в реформах — и в радикальных, я не скрываю.

— Положим и так. Но вопрос наш сводится на то, что вы в нас нуждаетесь и предлагаете нам свои средства, не обязывая нас ни к чему. Я еду в...**. И мы ударили по рукам.

Я бы и уехал в...**, куда каждое лето ходят с хлебом наши беломорцы, которые все — безоповцы поморского согласия. Но ехать надо было с шрифтом, а словолитня приготовила нам его не в две недели, а в два месяца, когда уже прекратилось сообщение с Норвегией. Мы обменялись с Джунковским не совсем дружескими письмами, — он довольно резко упрекнул меня, что я не держу своего слова, — и с тех пор я почти забыл о нем, как вдруг в Вене узнал из газет об его женитьбе и обращении в православие.

Но был еще эмигрант, над которым стоит остановиться, — Мартыанов⁶⁹.

Мартыанов явился в Лондон летом 1861 г., когда Герцен был на

торые мне придется делать об иностранных исповеданиях и об лицах иностранного происхождения. Я вполне уверен, что они первые оценят мою искренность с ними. [Примечание Кельсиева.]

* Зачеркнуто: сам добился.

** Пропуск в подлиннике.

даче. Он узнал это в нашей типографии, куда приехал справиться об адресе; спросил, когда Герцен воротится, и вышел. Об нем и забыли, как вдруг он опять явился, дождавшись возвращения принципала. Он был крепостной графа Гурьева, который его обидел и разорил, по его словам, и он явился в Лондон просить предать это дело гласности. Это был человек сильного ума и характера, гордый, честолюбивый, мстительный даже, но лишенный серьезного образования. Развитием своим он был исключительно самому себе обязан, — он образовал себя чтением русских книг. Языков он не знал, но что он читал, читал не без пользы. К несчастью, у него, как у всех *parvenus*, выбившихся на свет божий своими силами, осталась в душе затаенная вражда — зуб на обижавших его в былое время и на его графа, по милости которого он (опять-таки по его словам) потерял и капитал в двести тысяч и общественное положение. На Волге, где он торговал хлебом, он, очевидно, пользовался большим уважением и влиянием, как человек энергический и умный. В Лондоне он производил на всех тяжелое впечатление своей мрачностью, озлобленностью и неумением прощать ни малейшей обиды. С первого же дня его знакомства с нами его самолюбие пострадало. У него было наготовлено пропасть статей для «Колокола» и «Полярной Звезды», и Герцен не принял ни одной. Он писал что-то по социальным вопросам в полной уверенности, что его работа будет принята с восторгом, а Герцен и тут отказал. «Жалко мне этого Мартьянова, — сказал мне как-то Герцен, — хочется ему работать с нами, помещать статьи у нас, а что ж я сделаю, если все, что он пишет, выходит или не ново или, еще хуже, слабо». Не знаю, почему этот отзыв остался у меня в памяти, но он важен для объяснения личности Мартьянова, оскорбленной даже и у нас.

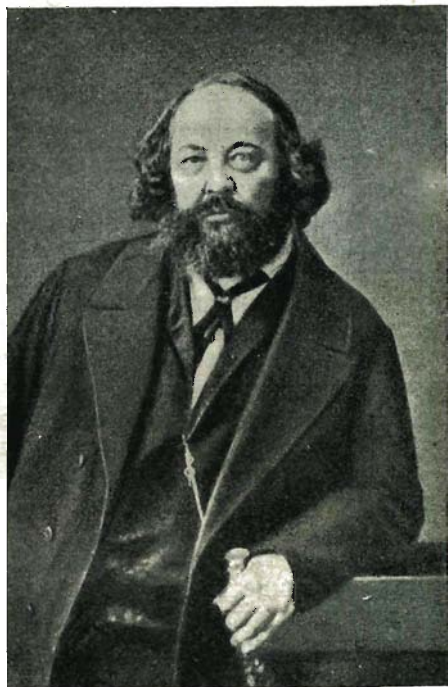
Стал он и у меня бывать, а я в это время готовил к печати мой третий выпуск («О скопцах») и прослеживал в русской истории, что такое именно царь в глазах нашего народа, откуда у нас этот глубокий, досадовавший меня тогда, монархизм, доводящий до веры самозванцам и проявляющийся в обоготворении Петра III под фантастическим образом его императорского величества господя нашего Иисуса Христа батюшки-искупителя Петра Федоровича. Копался, копался и докопался до тех выводов, которые у меня изложены в предисловии к этому выпуску. Их я считаю и до сих пор верными, так как я имел возможность проверить их в долгих беседах с просто-народьем. Разумеется, что в упомянутом предисловии они не имеют должной полноты и сильно разбавлены тогдашними тенденциями, приведенными «в пику и в нравоучение» правительству.

Как бы то ни было, но исследования мои привели меня к тому, что у нас и думать нечего проповедывать республику, что на подобную проповедь мужики крикнули бы: «Режь публику!» — все, что не принадлежит к низшим сословиям. Выводы свои я высказывал не раз Мартьянову, на которого я смотрел, как на человека, близко знающего народ. Мартьянов сначала не совсем соглашался со мной, но я ему указал на историю наших бунтов, прочел с ним вместе кой-какие источники, и вдруг Мартьянов повеселел, — он нашел исход своим чувствам. Всю любовь своей сильной и страстной натуры он излил на царя и на просто-народье, да так излил, что без слез не всегда говорить об них мог. Всю же ненависть свою, годами накопившую у него на сердце злобу, он опрокинул на дворянство и на чиновничество. «Всякий, кто не сын народа по происхождению, по воспитанию, да погибнет!» — провозглашал он. Ненависть так его обуяла, что он ненавидел не сословия, не классы общества, а даже личности.

М. А. БАКУНИН

Фотография

Литературный музей, Москва



Я как-то заставил его договориться до того, что, по его мнению, и величайшего врага его, графа Гурьева, и лучшего его приятеля в Лондоне, Огарева, следовало бы на одну * осину — за то, что оба родились дворянами. Такова последовательность удалой русской мысли! Он проповедывал вырезку всего немужицкого, даже купечества он не щадил, — вырезку с женами и с детьми, чтоб и на семена не оставалось. Много нужно было выстрадать его бедной душе, чтобы находить себе утешение в таких диких грезах, а найди он исход своим мыслям и силам, какой бы полезный человек из него вышел!

Но если теория вырезки всех не-мужиков так и осталась теорией, то монархизм наш пошел в ход. Огарев, постоянно советовавшийся с Мартьяновым о крестьянском вопросе и очень его уважавший, задумался над его словами, что крестьянам царь нужен, но что царь должен быть предан исключительно интересам низших сословий, что он должен жертвовать для большинства меньшинством и так далее. И вот, развилось у нас в Лондоне учение о земском царе..., но уже было поздно, надо было раньше высказаться в пользу монархизма и не дать повода считать себя революционерами и баррикадистами, за каких нас принимали в России, благодаря необдуманному фразам, не имевшим в наших глазах особого смысла, но которые молодежь принимала за сущность нашей пропаганды, тогда как сущность-то была вовсе не революционная, хотя и была вышита по революционной канве.

Поляков Мартьянов тоже не терпел и один из всех нас предвидел печальный исход польского дела.

✱

Несколько слов о Михаиле Александровиче Бакунине. За что этот человек пользуется такой высокой репутацией в революционных

* Зачеркнуто: веревку.

кругах и как ему удалось сделаться диктатором саксонским, для меня загадка. Это колоссальнейшая неспособность изо всех, мною виданных: тупой бунтовщик, вроде тех хористов революции, о которых я говорил выше. Его пустота и непонимание вопросов поразили меня с первого свидания⁷⁰.

Герцен и Огарев никогда не отзовутся дурно о человеке, который служил правому (или ими считаемою за правое) делу. Самопожертвование, риск, готовность на все — все искупает в их глазах, отсюда их благоговение к памяти «мучеников 14 декабря», отсюда признание Рылеева поэтом *soûte que soûte*, отсюда издание книги Радищева⁷¹, пропасть недомолвок в «Былом и думах» о революционных знаменитостях 1848—1849 гг. и т. п. Я никогда не мог добиться, за что Герцен в ссоре с Ледрю-Ролленом, а неохотные его отзывы о Бакуanine я приписывал тоже личной размолвке, считая Бакунина все-таки недешевою личностью, хотя знавшие его лично отзывались всегда не в его пользу. Много у меня было споров с Герценом и с Огаревым о том, что подвиг не выкупает глупости или мелочности характера, что дело — делом, а человек — человеком, но Герцен остался при своем, а я при своем.

Ждали Бакунина в Лондон. Настал день его приезда. Мне не терпелось видеть его, но, не желая мешать его встрече с старыми друзьями, я отправился к Герцену попозднее, дав им наговориться и высказать друг другу то, чего, может-быть, им не хотелось бы говорить при новичке. Я застал их при разговоре, какой обыкновенно ведется между старыми знакомыми, не видавшимися долгое время. Бакунин расспрашивал, что делает такой-то, этот жив ли, тот где и т. п. Разговор, наконец, перешел на современную политику.

— В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки облагоразумятся, поймут, что нельзя ж подыматься, когда государь только что освободил крестьян. Собирается туча, но надо желать, чтоб она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что ж тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели ж ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь, — я без дела сидеть не могу.

Это, я думаю, достаточно рисует личность Бакунина. Идей своих я у него ни одной не заметил. Все, что он проповедует, обыкновенно взято у него напрокат у первого встречного. Он вечно под чьим-нибудь влиянием. Пел он и с моего голоса, и с Мартынова, и с Лучинина⁷² (артиллерийского офицера, представителя создавшейся тогда умеренной партии). Это мешок, в который что положишь, то и несет, только бы не мешали ему рисоваться, да и не отнимали возможности составлять бог знает с кем и бог знает для чего разные тайные общества. Как-то он объяснял, что исключительно займется славянскими делами, и давай откапывать откуда-то разных сербов, чехов, болгар, уполномачивать их вести пропаганду в их краях. Видал я у него пропасть таких агентов.

— Да что вы, Михаил Александрович, ведь вы себя осрамите с этим парнем! Куда ему в агенты, он трех слов путем не свяжет, как пробка, глуп. Кто его там в чехах послушает?!

— Толкуйте, толкуйте! Много вы понимаете! Значит, у вас нет

способности людей разбирать, если вы так судите. Я, батюшка, опытный революционер, меня учить нечего! — Ну, разумеется, и махнешь, бывало, рукой, потому что, и действительно, учить было нечего.

Настроил я его собирать капитал для пропаганды, да и сам был не рад. Бакунин стал просто контрибуцию налагать на каждого приезжего, а тут наш погром начинается, — «Молодая Россия» да пожар Толкучки пали нам, как снег на голову⁷³. Молодежь кричит, что она без предводителей. Бакунин принял этот пост. Какие-то студенты написали ему письмо, чуть ли даже диплома не прислали на предводительство движением в России.

Кутерьма шла невероятная, неудача шла за неудачей, арест Ветошников поразил нас, как громом, а меня пуще всех. Все мои начинания лопнули, я уехал на Восток, оставив Бакунина предводительствовать какими-то непонятными тайными обществами, даже разбалтывать их тайны, что за ним также водится; и с тех пор не знаю, что он делал и кем предводительствовал. Во всяком случае, никак не славянами, которые его не терпят за то, что он не в ладах с русским правительством.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ПОЕЗДКА В РОССИЮ *

Постоянно работая над изучением России и раскола, я все ждал отзыва раскольников на мое издание, отзыва не было. Они ни одной статьи даже на обиды свои не посылали. Хотя бы поклон от них удалось услышать, хоть бы «спасибо» за труд в их пользу, я и тем был бы бесконечно доволен. Сборник хорошо шел в продаже, но кто его раскупал, определить было нельзя, как нельзя было и заметить особенного стремления к сближению с расколом в приезжих. Никто не был с ним знаком близко, да никто и не рассчитывал на большую пользу от этого сближения. Образованные люди у нас слишком офранцузились и онемечились, чтобы понимать все русское, и какие-нибудь, ультрамонтаны ближе к ним, чем старообрядцы. О Франции у нас знают лучше, чем о России. Петровская реформа так отрезала нас всех от народа, что мы разошлись с ним не только понятиями, но даже образом жизни, столом, языком, платьем, интересами. Английский лорд или французский барон далеко не так чужды своему простонародью, как наши образованные люди; жизнь первых — усовершенствование народной, а наше — подражание заграничной.

Приведу ** одно обстоятельство, в сущности, пустое, но, вот уже полтора года с лишком и правительство ставящее в вечно неприятное положение и народ оскорбляющее до глубины души, — я говорю о бороде. Петр обрил солдат и чиновников, презирая народные предубеждения, и обязательное бритье так и осталось у нас по привычке, как раз введенный порядок, о существовании которого даже и забыли, потому что он в обычай вошел. Чтобы сделать нас по наружности похожими на европейцев, запрещено у нас солдатам в отставке даже запускать волосы и бороду. Затем, если не ошибаюсь, для солдат посты отменяются почему-то. Что же из этого выходит? Борода у нас — народный обычай, которому огромная масса простонародья, миллионов с десятков, придает даже догматическое значение, а про посты и говорить нечего. Иной сектант, да даже и не сектант, душой бы рад служить государю, уме-

* На первой странице помета карандашом: «нужное. Препроводить в комиссию, 28 июня».

** Зачеркнуто: один пример.

реть готов за него, но совесть претит ему воздать кесарю то, что следует богу. И вот до сих пор из-за этих пустяков при каждом наборе тысячи бегут в Молдавию и в Турцию. Я со многими из них толковал и от многих слышал, что, не трогая правительство бороды, они завтра бы доброй волей пошли в солдаты, потому что все же лучше быть солдатом, чем мыкаться на чужой стороне. Много можно бы привести таких примеров недоразумения между образованными людьми и просто-народьем... А на этом недоразумении правительство очень выиграло. Сумей наша партия сойтись с сектантами, умей говорить с ними, не погнушайся изучить их догматы, да и вообще богословие, пойми значение их привязанности к обрядам — и было бы дело в шляпе. Но мы были пустозвоны, верхохваты, мы изучали только мировые вопросы да революционные теории, мы спорили о преимуществах и недостатках разных конституций, затевали создать храм свободы, не позаботясь ознакомиться с материалом, из которого приходилось строить этот храм. И вышла ерунда, — рабочих было пропасть, но ни один не был знаком с материалом, да и плана-то общего не было, и пошло вавилонское столпотворение, своя своих не познаша.

Понимал я и предчувствовал всю эту неурядицу, толковал об ней Герцену и Огареву, указывал им на нашу несостоятельность, но они стояли на том, что они публицисты, а не агитаторы и что их дело только пропаганду вести, а никак не движение. Что было делать? Сидеть у моря и ждать погоды. Я и сидел и ждал, с отчаянием следя, как время уходит и как наш авторитет падает. Наконец я и в самом деле дождался, — дождался, что раскольники завели с ними сношения.

*

Как-то вечером, в ноябре 1861 г., я был у Герцена. Посторонних не было. Я стоял у камина в зале и грелся. Ко мне подошел Тхоржевский.

— А у меня для вас новость! Раскольник какой-то есть в Лондоне...

— Вот! — и я вздрогнул от радости.

— Как же! Сегодня заходил ко мне, молодой еще человек, говорил, что хочет познакомиться с Герценом и с вами, только жалуется, что жизнь здесь дорога. Он остановился в одном отеле на Picadilly. Я хотел ему продать ваш «Сборник», «Библию», «Стоглав», только он не купил, а купил «Потаенную литературу»...⁷⁴

— Эх вас, Тхоржевский, дернуло! Ведь это только библиофилам следует показывать...

— А мне что? Она везде продается, — не у меня, так у другого купит.

— Да почему же вы знаете, что он раскольник?

— Сам он сказал. Он — липован, купец из Молдавии, молодой еще человек...

На другой день я отправился разыскивать Петрова*, — так звали липована, — и нашел его в указанном отеле. Его вызвали. Это был человек лет тридцати, невысокого роста, рябоватый, худой, с реденькой русской бородкой. Одет он был по-европейски и вообще походил на приказчика со Щукина или из Перянной линии. Лицо его было бледно и даже зеленоватое.

— Вы господин Петров?

— Я, — отвечал он как-то пугливо, точно ожидая беды или ареста.

* Епископ коломенский Пафнутий, белокриницкого поставления. В 1865 г. он обратился в единоверие и находится теперь в Москве, где обращает старообрядцев⁷⁵ [Примечание Кельсиева.]

— Я пришел познакомиться с вами. Тхоржевский мне говорил, что вы из Молдавии, а в Молдавии живет много русских старообрядцев. Не будете ли вы добры сообщить мне о них кой-какие сведения? Я — Кельсиев, издатель «Сборника правительственных сведений о раскольниках».

— А! знаю! — сказал он так же угрюмо и неприветливо. — Только мне теперь времени нет (его, кажется, обедать звали, или он ехал куда; не помню).

— Когда же можно вас видеть? Долго ли вы пробудете здесь?

— Дня с три. Здесь нельзя оставаться, цены страшные...

— Тогда вот что, приезжайте ко мне, и я вам отыщу на сколько хотите времени и дешевую и удобную квартиру. Вас здесь обирают, как всех иностранцев. Когда вы у меня будете? Сегодня, может быть?

— Могу.

— И прекрасно. Я вас жду часа в два. Вот мой адрес.

Тут же подвернулся один смоленский поляк Гилевич, упражнявшийся в факторстве, в нищенстве, в мошенничестве и еще не знаю в чем, и обещался проводить Петрова ко мне. В назначенное время мой липован явился, просидел у меня часа три и оказался очень милым, живым и веселым человеком, а вдобавок и замечательно умным, да таким умным, каким дай бог всякому быть. С трех слов понимал он какой угодно вопрос, отвечал на него всегда подробно и основательно, разбирая его со всех сторон, что называется, по косточкам. Одна особенность его ума меня поражала. Он никогда не отвечал прямо, что бы вы у него ни спросили, а подходил к вопросу издали, как будто говоря о чем-то совсем другом, и только через полчаса вы замечали, что он именно то изъясняет вам, что вы хотели, и что он вам выставил все pro и contra дела, сделал им оценку и вывел из них заключение. Какую же силу ума [sic] и какие огромные диалектические способности у этого человека, не получившего никакого образования, а развившегося единственно на чтении церковных книг!!!

Мы мигом подружились и искренно привязались друг к другу. По его словам, он был купец, торговал сначала красным товаром, потом бросил торговлю, спасаясь в Славском скиту (в Добрудже), где провел несколько лет в молчаливности; потом объездил все центры поповщины, был секретарем у Павла Белокриницкого⁷⁶, наконец, посвятил себя исключительно интересам старообрядческой церкви, для которой и трудится непрерывно, как богослов и начетчик. За монаха или за духовное лицо он себя не признавал, хотя мне всегда казалось, что он, по крайней мере, архимандрит.

Понятно, что такого дорогого гостя, который мог мне сообщить бездну нового, я не хотел выпустить от себя, да и он, кстати, не мог выехать из Лондона, потому что его сильно пообщидали дорогой и в отеле. Я предложил ему взять в нашем же доме небольшую комнатку в верхнем этаже, подле моего кабинета. Она ему понравилась, тотчас же я сторговался с хозяйкой в цене*. Поликарп Петрович поселился со мной, и начался мой праздник, длившийся целых шесть недель.

Читать или писать уже не было возможности. Чуть я вставал, Поликарп входил в мой кабинет и начинались бесконечные беседы о догматике старообрядчества, о духе раздорнических и беспоповных сект, о введении и распространении белокриницкой иерархии, о затруднениях, встречаемых ею доселе, о непривычности ее деятелей к делам, о надеждах на будущее. И все это он рассказывал так толково, так увлека-

* Зачеркнуто: и на другой день.

тельно и образно, что всякому, слушающему его, казалось, будто сам присутствует при описываемых событиях. Образы деятелей, как живые, возникали перед глазами, и впоследствии, когда мне лично пришлось перезнакомиться с ними, я не раз был поражен верностью характеристики их, данной мне в Лондоне Поликарпом.

Память его — даже невероятно, чтобы человек мог иметь такую память. Он так изучил отцов церкви, что знал, на какой странице, на какой строке какого издания находится данный текст. В полемическом богословии он, разумеется, был непобедим при таких способностях, и не раз, рассказывая он, его противники — беспоповцы, нетовцы и раздорники — отреклись от него, полагая, что сам сатана явился разбивать их заветные верования, — так поразительна его начитанность и знакомство с писанием, давшая ему возможность обращаться ты с я ч а м и к белокрыницкому священству разных, не признававших его, старообрядцев.

И изувером он не был, да и не мог быть при таком * уме. Он не боялся табак брать в руки, не боялся сложить правой рукой трехперстное знамение, даже сказал при переезде ко мне, что если приготовление для него постного неудобно или затруднительно для хозяйки дома, то он будет и скоромное есть — «по нужде и закону пременение бывает», «предлагаемое да яждьте». Вообще, эта личность могла дать самое выгодное понятие о старообрядчестве; в Поликарпе не было ни нетерпимости, ни каких-либо резкостей или особенностей, отличавших его от обыкновенного благочестивого православного купца, — разве что он не ел и не пил ничего, не осенив себя крестным знамением, по старинному русскому обычаю.

Немедленно свозить его к Герцену было нельзя. Во-первых, Бакунин ** приехал, помнится, 15 декабря⁷⁷, *** как-то вскоре по переселении ко мне Поликарпа, и в ожидании его в доме Герцена была поэтому суматоха: нужно было приискать Бакунину квартиру (вместе с ним жить Герцену не хотелось), дать ему средства существования; к работе какой-нибудь Бакунин неспособен, писать не боек, да что и пишет, то выходит крайне неладно: послание его к полякам, так обидевшее их проектом хлопской Польши⁷⁸, раз десять переделывалось по настоянию Герцена, — и пришлось положить ему пенсию... Чуть ли не по пяти фунтов стерлингов (около тридцати рублей серебром) в неделю определял ему Герцен из своих собственных средств, — так велика его привязанность ко всем старым приятелям и **** к деятелям свободы! Во-вторых, нужно было выбрать свободное время для свидания их с таким замечательным человеком, как Поликарп, чтобы посторонних не было, чтобы кто не помешал. Словом, прошло довольно долгое время, пока устроилось это свидание, — дней с пятью.

Разумеется, что я уже успел высказать Поликарпу мою заветную мысль о союзе нашем с сектантами, об устройстве у нас печатания их сочинений, об организации в одно целое всех сект, с целью дружного наступа на правительство. Революционного я ему ничего не проповедывал, потому что и сам уже давно понял, что у нас революция невозможна, а возможен бунт на маневр пугачевщины, который разрешился бы не только вырезкой всего немужичьего, но даже уничтожением школ, сожжением библиотек, который отдал бы нас в руки иностранцев, как в смутное время самозванцев, и, наконец, посадил бы

* Зачеркнуто: логическом.

** Зачеркнуто: только что.

*** Зачеркнуто: на другой день.

**** Зачеркнуто: сочувствие.

на трон какого-нибудь проходимца, не лучше тушинских царьков*. Я бил именно на необходимость спасения России от грозящей ей неурядицы организацией правильной оппозиции, которая, вынудив у правительства разумные уступки, сама бы слилась с ним и стала бы его поддержкой. В сущности, оно так и вышло впоследствии, хотя и без моего содействия, — правительство последовало указаниям общественного мнения и создало умеренную партию, которая сама подавила революционную. Поликарп вполне соглашался с моим взглядом, хотя и он, как все наши сектанты, плохо понимал общественные дела. Умы сектантов, жизнь их, их интересы чересчур стеснены насущными потребностями их согласий; далее они ничего не видят и ни за чем не следят. Россию они все страстно любят, как и нынешнего царя-освободителя, но головы их так заняты их собственными дразгами и нуждами, что им некогда заботиться о государственных вопросах, — тяжущиеся ни о чем не думают и не говорят, кроме как о своих тяжбах... Но, как бы то ни было, Поликарп не мог не сочувствовать моему взгляду, потому что и он знал о брожении умов в России. Он сам говорил мне, что старообрядцы хорошо знают о существовании «Колокола», почитывают его и, в ссорах между собой, грозясь** отделать друг друга в его столбцах. Он понял также выгоду их от союза с нами, — мы дали бы им вес и политическое значение, по крайней мере, prestige, которого у них до тех пор не было. Наконец, он был вполне убежден, что полная свобода книгопечатания, как наша лондонская, много помогла бы белокрыницкой церкви расширяться на счет беспоповцев и раздорников. Особенно хотелось ему, чтобы беспоповская литература вышла на свет. «Беспоповцы упрямятся, — говорил он, — а сами скрывают, на чем они держатся. Книг у них много, да они их не показывают, зная, что супротив истины им не устоять. Да! Так вот, это если б их писания вывести, значит, на свежую воду, мы и знали бы, на чем они основание свое полагают, и могли бы обличать их с успехом. Да».

Прибавлю, что у него душа также больна, что «просвещенная Европа ничего не знает о нашей церкви, точно нас и на свете нет, точно мы и не вера и не церкви! Да! А у нас одних все по уставу, как святые отцы на семи вселенских соборах положили; у нас все, как было при благоверных царях и благочестивых патриархах, а нас не знают. Оттого прочие веры всякие, не ведаючи, где искать света истины, и блуждают во тьме. Так нам, выходит, пора теперь выступить со светильником на позорище народов и обличить языки в их заблуждениях. Вот тогда*** истинная церковь и совершит свое назначение, — в России нас во тьме держат, а мы бы прославили Россию».

К этому же, Поликарп и не скрывал от меня, что главною целью его путешествия было познакомиться с нами и извлечь из нас какую-нибудь пользу для старообрядчества.

Свидание устроилось. Вечером — Герцен обыкновенно работает до четырех, а в пять встает из-за обеда — мы явились с Поликарпом. Поликарп и их обворожил своим умом и своим умением держать себя. В самом деле, казалось, он век свой выжил между литераторами и светскими людьми, — так просто и ненапрянуто себя он вел, так ни по чему нельзя было заметить, что он попал в новый ему мир. Ясно и сдержанно отвечал он на все вопросы, жаловался на несправедливость правительства, которое и терпит и не терпит их церковь, что их ставит в вечно фальшивое положение относительно мелких властей, рассказал пропасть

* Зачеркнуто: Напротив того.

** Зачеркнуто: поместить.

*** Зачеркнуто: наша.

фактов в подтверждение своих слов и опять заявил, что сами старообрядцы ищут познакомиться с нами, потому что им не к кому более прибегнуть.

— Мы такие же православные, как и великороссийская церковь, — говорил он. — Вся разница наша только в том, что мы держимся только старого обряда и старых книг, и даже я сам скажу, держимся не по разуму упорно, да, делать нечего, народ у нас такой жестокий стал в эти двести лет, что нас гонят; надо ему уступать, не вводить в соблазн. Сказано: «аше кто от вас соблазнит единого от малых сих, уне есть ему да обеситя на выю его жернов осельский»... Вот и остерегаемся испугать невежд, чтобы в беспоповские сети не попали. А великороссийская церковь признает переделанный обряд и нашего не хулит, потому что у единоверцев один обряд с нами, да только ей хочется нас под свое начало подвести. А нам этого и нельзя, оттого, что не можем признать ни ее обряда, ни того, чтоб один епископ, или священник, или диакон мог на два разных манера священная* действовать. Нас за это и жмут, а беспоповцы радуются и смущают народ своим ехидным учением. Да и мы — православные, и мы — первые враги всяких сект. Только мирская-то власть об этом не знает.

Тут он рассказал пропасть вещей о придирах к ним консисторий, с целью сорвать с них, что можно, о духовных увещаниях, об отдаче их на покаяние, об оскорбившем их аресте двух их епископов, Аркадия и Олимпия⁷⁹ (во время последней войны, в Тульче), который наделал столько шума и возбудил такое неудовольствие против правительства. Рассказал о закрытии их моленных, о затруднительности совершать требы, о необходимости хитрить, обманывать и подкупать начальство, чтобы оно не лишало людей возможности исполнять предписания и установления церкви. О политике и об социальных вопросах говорилось мало, — сразу видно было, что эти стороны русской жизни ему мало знакомы и вовсе его не интересуют. О типографии он сказал, что посоветуется с своими московскими друзьями, но необходимость денежного пожертвования их на это заставляла его сильно задумываться, хотя он этого и не высказывал, равно как и не показывал удивления, что у нас нет фондов.

Нужно ли говорить, что Герцен и Огарев не могли не удивляться его уму и такту и что он произвел на них такое же выгодное впечатление, как и на меня.

Мартьянов тоже познакомился с ним, и знакомство это оставило в душе моей тяжелое впечатление, — мне было жалко Мартьянова. Он, как *enfant du peuple*, думал, что он лучше всех раскусит загадочного Поликарпа и что Поликарп не может не разделять его воззрений. Заговорил он с ним что-то о вере, ссылаясь на Иисуса, сына Сирахова, и понес такую мистическую околесицу, которой ни я, ни Поликарп не поняли. Как теперь вижу их, состояющих в моем кабинете. Мартьянов с невероятными усилиями доказывает что-то о душе, о духе, о назначении человека, а Поликарп обстоятельно излагает ему, какой святой отец, в таком-то издании, на таком-то листе, так-то толкует этот текст. Путались они, путались, пока чай не явился на выручку, как *deus ex machina*, и я не поспешил переменить тему, от слушания которой у меня даже голова начинала трещать, так замудрствовался бедный Мартьянов. Разговор повернул на политику, — это все-таки было легче, чем метафизика и мистицизм, — и я задел Мартьянова за его теорию о царе и народе: мне хотелось знать, как взглянет на нее Поликарп. Поликарп отозвался с большим сочувствием к идее царя, который делает все для

* Так в подлиннике.

народа, о чем народ просит, который ведет его по пути прогресса и которого народ почти боготворит, как своего отца, представителя, знамя, как выражение самого себя. Но с тем, что народом следует признавать только мужика и отчасти купца, а что все остальное подлежит избиению, он не согласился. Это его возмутило и привело в негодование: он чуть-чуть не рассердился и привел Мартьянову множество текстов и примеров из священной истории в пользу высших сословий. Мартьянов бледнел, кусал губы, становился язвителен и не мог простить мне и одному весьма юному правоведу, присутствовавшему при этой сцене, что он оборвался при первом же столкновении с этим народом, органом которого он себя выдавал. Правовед же, уже и тогда выздоравливавший от революционной горячки, не мог воздержаться, чтобы не подтрунивать над бедняком, не понимая по своей юности его страшной внутренней драмы. Много мне было хлопот в этот вечер, чтоб унять моих расходившихся гостей и не дать им посориться.

Такие сцены повторялись не раз, а между тем дружба моя с Поликарпом росла и росла, хотя ни он мне, ни я ему — мы друг другу не сделали ни одной уступки в своих убеждениях. Я не скрывал от него, что я — закоренелый атеист, но отказался наотрез объяснить причины моего неверия, сказав ему, что он не в силах будет бороться со мною, потому что незнаком ни с теми науками, ни с теми системами, на которых я основываюсь, и, стало-быть, ему придется беззащитно отдаться мне в руки, а пользоваться своими преимуществами над беззащитным противником было бы нечестно. Довольно того, что я ему открыто говорю, что не верю, и он должен оценить мое уважение к нему, что я не хочу его обманывать в таком важном вопросе. А * еще, почему я не хотел изложить ему системы атеизма, — это была боязнь погубить его. Образованный человек, отрицавший бога, не опасен: нравственность его основывается не на страхе ада и не на любви к богу, как у простолюдина, которому довольно начать только сомневаться, довольно слегка вольнодумствовать, чтоб разрешить себе все. Я видел множество таких печальных примеров и потому всегда осторожно обхожусь с народными верованиями. И были мы хорошие и крепкие друзья с Поликарпом, и толковали мы с ним о догматах. Он с большою охотой отдавал мне их на суд, как человеку беспристрастному, и сам указывал на многие несостоятельности старообрядчества (например, на перемазывание), которые, по его словам, терпелись их церковью единственно, чтоб не раздражить изуверов и не испугать беспоповцев.

— Хороший ты человек, Василий Иванович, — вырывалось у него по временам, после задушевной беседы, — и сказал бы я тебе одну вещь, да не приходится...

Фраза эта врезалась у меня в память, — он ее раза четыре повторил в шесть недель, что он у меня выжил, — но я не считал деликатным выманивать у него его тайну: очевидно, его тяготила неоткровенность со мною, кто он именно, а нельзя было не догадываться, что такой умный и начитанный человек не может не разыгрывать огромной роли между своими. Другое, что лежало у него на душе, — как я после узнал, — его московские неприятности, дразни между его товарищами, происки богачей, да и чуть ли любовь сюда не замешалась, а любовь следовало ему подавить...

Бакунин явился посмотреть любопытного старообрядца, которого я, признаться, прятал, чтоб избежать разгласки, а тем более из боязни, что он, посмотрев на пустозвонство наших приезжих, вынесет чрезвычай-

* Зачеркнуто: главное.

но дурное мнение о нашей партии. Сколько помню, я не мог утаить его только от князя Голицына, который, впрочем, мало им интересовался, да от живших тогда в Лондоне Альбертини⁸⁰ и помянутого выше восемнадцатилетнего правоведа Ковальского [?] *, изучавшего английское право⁸¹. Ковальский приехал в Лондон очень красным, но — мальчик не глупый, наблюдательный и остроумный — он чрезвычайно скоро подметил нашу несостоятельность, а сближение с Бакуниным окончательно опошлило в его глазах все революционное. Бакунин на этот счет золотой человек, — он хоть кого вылечит от охоты потрясать престолы. Если б его пустить в кружок самых рьяных нигилистов, в какой-нибудь комический «Ад» или в «Организацию»⁸², страдавшую отсутствием всякой организации, он бы в месяц довел их до ненависти к нигилизму. Альбертини — личность бесцветная: у него убеждения меняются, смотря по тому, с кем он говорил последний раз. Придет, бывало, ко мне революционером, выйдет от меня реформатором; зайдет к Мартьянову и убедится во вреде высших ** сословий; а ляжет спать легитимистом, потолковав с Лугининым, приверженцем идей, которые теперь проповедует «Весть» ***⁸³. Альбертини, если его взять в руки и никуда не пускать, чтоб **** его кто не сбил с толку, может быть чрезвычайно полезным публицистом. Пишет бойко, ясно и, главное, чрезвычайно проворно. Ему только намекнуть, — он сам разовьет мысль и разовьет отлично.

Явился Бакунин. Он и прежде видался с Поликарпом у Герцена, но у Герцена, у принципа ала, державшего его на узде, ему нельзя было так развернуться, как у меня, и показать все свои таланты. Помню, что он поднялся ко мне в кабинет, распевая во всю глотку какой-то тропарь, — это было *captatio benevolentiae* у старообрядца. Затем, он стал как-то приторно-дружески просить Поликарпа разъяснить ему в назидаение, какая разница между старообрядчеством и православием, намекая, что и он сам не прочь сделаться старообрядцем, буде Поликарп убедит его в правоте старой веры. Не понять этой грубой ловушки Поликарп не мог, но, человек крайне деликатный, он пустился рассказывать ему обстоятельно о древнерусском обряде⁸⁴, о реформах Никона. Бакунин ахал, удивлялся сведениям Поликарпа, поддакивал ему, приходил в негодование на никоновские нововведения и, наконец, сам утомленный этой ненужной и позорной комедией, стал просить Поликарпа давать ему уроки русской истории. Я даже фразу его запомнил: «Да у вас, батюшка Поликарп Петрович, я буду брать уроки русской истории! Вы знаете такие вещи, каких и в книгах не найдешь!».

— Нет, — отвечал вечно спокойный и обстоятельный Поликарп, — это напечатано в «Истории о древних стригольниках и новых раскольниках» Иоанна Охтенского, на страницах таких-то первой части, потом в книжке господина Берга «Царствование Алексея Михайловича»⁸⁴, на странице такой-то, и еще в «Истории церкви» Павла Белокриницкого... — и т. д., и т. д., с перечислением всех источников, по его обыкновению.

— «Непременно прочту. У вас, Кельсиев, наверно, есть все эти книги, ведь вы много над этим копаетесь, дайте мне; надо, в самом деле, приняться за изучение этого вопроса, — ведь это дело не пустяковое, о спасении души идет, этим шутить нельзя!..» — не унимается Бакунин

* Так в подлиннике.

** Зачеркнуто: классов.

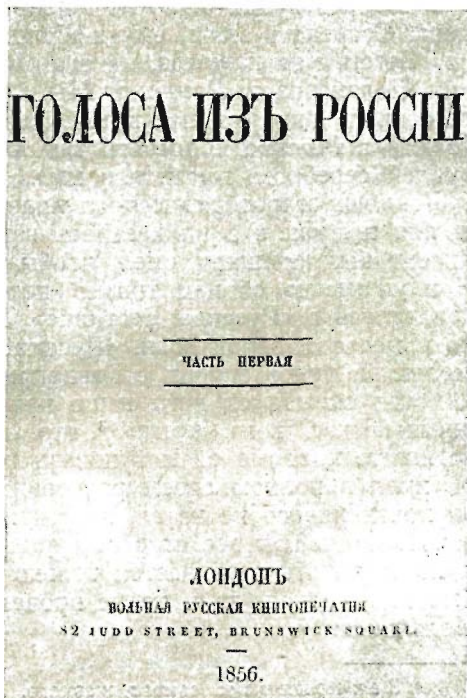
*** Зачеркнуто: и полным консерватором.

**** Зачеркнуто: он не сбился.

⁸⁵ Зачеркнуто: до времени Никона.

и тут же, думая, что уже расположил к себе Поликарпа, начал так же топорно рисовать ему какую-то картину восстания, путал сюда и Пугачева, и Стеньку, и стрельцов, и Никиту Пустосвята и еще не знаю чего, сделал какой-то винегрет, а из винегрета вышло торжество старообрядчества над православием, так что и государь сделался старообрядцем, и орденские кресты приняли осьмиконечную форму и... ну, и вышло что-то совсем невероятное и неожиданное — какие-то туманы непроглядные.

Я краснел, Поликарп хлопал глазами, как в чаду, маленький Ковальский посмеивался в кулак, прячась за книгой, — словом, выходило скверно, а управы на Бакунина не было: я был слишком моложе его, чтобы его останавливать, да и в материальном отношении он от меня не зависел, как от Герцена. Наконец он убрался, взяв с Поликарпа слово притти к нему на чай. Как ни было это мне не по сердцу, а пришлось отправляться, и в назначенный день мы отправились. Небольшая квартирка его уже полным была полна гостей: тут был и Мартынов, и Ковальский, и еще, кажется, кто-то, чуть ли не Альбертини. Накурено было донельзя, разговор шел о политике, о народе, о революции, о монархии и о республике; все говорили, никто не слушал, спорили, горячились, проводили с задору самые крайние мнения. Поликарп только руками разводил и как-то удивленно восклицал по временам: «Да здесь судьбы мира решаются!», «Да! Каково! Судьбы мира решаются!», «Судьбы мира!» Ему в первый раз в жизни случилось тогда присутствовать при подобной беседе, и он никак не мог отличить фраз от дела. Он привык спорить о догматах, но споры о догматах у людей верующих производятся чинно, без шуток, без острот, без поминания на каждом слове чорта, а тут вдруг его непривычные уши услышали самое бесцеремонное трактование политических вопросов, с которыми обходились запросто. Вдобавок, горячность спора из-за теорий и принципов новичков и простонародье сплошь и рядом пугает, —



им все кажется, что спорящие перессорятся; они вовсе не понимают, что спор ведется вовсе не серьезно, а как препровождение времени, и что решения, к которым пришли спорящие, не обязывают их ни к чему; что от тоста революции, от* проекта баррикады построить и гильотину завести до дела ее больше чем далеко. Эти споры — отдушники, предохранительные клапаны; накричатся люди, напетушатся, отругаются всласть, — ну, и легче им станет на неделю, на две, благо душу отвели и благо утомились. А там опять накопится всякой ерунды в голове, опять «соберутся, поговорят и — разойдутся», как сказал Грибоедов. Кто много наблюдал за такими периодическими словоизвержениями приятельских кружков, тот хорошо знает, какую оценку следует давать этим буйным возгласам, дерзким планам и отчаянным решениям, которые на них высказываются, и хорошо тоже знает, какие мокрые курицы на деле и в практической жизни эти террористы в четырех стенах. А было время, и весьма недавно, когда либералы 1825 и 1849 гг. каторгой платились за фразы, срывавшиеся у них в таких приятельских словопрениях.

Поликарп был крайне смущен. Ему казалось, что он присутствовал чуть не в конvente, что приговор миру и порядкам его произнесен был не на шутку, и удивлялся моему равнодушию, когда мы возвращались домой. Дня два я не мог убедить его, что тут нет ничего серьезного, а что люди упражнялись в споре только от скуки и чтоб проверить свои взгляды, что никто из них и не думает даже об осуществлении высказанных желаний и что еслиб кто и затеял это, то средств к тому не найдет. Поликарп только удивлялся. Наконец я нашел *argumentum ad hominem*, который его успокоил. Я сравнил Бакунина и его гостей с теми старообрядцами, которые, не понимая писания, кричат, спорят, откапывают небывалые ереси и мутят народ, сами не зная ничего и ничего не только не собираясь, но даже и в силах не будучи устроить. «Вот и между нами тоже есть раздорники, горланы, которые на нас тень бросают. Нас они в грязь тянут своей глупостью, а сами людей смешат и в соблазн вводят». Это он понял и тут же объявил, что, кроме Герцена, Огарева и меня, ему в Лондоне никто не понравился.

Затем, мне кажется, нечего более прибавить к рассказу о пребывании Поликарпа в Лондоне. Мы с ним ничего не решили насчет типографии, потому что ему нужно было переговорить об этом с его приятелями в Москве и достать там капитал на подъем дела (шесть тысяч рублей серебром, высчитали мы). Толковали мы, правда, о заведении в Лондоне старообрядческого подворья, с перенесением туда их митрополии, но, как это ни казалось нам обоим и полезным и выгодным, проект был слишком смел, чтобы мы сами считали его исполнимым. Я и упоминаю об нем только потому, что об нем последнее время говорилось в «Русском Вестнике». Это была мечта, но никак не больше, хоть мечта и заманчивая. «Русский Вестник» рассказывает еще, будто Поликарп резко спорил с Герценом, — этого я что-то не помню; а что я хотел скрыть от него наше направление, не давая ему «Полярной Звезды» и «С того берега»⁸⁵, это значит, что я давал Поликарпу только те книги, которые он мог понять по его образованию. Библиотеку мою он имел в полном своем распоряжении, мог читать все, что хотел, но он почти ничего не читал, ничем не интересуясь, кроме богословия. Да и читает он, как все старообрядцы, очень медленно, — искусство легко и скоро читать развивается только на романах, а роман он всего один, кажется, прочел, да и то не прочел, а выслушал от меня, — «Гришу» Мельникова⁸⁶.

* Зачеркнуто: самого жаркого.

Наконец пришли ему деньги из Москвы. Вексель был обернут в клочок бумаги, на которой стояли цифры:

80	200	2
100	20	40
10	70	70
5	5	200
7	8	20
7		2
1		400
8		
300		
5		

— Понимаете этот счет? — спросил он меня.

Я подумал, подумал и догадался, что эти цифры должны означать церковные буквы. Выходило: «Приезжайте скорей в Москву». Поликарп стал собираться и прощаться.

Упустить его значило потерять все надежды. Оставить дело на его одного я боялся: кто мне отвечал, что он * не передумает, что проект наш найдет в Москве сочувствие? Я объявил ему, что я сам поеду в Москву подвинуть дело; он сказал, что это, пожалуй, будет не худо. Затем, взяв с него слово писать с дороги и из Москвы, я проводил его на железную дорогу, мы обнялись, и поезд двинулся. С тех пор я его не видал, а расстались мы искренними друзьями, и я был в полной уверенности, что у нас есть в России ловкий и надежный друг и пособник. Таково же было и убеждение Герцена и Огарева, при которых я говорил с Поликарпом о моей предполагаемой поездке. Бывал он у них не часто: во-первых, я не хотел, чтобы пошли толки об его присутствии в Лондоне; второе, не хотел ставить его в неловкое положение человека, слушающего и не понимающего, что говорят; а третье, я очень боялся, что какой-нибудь красный, каких тогда развелось уж чересчур много, нападет на него и заспорит о вере. Проще сказать, я инстинктивно понимал, что у нас неладно, но усердие и фантазия заглушали голос рассудка еще почти целых два года и толкали меня на ** отчаянные предприятия.

Поездка в Россию сделалась моею любимой мечтою, отказаться от нее *** было выше моих сил. Тоска по родине меня душила, незнание с бытом народа и с его истинными желаниями меня оскорбляло. Я очень хорошо перезнакомился в Лондоне с представителями либеральной партии, но общее заключение мое об них было не в их пользу. Ни от них, ни от Герцена с Огаревым я никак не мог добиться, чего именно нужно России и каким путем следует **** достичь этого нужного. Слово «свобода» слишком широко, чтобы у него было определенное значение, и поэтому оно, в сущности, не имеет решительно никакого смысла. Крестьянский и финансовые вопросы я плохо понимал, и до сих пор они как-то мало меня интересуют, но и в них было большое разногласие между Огаревым и приезжими. Свобода слова, гласный суд, уничтожение телесного наказания, веротерпимость, естественное разделение губерний на исторических и этнографических основаниях были мне доступны; а главное, что меня побуждало ехать, это — желание своими глазами убедиться в наших силах и в возможности союза с нами сектантов; с тем вместе, слыша постоянно от молодежи, что подготовка революции у нас идет такими быстрыми шагами, что народ,

* Зачеркнуто: сам.

** Зачеркнуто: пропасть.

*** Зачеркнуто: как месяц тому назад от возвращения.

**** Зачеркнуто: добиться.

бессомненно, на нашей стороне, я решился или предотвратить взрыв, или, если уж поздно, то направить его как-нибудь потолковее. Вообще говоря, во мне засело страстное желание посмотреть на Россию.

Герцен меня не отговаривал, поняв, что я уже не в силах выносить долее мой искуc, но ехать мне все-таки нельзя было, за неимением ни паспорта ни денег. Паспорт, впрочем, скоро явился: еще с год назад я просил одного нахичеванского купца-армянина, имевшего какие-то дела в Лондоне, достать мне паспорт при помощи его цареградских соотечественников. Просил я его об этом мимоходом, на всякий случай, и даже забыл, что он обещался мне устроить это дело, как вдруг, несколько дней спустя по отъезде Поликарпа, я получил с почты пакет и в нем паспорт на имя цареградского уроженца *sieur Vasili Jani*, Яни — греческое сокращение моего отчества Иванов. Осталось денег достать, а у меня, как на грех, тогда рублей более ста не было. Просить у приезжих духу нехватало. Скрепя сердце, обратился я к Бакунину, великому мастеру собирать революционные контрибуции, и дня через три Бакунин объявил мне, что он обделал дело: триста рублей серебром будут переданы Ничипоренке⁸⁷ в Петербург. Говорил мне Бакунин, от кого он достал эту сумму, и видел я этого господина, даже благодарил его во имя «дела», но, признаться, на радостях тут же забыл его имя, нерусское и очень мудреное. Впрочем, оно должно быть в показаниях Ничипоренки⁸⁸. Затем, я отправился в турецкое посольство просить переменить мой паспорт, данный только в Англию, но годный для разъездов по целой Европе. Мне написали на нем: «*Von pour les continents*», — этого было больше чем нужно. В нидерландском консульстве я визировал его на Голландию, думая в Амстердаме визировать на Россию, так как я боялся иметь дело с нашим консульством в Лондоне.

Из Лондона я отправился в Роттердам, из Роттердама в Амстердам. В Амстердаме русский консул сказал мне, что он не имеет права визировать паспорт и что мне за визой следует ехать в Гаагу. Гаага была мне не по дороге, я визировал у прусского консула и взял билет до Берлина, где в русском консульстве мне визировали без всяких распросов и остановок. Я поехал далее и, помнится, 2 марта (1862 г.) прибыл в Вержболово. В Вержболове тоже никто не обратил на меня внимания, но, как у меня в саке нашлись две французские книжки о Нидерландах, то их отобрали и хотели препроводить в цензурный комитет. Во избежание хлопот, я знаками заявил мое желание досмотрщику, чтобы он разорвал их, что и было немедленно исполнено. По-русски я не говорил в Вержболове, выдавая себя за иностранца, а именно за арнаута, — я был уверен, что никто не поймает меня в незнании этого языка. Из Вержболова мы двинулись в Ковно, где и остановились, так как сообщение с Динабургом еще не было открыто. Покуда всевозможные факторы предлагали нам свои услуги и мы дожидались дилижанса, ко мне подошел один англичанин и предложил, не хочу ли я доехать с ним до Динабурга на курьерских за половинные прогоны. Я, разумеется, согласился. Это был курьер *Foreign office**, а меня он выбрал потому, что слышал, как я с одним попутчиком разговаривал по-английски. На следующий вечер мы были уже в Динабурге, и я потерял его из виду на станции железной дороги, где взял билет третьего класса, чтобы иметь случай потолковать с простым народом. Вагон был почти весь занят этапными солдатами, возвращавшимися в Петербург из Польши; с ними было несколько писарей. О поляках они отзывались если не с сочувствием, то с состраданием, не одобряли поведения наших войск в царстве, которые грабили на улицах Варшавы прохожих, под предло-

* Министерство иностранных дел.

гом срывания запрещенных уборов, — это я своими ушами слышал. Но тут же они заметили мне, что мужики чрезвычайно были довольны демонстрациями, потому что панов за это арестовали. «Когда мы вели арестантов, — говорил мне солдат, — то мужики с ума сходили от радости и только одно и толковали: «Дай боже, чтоб и наш пан во что-нибудь замешался».

Витебский еврей, очень почтенный седой старик, пришел в негодование, когда я сказал ему, что в Европе ходит слух, будто евреи держат сторону поляков.

— Зачем нам поляки? Зачем нам Польша? — сердился он. — Русский исправник меня грабит, становой меня грабит, каждый писарь меня грабит, но у меня голова цела и у жены моей голова цела, и у сына моя * голова цела и у дочери моей голова цела. — И он в подтверждение своих слов стучал себе пальцами в голову на весь вагон. — А будет Польша, станут жидов вешать, жидовок вешать, детей станут вешать. Зачем нам Польша? Нам не надо Польши! Мы не хотим Польши!

Я ему заметил об участии евреев в демонстрациях, он расхохотался:

— И вы этого не понимаете?

— Не понимаю...

— И не понимаете? Ну, я же вам скажу, как это было. Пришел наш раввин и первые люди, богатые купцы, к князю Горчакову⁸⁹. Пришли и говорят: «Позвольте, ваше сиятельство, бунтовать нам с поляками». А князь Горчаков говорит: «Зачем, говорит, вам бунтовать? Ну, зачем же вам бунтовать?» А они говорят: «Позвольте нам бунтовать, ваше сиятельство, нас поляки зовут бунтовать, ну, если мы не пойдем бунтовать с поляками, они нас бить будут и жен наших, и детей наших, и внуков наших; так позвольте же нам, ваше сиятельство, бунтовать. Мы побунтуем, а вреда правительству этим не сделаем, всегда останемся за правительством». — «Ну, бунтуйте!» — сказал князь Горчаков. Вот они теперь и бунтуют, а поляков все-таки не держатся...

Передаю этот рассказ почти слово в слово, так он хорош и так ясно очертил мне тогда взаимные отношения евреев и поляков во время демонстраций.

В Петербурге я думал остановиться не больше как дня на два, чтоб взять от Ничипоренки деньги и допросить его, нет ли в Петербурге замечательных раскольников, с которыми стоило бы сойтись, да сверх того, что делают петербургские либералы. Адреса его я не знал, но знал, что его можно найти в редакции «Экономического Указателя» [?] **, куда и отправился, найдя себе, после долгих поисков, чистенькую комнатку на углу Большой Морской и Синего Моста, у какой-то немки, державшей *chambres garnies*. В гостиницах я не рискнул остановиться, — чистые номера были страшно дороги, а которые подешевле — отвратительно грязны, так грязны, что человеку, обжившемуся в Европе, даже войти в них страшно.

Ничипоренки я не застал и, чтобы не терять времени, отправился к его другу и приятелю Бени⁹¹. С Бени мы до сих пор не были особенно близки, — я познакомился с ним в Лондоне, когда он был еще секретарем у какого-то лорда⁹², потом виделся с ним, когда золотопромышленник Томашевский вывез его из Парижа, и они вместе принялись составлять в Лондоне компанию для разработки какого-то прииска; простился с ним так же, провожая его в Сибирь. В Сибирь Бени не попал, потому что не поладил с Томашевским, который приятельское обращение с ним за границей, тотчас по приезде в Петербург, изменил на высо-

* Так в подлиннике.

** Так в подлиннике.

комерно-хозяйское, и Бени, одаренный от природы необыкновенною легкостью изучения языков, сделался русским литератором, чем бы и до сих пор был, если б мой проезд не погубил его вместе с другими. Даже и забыли мы в Лондоне о существовании Бени, как вдруг осенью 1860 * г. он вдруг ** очутился в Лондоне⁹³. Случилось дело такое. Бени, только-что приехав в Россию, прямо попал в кружок студентов и подобных им горячих голов и, разумеется, не мог не увлечься их делом, — ему же было тогда что-то не больше двадцати двух лет. В азарте своем он тотчас же решился выступить агитатором, написал адрес государю с просьбой о конституции или о чем-то вроде конституции⁹⁴ и отправился путешествовать по России для собирания подписей. Выставить впереди имена неизвестные, каких-нибудь студентов, было бы неловко, надо было, чтоб люди с весом подписались, а эти люди с весом боялись довериться неизвестному мальчику, которого никто не знал и который, не будучи сам русским, никак не мог объяснить, почему он принимает такое участие в русских делах. А объяснение-то было очень просто: *** он был крайне юн, **** у него не было национальности, и ему очень хотелось пристать к какой-нибудь. В самом деле, отец его был итальянец, но сын, кажется, испанки; мать была немка, но дочь француженки; а Артур Бени родился в Польше, жил в Англии, занимался медициной в Париже и сделался русским публицистом и агитатором в Петербурге, где его так обласкали, что он в душе полюбил Россию, как свою родину, которой именно у него и недоставало⁹⁵. Никто не соглашался подписать его адреса, пока Катков не подпишет, а Катков тогда был большим конституционистом, и либералы смотрели на него, как на главу и на предводителя, — за то-то Катков и повел такую ожесточенную борьбу против Герцена и Чернышевского, что они впоследствии свергли его с этого пьедестала. Партии образуются только из-за личностей. Бени явился к Каткову; Катков задумался. «Ведь не от себя же вы действуете, наконец?» — спросил он Бени. «Я агент Герцена», — приврал Бени, рассчитывая на поддержку в Лондоне. «Есть у вас на это документ какой-нибудь? Если есть, то я сейчас подпишу...» Документа у Бени не было, а если б был, то, я думаю, адрес бы состоялся. Пришлось бедняку ехать в Лондон за полномочи-ем, и полномочия он не получил, по нелюбви Герцена вести какую-нибудь агитацию. Положение интернационального юноши стало весьма не завидно, — до самого изгнания из России на него не переставали смотреть, как на агента III отделения, и никакие усилия его друзей не могли вывести его из этого двусмысленного положения.

Мы бросились на шею друг другу, когда я вошел к нему, и разговор наш сейчас свелся на «ты». Я так был истомлен страхом, притворством, тоской, что мне необходимо было отвести душу с кем-нибудь, сочинить себе друга, за неимением настоящего. Оказалось, что Бени знал о моем приезде, так как Ничипоренко, его большой приятель, не скрыл, что ждет меня в Петербург, да и вообще Ничипоренко был, как оказалось после, человек весьма ненадежный: тщеславие было главной пружиной всех его действий, и он вечно рисовался. Была мода на либеральничание и на поношение действий правительства, и он франтил своим революционерством, играя роль какого-то заговорщика. Я знал его еще с коммерческого училища, где он шел несколькими классами ниже меня. За границей я узнал, что он посещает университет, славится между товарищами умом и

* Зачеркнуто: или 1861.

** Зачеркнуто: опять.

*** Зачеркнуто: во-первых.

**** Зачеркнуто: и во-вторых.

краснотой своих убеждений; потом он сделался постоянным корреспондентом «Колокола», и вообще его считали в Петербурге одним из столпов нашей партии. Только связь с Бени бросала на него тень, но, к чести Ничипоренки, он не порывал ее в угоду общему мнению. С Ничипоренко мы увиделись вечером; он зашел к Бени и тут же стал звать меня ехать с ним по разным его знакомым. Я отказался. На риск я был готов, но рисковать из-за чего-нибудь и рисковать *pour passer le temps* — две вещи разные. Я просил Ничипоренку собрать сведения о петербургских старообрядцах; он уговорил меня ехать к Максиму⁹⁶, известному путешественнику по Архангельской губернии и по Амуру, который, по его мнению, мог мне сообщить много любопытного. О Максимове я был высокого мнения, как об этнографе, и, признаюсь, не мог не поддасться соблазну знакомства с ним. Кажется, в тот же вечер мы и поехали к нему с Ничипоренкой.

Пять лет прошло с тех пор, обстоятельства переменялись, даже дух общества стал совершенно другой, поэтому я не вижу причины бояться, что правительство захочет подымать старые дела, что наделало бы столько тревоги лицам, видевшимся тогда со мною. С полной верой в правительство, в гуманность его, я откровенно излагаю все, что было.

Я строго запретил Ничипоренке называть меня Кельсиевым. Довольно было, что я — Яни, исследователь раскола, только-что возвратившийся из-за границы и собирающий сведения о петербургских и вообще северных сектантах. Еще мог он говорить, что я прожил несколько времени в Лондоне, знаю хорошо Герцена, Огарева, Бакунина, что видел в Лондоне какого-то старообрядца, ищущего завязать сношения с партией «Колокола» и т. п. Так мы и явились к Максиму и так провели у него вечер; разговор вертелся преимущественно на его путешествиях, но сведений о раскольниках он сообщил мне очень немного, потому что именно на политическое-то значение раскола он меньше всего обращал внимание, как человек, по преимуществу не политический. «Если вас это, впрочем, так занимает, — сказал он, — то самое лучшее, обратиться к Кожанчикову⁹⁷. Он теперь занимается изданием книг о расколе и поэтому должен быть в сношениях с представителями разных согласий». Я поморщился на это новое знакомство, но Ничипоренко засуетился, затараторил и тут же решил за меня, что мы завтра же вечером едем к Кожанчикову. Отказаться было и неловко, да и надо же было добыть исковых сведений. Сильно я сомневаюсь, что Ничипоренко не удержался разболтать и Максиму и Кожанчикову о том, что я эмигрант. Так мне казалось по изысканно-натяннутому обращению со мной и Максимова и Кожанчикова, в котором видна была смесь страха с любопытством, и по некоторым словам, какие у них прорывались, что мне нечего бояться, что меня никто не выдаст и тому подобное. Разумеется, я не втягивал их ни в какие предприятия, а просил только разузнать все, что можно, о расколе и о раскольниках. Вообще говоря, эти сведения были так неважны, что даже подробности их плохо сохранились у меня в памяти, заслоненные другими, имевшими для меня несравненно больший интерес.

На третий день моего приезда, зашел ко мне Ничипоренко и объявил мне, что я сегодня же переезжаю к Серно-Соловьевичам⁹⁸.

— Зачем? — спросил я, уже донельзя утомленный его суетливостью.

— Они этого хотят, они обидятся, если ты этого не сделаешь. Здесь небезопасно. Им нужно с тобой переговорить... — трещал Ничипоренко.

— Да почему же они знают, что я здесь?

— Ну, вот еще! От них-то еще скрывать!

Проклял его в душе и все-таки покорился. Долгое напряжение

силы воли в дороге, переезд границы, при въезде в Петербург, страх быть узнанным на улицах кем-нибудь из знакомых, которых у меня множество, вечное беспокойство, что каждый, кто на меня смотрит, следит за мною, — все это произвело реакцию, напряжение исчезло и явилась какая-то покорность каждому внешнему толчку или внушению. Я рассчитался с хозяйкой, записал ей свое имя и какой-то адрес, куда переезжаю, и двинулся.

Николая Серно-Соловьевича я видал года два перед тем в Лондоне. Он был очень восторженный человек, очень не глупый, энергичный, всегда готовый на все честное и благородное и страстно любивший Россию. Понятно, что при таком характере и при крайней молодости лет (ему было, кажется, всего двадцать четыре года) он не мог не увлечься тогдашним направлением, но он увлекся им откровеннее и толковее других. Он и не скрывал от правительства, что принадлежит к числу недовольных, подавал записки государю, печатал брошюры в Лейпциге под своим именем⁹⁹, а на это не у каждого хватило бы духу в то время, когда все и каждый прятались друг за друга и показывали кукиши в кармане. Наконец, он изучал пристально экономические вопросы России, а это самое изучение исключало его из ряда тогдашних крикунов, которые ничего не знали, кроме своих утопий, и давало надежду, что из него выйдет со временем полезный государственный деятель. Надежду эту я сохраняю до сих пор, несмотря на его ссылку, причиненную * гостеприимством, которое он мне оказал. Я твердо уверен, что рано или поздно он будет возвращен и сделается одним из полезнейших членов правительства по министерству финансов или внутренних дел. Брат его, Александр, был человек больной, нервный, мрачный, не менее даровитый, но более мягкий по характеру: в нем не было той неукротимой отваги Николая говорить правду в глаза и не скрывать своих убеждений.

Оба брата приняли меня с упреком, что я не приехал прямо к ним, и предложили считать дом их своим на все время пребывания моего в Петербурге. Я рассказал им, что побудило меня сделать эту поездку и чего я ищу. Александр тотчас же сказал, что он сам уже сошелся с петербургскими беспоповцами и что непременно и меня сведет с ними, чего я не мог добиться ни от Ничипоренки, ни от Максимова, ни от Кожанчикова. Разговор естественно перешел на Герцена: «Что он делает? — спрашивали меня. — Как смотрит на нынешнее движение, как ведет его, что организует и кого поставил в предводители?» Словом, они, как и все либералы того времени, смотрели на Герцена, как на агитатора, и думали, что он основал тайное общество, к которому они если и не принадлежат, то единственно по недостатку доверия с его стороны. Я долго не мог их разубедить в этой иллюзии: нужно было подробно определить им характер и взгляды Герцена, его направление, чтобы они поняли, почему он не хочет браться за «практическую деятельность», а ограничивается ролью пропагандиста и руководителя общественным мнением.

— Но это ужасно! — вскричал Николай, поняв наконец, что я его не обманываю. — Тогда и мы погибли, и, чего доброго, Россия погибнет с нами.

Я побледнел, услышав эти слова. Серно-Соловьевич формулировал в ясных и простых словах мысль, которая мне давно уже не давала покою, но которую я сам боялся себе высказать. Он сразу пришел к тому выводу, до которого я не мог дойти годами, — что движение, поднятое Герценом, вредно, потому что совершается без плана.

* Зачеркнуто: мною.

— Что же это значит? — продолжал он, как бы с самим собою, откинувшись на диване. — Это значит, что «Колокол» вызвал к политической деятельности пропасть лучших сил образованного меньшинства, эти силы просят дела, работы, направления и ничего не находят, потому что Герцен не хочет или не умеет обуздывать их и править ими. Теперь и понятно, почему у нас такая разногласица, что нет двух человек, согласных в принципах или в цели. Теперь и понятно, почему молодежь бросается в нелепые теории и фантазии, никого слушать не хочет, несет чушь и только компрометирует либералов, нося с ними одно название. Это ужасно! Покуда весь этот хаос еще сдерживается* верою в Герцена и готовностью идти в огонь и в воду по его слову, а потеряй имя Герцена это обаяние, как оно уже и теряет, тогда что выйдет? Выйдет, что мы между собой передеремся и тем потеряем силу, а потеряй мы силу, все отсталое, тупое, ретроградное подымет голову и начнет разрушать даже и то небольшое хорошее, что теперь сделано правительством! А чего доброго, как от этого распада нашего какая-нибудь горсть дураков или энтузиастов затеет революцию — что тогда будет? Тогда пиши пропало всему! Революция еще не совсем беда, когда ее ведут умные и честные люди, люди знакомые с нуждами государства, ну, а пусть во главе ее станут дураки и интриганы, тогда и государство** исчезнет.

В этих словах весь Серно-Соловьевич, каким я его видел пять лет тому назад, и за эти слова я почувствовал к нему глубокое уважение, — это не был пустозвон в роде Ничипоренки и тысячи других, бессмысленно, по моде, увлекавшихся движением. Он был прежде всего государственный человек, то-есть рассчитывал, что полезно и что вредно, не увлекаясь ни фразами, ни обаятельными призраками, ни фактической надеждою, что стоит только уничтожить все старое, чтобы все пошло, как по маслу. Правда, он был раздражителен, даже озлоблен, сгоряча и у него срывались тогдашние модные фразы, вроде знаменитой, что «нужно все похерить», но стоило с ним поговорить часа два, чтобы увидеть глубокое понимание вопросов под этой кажущейся революционной диалектикой.

— Ведь что бесит? — говорил он. — Бесит то, что, при всем желании сделать что-нибудь путное, ничего сделать не можешь, потому что у нас кто в лес, кто по дрова. Правительство и радо бы радехонько последовать указаниям общественного мнения, а мнения этого никак не уловишь. Все перепуталось, никто друг друга не понимает. Требуют от правительства таких крайностей, каких оно даже выполнить не может, например, отмены брака, которая даже человеческого смысла не имеет. А правительство, прислушиваясь к этим толкам и пугаясь революционной декламации, становится втупик и теряет доверие и уважение к общественному мнению. Оно и радо бы идти вперед, да его пугают, и оно со страху вдается в периодические реакции. Экая досада, что Герцен не понимает своей роли и губит дело неуместным церемонничаньем, что он вне всякой опасности!

После многих толков и даже споров по отдельным вопросам, мы пришли с Николаем к следующему заключению. В государстве, как Россия, где нет ни свободы книгопечатания, ни конституции, правительство не может знать, куда ему идти и что делать. Нужно какое-нибудь учреждение, которое доводило бы до него сведения о потребностях народа и общества, но было бы в то же время вполне от него независимо, так как зависимость исключает искренность. Это же учреждение

* Зачеркнуто: только.

** Зачеркнуто: само.

должно руководить общественным мнением, подталкивая остальных и сдерживая забегающих вперед. Прежде чем заставить общество говорить о каких-нибудь нуждах, например, о потребности гласного судопроизводства, о свободе вероисповеданий и т. п., оно само должно убедиться, действительно ли такая потребность существует в народе, а чтобы убедиться в этом, оно должно было наводить справки, пускай слух, будто правительство само думает ввести данное преобразование. Если слух хорошо примется, следовало его поддерживать, разрабатывать вопрос, сделать его предметом толков так, чтобы он, прежде, чем правительство приступит к его обсуждению, уже облекся бы в положительные формы, выработанные общественным мнением. А если слух произвел дурное впечатление, если задуманная мера противоречит инстинктам народа, то и оставить его в покое; на этом я думал разом покончить с коммунистическими, революционными и атеистическими утопиями.

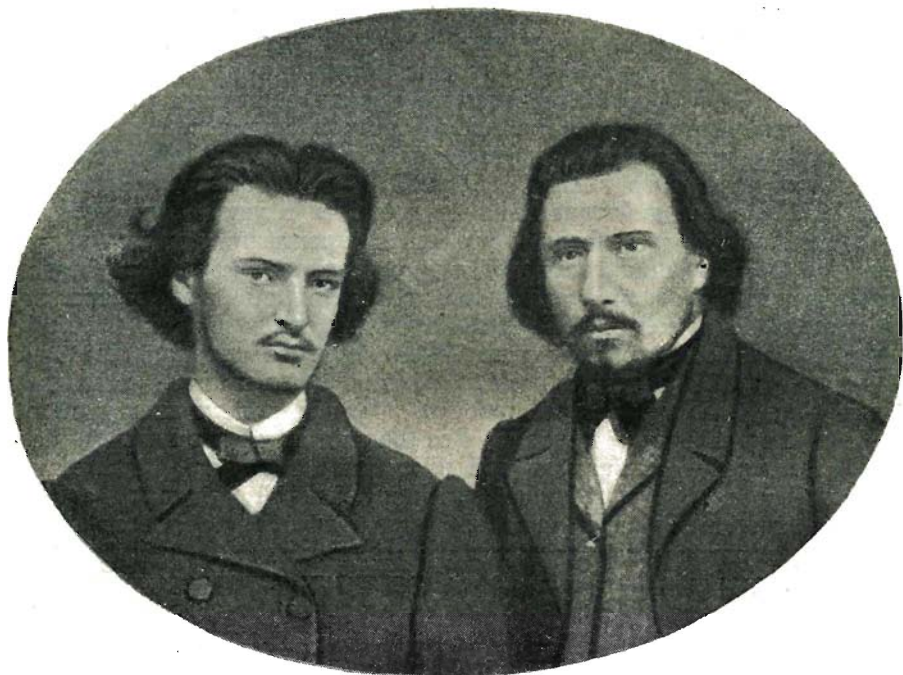
Ведь, правительство, говорили мы, вовсе не прочь послушать дельного совета и даже, в первое время «Колокола», было отчасти благодарно Герцену за высказываемые им горькие истины. Оно вовсе не консервативно по своим преданиям, оно — вечный революционер, только ведет революцию сверху, а не снизу. Отчего оно теперь начинает пятиться? Оттого, что пугается итти за общественным мнением, которое мечется во все стороны, сбивая его с толку и теряя его уважение к себе с каждым днем. Вот почему даже для правительства* легче было бы иметь дело с толковой оппозицией, с серьезными, даже придиричвыми цензорами его действий, чем с этой бессмысленной толпой крикунов и свежеепеченных доморощенных революционеров. Правительство выиграло бы от умной оппозиции; лучше с умным потерять, чем с глупым найти, — ведь у него нет собственных сословных или династических интересов, как в Пруссии или во Франции; оно у нас состоит из царской фамилии, о правах которой никто и не спорит, да из людей, достигших высокого положения в силу своих действительных или предполагаемых заслуг; а стать в ряды этих людей никому у нас не закрыта дорога, по крайней мере *de jure*. Стало-быть, по духу наших учреждений, правительство — это лучшие люди того же самого общества, которое мы сами составляем, а будь это общество толково в своих требованиях, члены его, входящие в состав правительства, не могут не поддерживать этих требований.

Разумеется, во всем этом было много идеализации и теоретичности, но, сколько помню, ни от одного из тогдашних либералов я не слышал плана дельнее и толковее сочиненного нами с Николаем Серно-Соловьевичем. Да они даже ничего не сочиняли, их беспокоили больше всего их теории да громкие фразы, а серьезно подумать о государственных отношениях им и в голову не приходило. Государь разбудил общество от долгого сна, он сам вызвал его к обсуждению государственных вопросов, но больше он не мог сделать. Люди, никогда не думавшие, не умели справиться ни с мыслью, ни с словом и заматались спросонья, как птицы, разбуженные молнией в глухую ночь. Много лет пройдет еще, пока наше общество станет таким же трезвым и умеренным, как английское.

Из проекта нашего вытекало само собой следующее. Нужна была крепкая организация множества существовавших тогда мелких кружков, с безусловным подчинением их кружкам губернским, которые, в свою очередь, должны были слепо повиноваться петербургскому, московскому, киевскому и еще не помню теперь каким, но помню, что эти центры

* Зачеркнуто: выгоднее.

предполагалось устроить, сообразуясь с географическими и этнографическими условиями. Тогда в сильном ходу было учение «почвенников», которое и я принимал, соглашаясь, что потребности разных частей государства не могут быть одинаковы*, хотя Серно-Соловьевич держался французской школы, что, что разумно в одной данной местности, то пригодно и для всего земного шара. Затем все эти центральные кружки должны были** подчиняться одному общему для всей России, как бы он ни сложился, в виде ли периодических съездов или в виде постоянного комитета, заседающего в Петербурге; главою же и диктатором его должен быть Герцен.



АРТУР БЕНИ и Н. С. ЛЕСКОВ

Фотография

Институт литературы, Ленинград

Только Герцен и мог занять этот пост. Его имя пользовалось безграничным уважением, на него все привыкли смотреть, как на вождя, ему каждый мог подчиниться, не считая это унижением. Он был вне моды, которая тогда выносила на пьедестал то Сухомлинова, то Павлова, то Костомарова¹⁰⁰, и свержала их так же неожиданно, как и возносила. Он не принадлежал ни к какой школе, как Чернышевский, Благосветлов, Достоевский, Щеглов¹⁰¹. Он был слишком далеко от России, чтобы с ним можно было иметь личности***. Он был в безопасности, стало, никакие аресты или преследования не могли отнять его у партии. Решено было, что я употреблю все меры для убеждения Герцена принять на себя эту должность и что не отстану от него до тех пор, пока он не согласится. Я должен был представить ему всю опасность положения России, в которой вызванное им же самим движение

* Зачеркнуто: тогда как.

** Зачеркнуто: покоряться.

*** Так в подлиннике.

грозило принять необузданный характер и произвести или бессмысленную революцию, или, что не лучше, превратить прогрессивное правительство в ретроградное. Кто ручался нам тогда, что правительство, поняв наконец, что над нигилистами нет никакой управы, одним почерком пера не усилило бы цензурных строгостей, не закрыло бы всех комитетов о реформах, словом, не отняло бы всего, что дало или хотело дать, и не возвратилось бы к страшной системе 1849—1853 гг.? А это и было бы, еслиб «Молодая Россия» и пожары не повернули бы общественного мнения в другую сторону, разом уничтожив потребность в предпринятой нами организации либералов. Я не приверженец и не поклонник Каткова, у меня в душе все-таки осталась, может-быть, невольная, гапсиге за его слишком бесцеремонное обхождение с нами, за его неджентльменские поступки с своими литературными врагами, но надо отдать ему честь, что он спас Россию и от нигилистов, и от реакционеров, заменив предполагаемое тайное общество «Московскими Ведомостями», которые долгое время были в самом деле тем посредником между народом и правительством, каким мы хотели сделаться. Самый факт огромного влияния «Московских Ведомостей» показывает, что в 1862 г. была действительно потребность в укрощении необузданных либералов и в разъяснении истинных стремлений и желаний людей трезвых и понимающих государственные вопросы¹⁰². Мы с Серно-Соловьевичем чувствовали это раньше, говорили об этом, когда никто еще даже и не думал, и если хотели достичь этого путями не законными, то только потому, что не видели другого исхода. Журналистской до катастрофы нечего и думать было пособить горю, — журналистика вся тогда превратилась в какое-то гнусное поле для личной переправки и литературных доносов. Все принципы осмеивались в ней, ни одна редакция не уважала другой и считала каждую дельную идею, появившуюся в чужом издании, чуть не личной обидой. Положение было действительно «ужасное», как выражался бедный Серно-Соловьевич, и исход из него виделся только в диктатуре Герцена. О диктатуре Каткова тогда и в голову не могло притти, да и она никого не прельщала, потому что Катков, делавший литературные доносы и вырабатывавший принципы не по убеждению, а из ненависти к нападавшим на него нигилистам, был вовсе не симпатичной личностью. Не мы с Серно-Соловьевичем были виноваты в наших планах и в совещаниях, а дух времени нас толкал и горячая любовь к России руководила нами — страх за ее будущее, недоверие к своим и к чужим, запутанность положения, опасность катастрофы. Он стоял очень близко к петербургским либералам, я так же близко к лондонцам, и мы оба видели, что дело идет из рук вон плохо и грозит правительственной реакцией. Мы и протянули друг другу руки для спасения будущности России, потому что, кроме нас, никто не заботился горячо об этой будущности, по крайней мере, мы не видели, чтобы кто-нибудь серьезно искал исхода из тогдашнего неопределенного положения. Перед законом мы — преступники, но совесть у нас чиста; мы хотели спасти Россию и от революции и от реакции, и история нас оправдает, хотя нам не удалось осуществить нашего начинания¹⁰³.

«Осуществим ли был наш замысел?» — спрашивал я себя впоследствии, перебирая дела минувших дней, и пришел к отрицательному ответу: тайные общества в больших размерах кажутся мне невозможными, если цель их не так проста, как, например, отделение Польши от России, которую можно формулировать одним словом: «независимость» (Niepodległość), и если цель эта не поддерживается сочувствием хоть мещан, ремесленников, мелких чиновников и мелкой шляхты. У нас же дело другое: вопросы юридические, социальные, экономические тугο

понимаются большинством, а оно никогда не станет рисковать за то, чего ясно не понимает и в чем, вдобавок, один столько же теряет, сколько другой выигрывает. За Кузьмой Мининым шли, как за каким-нибудь расколуучителем Антоном Петровым¹⁰⁴, потому, что зная их было общедоступно, а за Пестелем не пошли. Нужно было понять, чего хочет Пестель, подумать нужно было, а понимать и думать дело не легкое, да к тому же мысль исключает увлечение. Что верно относительно восстаний, то верно и относительно тайных обществ. Откуда набрать понимающих агентов и членов для пропаганды таких сложных идей, как современные принципы, на которых зиждутся реформы? Как заставить их действовать в такт, отказаться от любимых коньков, безусловно повиноваться центрам? Чем контролировать их действия и карать в случае неповиновения или предательства? Легко было полякам завести жандармов, — у них дело ясно: патриот — живи! изменник — умри! А у нас где критерий? И где исполнители, если б даже и нашелся критерий или был бы какой высший суд? Сложные догматы, доступные только пониманию, несовместны с фанатизмом, потому что где мысль, там нет увлечения, исследование убивает религиозную восторженность. Самая лучшая форма тайных обществ — масонство; но масонство опять-таки — секта, с катехизисом, с посвящениями, с традициями; оно неприменимо у нас в политике, потому что у нас нет тайных учений, и нельзя брать клятвы с доктринера, что он не станет славянофилом, почвенником или социалистом. Иезуитская система послушания и взаимного надзора тоже неприменима при общем критическом настроении умов и при стремлении к свержению всяких общественных уз, так резко высказавшемся в нигилизме. Да наконец, иезуиты все состоят на жаловании ордена, что очень важно для подчинения их генералу, а догмат их тоже не хитер. Я, признаюсь, много бумаги перемарал на проекты устава тайного общества, и ничего не вышло хоть мало-мальски практического. Вот у Маццини ловко выходило. Dio e ro-ro! Долой немцев! Долой тиранов! Да будет Италия едина! — и не мог даже сам Маццини дать совета, как устроить у нас то, что так легко устраивалось в Италии. Кто у нас не думал в те времена о тайном обществе, — лучшие умы трудились над этим, не мы же одни с Серно-Соловьевичем измышляли устав, — и все ничего не вышло. Кружки человек в десять, много в пятнадцать, возможны, и их было да, я думаю, и теперь есть — множество. Но они бессильны уже просто потому, что в каждом из них разрабатываются свои собственные принципы и что они теоретически расходятся между собою. Авторитет Герцена мог их подчинить себе каждого порознь, но заставить их действовать совокупно, значило бы перессорить их. Они все ненавидели фантастических консерваторов (я сильно сомневаюсь, чтоб у нас были настоящие консерваторы-ретрограды), но еще больше ненавидели друг друга, доктринеры — почвенников, а нигилисты — тех и других. Ничего нельзя поделывать в России незаконным путем! — не такое оно государство, и не так идет ее странная история, которая самые несчастья ее обращает в ее же пользу, как нарвское поражение, Наполеона, Севастополь, пожары, польское дело! Судьбы России — загадка, и, может-быть, не совсем не правы наши сектанты, утверждающие, что мы «род избранный, земля пророческая»...

Дней с пять я прожил у Серно-Соловьевичей, задержанный ожиданием случая познакомиться с беспоповцами, и отправился в Москву разыскивать своего друга Поликарпа, на которого я возлагал такие надежды и о настоящем имени которого я узнал только в Петербурге от беспоповского инока — знаменитого Павла Прусского. Поликарп Петрович оказался его преосвященством епископом Коло-

менским, владыкою Пафнутием!!! Эпизод моего знакомства с беспоповцами я расскажу ниже, по изложению всего, что я делал до выезда из России.

*

Без Ничипоренки дело и тут не обошлось. Кожанчикову нужно было ехать в Москву по своим книгопродавческим делам. Ничипоренко устроил, чтобы мы вместе ехали. Не знаю, как Кожанчикову, а мне это было крайне неприятно, потому что я имел право рисковать собою, но подводить кого под беду без всякой надобности было бы даже нечестно. Но пришлось покориться. Кожанчиков был уже на станции, а Ничипоренко взял за меня билет и отдал ему. Приехав вместе в Москву, пришлось и остановиться вместе в Чельшевских номерах, против Большого театра, где Кожанчиков пробыл дней пять, а я четыре недели. Все разговоры мои с Кожанчиковым вертелись на его издательской деятельности, на книжной торговле да на «литературщиках», как он * окрестил либералов, которых презирал и ненавидел до мозга костей своих за их пустозвонство. Простолодин по происхождению, он знал жизнь не из книг, а по опыту, — он без всякой посторонней поддержки из крепостного сделался книгопродавцем-издателем — и смотрел на вещи прямо. Падение нигилистов он предвидел и ждал его с нетерпением, вовсе не будучи по своим взглядам человеком отсталым или враждебным прогрессу.

Первый визит мой в Москве был сделан Ивану Ивановичу Шебаеву¹⁰⁵, лабазнику в Лефортовской части, о котором мне много говорил Поликарп, как о человеке современном, сочувствующем новому движению. Еще до поездки моей в Россию я дал знать брату моему, находившемуся тогда в Москве, чтобы он познакомился с Шебаевым, — это было мое чуть ли не единственное письмо к брату из-за границы. Ответа на него я не имел, но после я узнал, что брат завязал знакомство и очень понравился кружку Шебаева, хотя ничего в нем не сделал.

Отыскав дом и выслушав замечание лабазников Гаврикова переуллка, что господина Шебаева нет, а есть тут купец Шебаев, я поднялся во второй этаж и спросил Ивана Ивановича. Вышел высокий молодой человек, в долгополом сюртуке, брюки в голенищах, большая русая борода и светлые голубые глаза. Наружность у него была нервная, мягкая, — это был поэт, мечтатель, человек, способный увлекаться всем загадочным и выходящим из ряда обыкновенного. Я сразу понял, с кем я имею дело.

— С Иваном Ивановичем Шебаевым имею честь говорить?

— Я-с.

— Очень рад познакомиться. Мне нужно сказать вам несколько слов наедине, потрудитесь притворить двери.

Мы были в зале. Иван Иванович вздрогнул и молча пошел затворять двери.

— Скажите, пожалуйста, где и как бы мне повидаться с Поликарпом Петровичем, то-есть с владыкой Пафнутием...

— Как-с? Я не знаю-с...

— Иван Иванович, вы все знаете. Владыка вам все говорил, где он был последнее время, у кого жил, что затеялось, — довольно того, что я и об вас через него знаю, он сам поручил мне обратиться к вам когда я буду в Москве. Меня зовут Василий Иванович...

— Господин Кельсиев!

— Честь имею представиться!

Что сделалось с Шебаевым, трудно рассказать. Он зашатался. Страх

* Зачеркнуто: называл.

и радость с быстротой молнии сменялись на его нервном лице. Он всплескивал руками, бродил из угла в угол, сажал меня, обнимал, жал мне руки, — словом, не знал, что делать. Наконец, вдруг исчез и явился с орехами, изюмом, пряниками и бутылкою хереса, сказав, что сейчас и самовар будет. Эти хозяйственные хлопоты привели его в себя, и он объяснил, что владыка уехал по делам в Киев, сообщив ему и его приятелям все, о чем мы говорили в Лондоне. Что замысел этот почти никому неизвестен в Москве, что даже и открывать его опасно старикам, которых «умы не достигают такой высоты», и что все надо обделать втихомолку, а для этого самое лучшее будет переговорить с его приятелями, которых он завтра и пригласит к себе.

Шебаев — человек небольшого ума и не особенно сильного характера. Это энтузиаст, фантазер, вечно способный на увлечения, вспыхивающий, как солома, при каждой новой и честной мысли, а особенно при каждом трудном и необыкновенном предприятии. Пафнутий и он были для меня первыми образчиками того нового поколения сектантов, которое покуда не имеет еще голоса, но которое лет через двадцать не преминет* занять важную роль в судьбах России, и потому нелишним будет сказать о нем несколько слов.

Основатели первых наших сект, деятели XVII в. были невежды. В их сочинениях мало дельного и определенного. Они одно только знали, что с падением Цареграда главенство над православным миром перешло в Россию вместе с двуглавым орлом и с царским титулом. Народ и до сих пор верит, что Москва — третий Рим (в Италии — ветхий Рим, Цареград — новый Рим, а Москва — третий) и что четвертому Риму не быть. От этого Россия — Новый Израиль, род избранный, земля пророческая, в которой должны исполниться все пророчества ветхого и нового завета, из которой даже антихрист должен выйти, как Христос вышел из прежней святой земли. Представитель православия, русский царь, — законнейший государь на свете, потому что он занимает престол царя Константина. Один древний народный стих, до сих пор распеваемый нищими, так говорит о России и о ее царе:

Святорусь земля — всем землям мати.
Оттого Святорусь земля всем землям мати —
Исповедует веру крещеную,
Христианскую, православную.
Святорусский царь — над царями царь,
Оттого святорусский царь над царями царь —
Он строит церкви соборные,
Соборные, богомольные.
И все цари, короли, мурзы ему поклонятся,
Все царства подойдут под руку его.

И народ наш в это сильно верит и вовсе не в шутку считает себя первым народом на свете. В этом-то и лежит причина раскола. Никон и Петр, вырывая плевелы, стали вырывать и пшеницу и оскорбили народную гордость. Неужели ж нам, толковали первые старобрядцы, русскому народу, царству третьего Рима, исправлять наш обряд и книги по греческим образцам, когда эти самые греки отвергнуты богом за их нечестие и наклонность к латинству, так что даже римская власть их перешла из Цареграда в Москву? Неужели же нам, православным, одеваться и жить по-немецки, когда немцы не только еретики, да еще сами не умеют дома у себя управиться, а к нам на наши хлеба лезут? Трудно судить теперь Никона и Петра, но, несмотря на все их усилия, нельзя не видеть, что ни церковь наша не

* Зачеркнуто: играть.

похожа ни в чем на греческую, ни быт наш государственный и общественный не сформировались по-немецки. Борода до сих пор запрещается, национальный наш крест, знамя русской народности от Авачи до Львова, до сих пор в забвении, наши народные праздники, обычаи, уборы в пренебрежении, но борода все растет да растет, как ни брей ее, а народ все помнит да помнит свои особенности, как ни заглаживай их. Раскол взял на себя защиту всего старого и народного, ударился при этом, разумеется, тоже в крайности, доходя в одну сторону до «странничества», а в другую — до молоканства, жидовства и скопчества. Пока православное духовенство и чиновничество, теснившее его, было невежественно, и он не заботился об учености; но когда гонители его оказались людьми сведущими в писании, и он пустился в исследования, произведшие огромную рукописную литературу. Чем его били, тем и он отражал удары, слагаясь под ними в выработанные системы и развивая свои учения в подробностях. Так наступил нынешний век, царствование Александра Благословенного, вызвавшее тоже пробуждение умов в России. Политика пошла в ход, либеральные идеи проникали в общество, угрюмые сектанты прислушивались к ним, но мало им сочувствовали, считая их наводнением дьявольским и не вида, к чему бы их применить. Но новое настроение общества не прекращалось, идеи лились и лились и проникали силою в массу сектантов. Настали 40-е годы, министерство Перовского приняло суровые меры для уничтожения раскола¹⁰⁶; сектантов теснили; кто мог, бежал за границу; озлобление их было доведено до крайности, и новые идеи принялись мигом. Счастье правительства и России, что тогда не было у нас либералов и революционеров: «мы бы все поголовно встали тогда», — говорили мне раскольники, эмигрировавшие в Молдавию и в Турцию в это тяжелое для них время. Но общество не откликнулось на их либерализм, даже сочувствовало гонениям, благо они изуверство искореняли, и раскольники покорились, тайком устраивая белокриницкую митрополию. Прошла война, настало новое царствование, свежим воздухом пахнуло на всю Россию, всем стало вольней, легче, старая система * исчезала с каждым днем, как листья осенью, и прежние либералы-сектанты мигом успокоились и примирились с правительством; так довольны они были немногим, что им дано, и так счастливы, что не подвергаются уже большой опасности за соблюдение своих обрядов. Но молодежь иначе стала смотреть на дело. Выросшая и воспитанная под влиянием этих самых либералов и критиков распоряжений правительства, она не могла удовлетворяться теми немногими послаблениями сектантам, которые даже ничего им не гарантировали, потому что зависели от секретных циркуляров, то-есть имели, очевидно, только переходное значение. Молодое поколение слишком прониклось современными учениями, чтобы не стремиться к приобретению тех же гражданских прав, какими у нас пользуются иностранные исповедания. Антихристианские учения и нигилизм не принялись в нем, но понятия о гражданской свободе, о веротерпимости, об одинаковых правах всех русских, без различия вероисповедания, на государственную службу — все это принялось близко к сердцу. Со временем из этого поколения образуется весьма сильный и полезный консервативный элемент в государстве, нечто в роде английских dissenters, но в 1862 г., когда я столкнулся с ним, он был в переходном положении. Шебаев и его немногочисленные товарищи были слишком небогаты и слишком молоды, чтобы иметь решительный голос между своими, и потому стояли между двух огней: правительством,

* Зачеркнуто: падала.

которое * их терпело на условии, чтоб не делали «открытого обнаружения ереси», и стариками, которые, покаясь на лаврах прежнего «мученичества и страдания за древнее благочестие», увеличивали свои капиталы и допускали кое-кого из молодежи вмешиваться в общественные дела, на условии не вводить их в хлопоты и не навлекать на «христиан» новых гонений. Стало-быть, ни на правительство, ни на стариков считать было нечего. Оставались одни прогрессисты, которые толковали вечно о свободе, о правах человека, которые заискивали сближения с простым народом и казались молодым сектантам реальной силой. «Мы, наша партия, наш голос, наше влияние, — слышалось на каждом шагу, — мы сделаем переворот, мы заставим правительство уступить нам!» — и сектанты, скромные и робкие, как все наше купечество, невольно дались в обман и приняли эти кружки за силу в государстве. Пафнутий, представитель ** поповщинской молодежи, точно так же принимал нас за всемогущих деятелей и потому заискивал нашей помощи, Шебаев и прочие пошли по его следам.

Итак, появление мое в Москве произвело на них хорошее впечатление. Я казался им пророком, призванным разрубить гордиев узел их недоразумений, и они собрались слушать меня, но их было всего трое: Шебаев, Семен Семеныч, знаменитейший из тогдашних богословов поповщинского согласия¹⁰⁷, и Александр... *** ***, **** человек ничем не замечательный, вялый, сентиментальный, платонически любивший науку, прогресс и свободу, одетый по-европейски и выражавшийся изысканно. С первых слов я увидел, что они ровно ничего не понимают в политике, даже не знают, о чем дело идет. Они, например, спрашивали у меня, когда назначена революция в России, кто будет президентом русской республики и тому подобные нелепости или наивности. Сначала я думал, что они хитрят, выведать у меня хотят, «какова я птица есмь и какого духу человек», но вскоре пришлось убедиться, что они просто-напросто слышали, что звонят, да не знали, в котором приходе. И революции они вовсе не сочувствовали, они боялись ее, но им казалось, что уж если человек приехал из Лондона, подвергаясь опасности, толковать о политике с ними, то уж не иначе, как подбивать их на бунт. Я был для них зверь морской, птица-юстрица, и они меня созерцали со страхом, с любопытством и с надеждой поживиться чем-нибудь в пользу их церкви.

Крепко удивились они, когда я объявил им, что революция не будет и не должна быть и что главная цель моего приезда и знакомства с ними — предупреждение взрыва ***** устройством правильной оппозиции старым порядкам. Систему мою я им тут же изложил, но им она в головы не лезла: они ожидали, что я буду вопить о крови, о цареубийстве, выну и разорву портрет государя, — словом, они ничего не понимали по своей неподготовленности к политическим вопросам. Затем я поднял вопрос о печатании их книг; они сейчас же снабдили меня рукописями, но крайне удивились, что у нас нет средств на заведение типографии. «Да, ведь, у вас в Лондоне миллионы-биллионы должны быть», — говорили они мне, и сильно потерял я в их глазах, намекнув, что может-быть, им придется раскошелиться. «Мы

* Зачеркнуто: только.

** Зачеркнуто: новопоповской.

*** Пропуск в подлиннике.

**** Я совершенно забыл отчество и прозвище этого человека, — моя память очень пострадала от солнечного удара (coup de soleil) в Цареграде. Можно справиться об его имени у автора «Раскол, как орудие враждебных России партий» — «Русский Вестник», апрель 1867 г. Впрочем, этот Александр С. — преничиожная личность. Пафнутий тоже хорошо его знает¹⁰⁸ [примеч. Кельсиева].

***** Зачеркнуто: организацией.

люди небогатые, нам это не по силам, кой-как торговлишкой своей промышляем; надо за таким делом к вельможам обратиться, это только они могут устроить». И таким вельможей, человеком с понятием и просвещением, был, по их мнению, Кузьма Терентьевич Солдатенков; но он выехал незадолго перед тем за границу¹⁰⁹.

Много труда и терпения нужно было мне, чтобы растолковать им, чего нам нужно от них, и сильно я сомневаюсь, поняли они меня или нет, хоть я битых четыре недели употребил на это втолковывание. Главное, чего я добивался от них, как от людей, все-таки близко стоящих к народу, — какие реформы будут народу «приятны», и какие нет. Не помню теперь хорошенько, но мы остановились на семи статьях: 1) свобода вероисповедания, 2) свобода слова, 3) гласный суд, 4) сокращение срока военной службы, 5) борода, 6) усиление выборных учреждений и 7) кажется, земский собор, с голосом совещательным, но не решительным, как в западных конституциях, которые именно все и страдают антагонизмом верховной власти с народной и которые, будучи выкроены по английскому образцу, нигде не привели ни к чему путному, за исключением самой Англии, конституция которой имеет смысл, потому что развилась исторически.

На второй неделе моего пребывания в Москве я познакомился с четвертым членом их кружка, с Александром Богомолотовым (Боголюбовым? Богохваловым? — что-то в этом роде)¹¹⁰. Я сидел у Шебаева, — к другим я не ходил, и все переговоры происходили, преимущественно, у Шебаева, с ним да с Семен Семеновичем, который, впрочем, уж и совсем не интересовался ничем, выходящим из сферы полемики с беспоповцами, — сидел я у Шебаева и пил чай. Вошел какой-то купец, высокого роста, рябоватый, с строгим и приятным выражением лица. Я сейчас же сделал вид, что я какой-нибудь писарь или канцелярист, пришедший писать прошение или принесящий справку по делу, — это была моя постоянная уловка при появлении кого-нибудь чужого. Набралось еще гостей, посидели, покалякали и ушли. Остался только Шебаев, я и высокий купец. Он внимательно всматривался в меня.

— Долгом считаю объясниться с вами, Василий Иванович, — вдруг заговорил он, — меня зовут Александр... * Богомолотов, может, вы обо мне слышали в Лондоне от владыки Пафнутия?..

— Слышал и очень рад познакомиться с вами...

— А я-с не хотел знакомиться с вами и до сих пор бы не познакомился, но меня уверили, что вы вовсе не хотите крови и даже в Москву инкогнито изволили приехать именно затем, чтобы кровь не пролилась. Правда ли это?

— Само собой разумеется, правда! — отвечал я, сильно удивленный таким приступом.

— Позвольте же пожать вашу руку и попросить вас к себе завтра вечером...

— С величайшим удовольствием.

— Ну-с, а покуда — до свидания. Надеюсь, что все останется втайне. — И он вышел, оставив меня в крайнем недоумении.

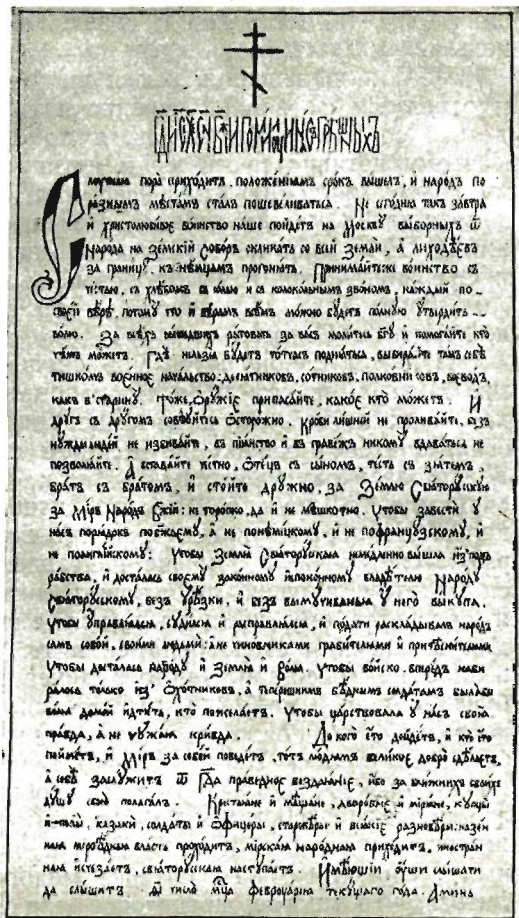
Я явился в назначенное время. Самовар уже ждал меня на столе, — без самовара слова не было сказано между мною и старообрядцами.

— Позвольте спросить вас, — сказал Богомолотов, — какая есть сокровенная цель вашего приезда сюда и обращения к нашей нации (т.-е. согласно).

* Пропуск в подлиннике.

ПРОКЛАМАЦИЯ В. И. КЕЛЬСИЕВА К СТА-
РООБРЯДЦАМ

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва



Я рассказал ему о положении России, о духе партий, об общей неурядице, — словом, все, к чему я пришел в Лондоне и в Петербурге, и затем объяснил ему роль, какую мог бы играть раскол, как уже готовая организация (чего, именно, недоставало православным), в деле указания правительству путей, по которым ему следует идти для блага и величия России. Я изложил ему мои семь пунктов, он обдумал их и сказал, что это — дело возможное и хорошее.

— Мы это можем сделать, дело благое и для правительства и для народа, только, уж вы, Василий Иванович, не обидьтесь, сделаем мы это, но без всяких сношений с Лондоном...

— Отчего так?

— Не приходится-с. Дело больно опасное, да и народ загалдит, что мы с вами спознались.

— Да ведь лучше же действовать сообща?

— Лучше оно точно, только не приходится-с. Россию-то мы с вами оба крепко любим, и оба видим одинаково, чем она больна, да ваши-то не тем ее лечат; только дело путают, сами ж вы это изволили заметить. Так вот оно и подходит, кажись, время, когда опять Кузьма Минич Сухоруков понадобится, вон и картина у меня висит, как он князю Пожарскому меч подает, — вам эта история, полагаю, известна. Так вот вам и спасибо, что вы не похожи на других, а страху не побоялись, сами пришли опасность указать; за это вас вся-

кий похвалит, честь вам и слава! А делов с Лондоном вести все-таки нельзя.

Чего я ни говорил, как я ни убеждал, Богомоллов стоял на своем и отказался от всякой переписки с нами, даже не хотел больше видеться со мною. Признаюсь, я до сих пор питаю огромное уважение к этому истинно русскому и истинно благородному человеку, готовому голову положить, на риск свиданья пойти с «инкогнито» для предупреждения междоусобицы. Вот такими-то людьми вся земля и держится. Если они не перевелись, значит есть у нас еще и Сухоруки, и Сусанины, значит мы здоровый и крепкий народ. О свидании с Богомолловым и что произошло в это свидание, знал до сих пор только я, Герцен и Огарев.

На этом и кончаются мои сношения с московскими старообрядцами. Других знакомств я не заводил, опасаясь наткнуться бог знает на каких людей, да и все мне говорили, что старое поколение, как огня, боится политики, а молодое слишком зависимо от него, чтобы действовать самостоятельно. И так, большого труда стоило провести свои идеи в кружке Шебаева, чтобы пытаться пропагандировать их далее. На этот кружок я рассчитывал, как на зерно, из которого образуются другие в том же направлении, и, поручив Шебаеву стараться об этом, а равно действовать и на беспоповцев в том же смысле, я обещался ему переписываться с ним, основать в Лондоне газету для поддержки старообрядцев в их борьбе с притеснениями полиции, взял с них обещание достать денег на типографию и уехал в Петербург, в полной надежде, что поездка моя, во всяком случае, была не напрасной, если даже такие люди, как Богомоллов, взялись за дело, хотя бы и помимо нас. Мне не столько думалось о личном влиянии или о влиянии Лондона, сколько о том, чтобы осмыслить движение и сделать его полезным. Ничто меня так не печалило, как доктринерство, порождавшее нигилизм. Я тогда был почвенником и до сих пор остаюсь им: я слишком много потерял между простонародьем, чтобы не убедиться, что многое, прекрасное для России, никуда не будет годиться для Турции. Я слишком хорошо изучил Молдавию, чтоб не понять, как она бедствует именно от тех порядков, которые французы считают лучшими и которых добиваются их либералы. Будущность России зависит от пристальнейшего изучения нашего народного быта, со всеми его предрассудками, предубеждениями, и мудрость нашего правительства, как и всякого другого, может выразиться только в разумных уступках этим «отеческим преданиям» и умении пользоваться ими для ведения нас вперед. Не на бреднях своих оборвались наши нигилисты и доктринеры принципов 1789 г., а на том, что учение их было непопулярно, что оно вразрез шло с нашим народным характером, изучить который они даже не постарались, и великое мое счастье, что документы о раскольниках заставили меня приняться за это изучение.

*

Но не с одними раскольниками пришлось мне возиться в Москве. Еще в Лондоне, как я и говорил, было у меня задумано связать людей нашей партии с сектантами, для * взаимного обмена идей, новостей, для того, чтоб подвигать вперед сектантов и обуздывать пыл наших. В Москве был у меня брат, которого я думал сделать моим агентом, по сношению с старообрядцами, но в Петербурге я услышал, что его подозревают, будто он агент III отделения, что меня поста-

* Зачеркнуто: устройства.

вило в тупик; а в Москве я узнал, что накануне моего приезда его увезли в Верхотурье за вмешательство в студенческую историю, и увезли безжалостно строго: полицеймейстер Сечинский не позволил ему захватить ни шубы, ни белья и отправил его за Урал в марте месяце в одном ватном пальто!!!¹¹

Но был у меня в Москве знакомый, человек, слывший очень умным и одним из передовых, — известный библиофил Виктор Иванович Касаткин¹². На другой день по приезде в Москву, я отправился к нему. Он еще спал, я подождал, пока он выйдет из спальни, и сильно боялся, что его слуга заметит его изумление и испуг при виде меня. Дверь открылась, Касаткин в лице даже не изменился, глазом не моргнув, спокойно протянул мне руку и только спросил, как будто мы вчера виделись: «А, здравствуйте! как поживаете?» Уже потом, когда мы остались одни, он дал волю своему волнению. Не всякий имеет такую завидную способность самообладания.

Я рассказал Касаткину о Поликарпе, о цели моего приезда, о переговорах с Николаем Серно-Соловьевичем. Он не одобрил ни того, ни другого. По его мнению, мне вовсе не следовало ездить в Россию, а просто написать ему о желании старообрядцев сблизиться с нами; он даже заговорил, что я могу теперь возвратиться в Лондон, так как он уже знает, что мне было нужно. Я не мог согласиться с его взглядом. Написать в Москву я и сам умел, но я не был уверен, что сближение устроится так же ловко помимо меня, уже несколько лет думавшего об нем, и что не примет ложного и даже вредного характера. Мое намерение не уезжать из Москвы, пока не увижу, что дело пошло на лад, обидело Касаткина. Он начал говорить, что я на себя навлекая опасность и другими рискуя, толковал мне об осторожности и тут же пригласил обедать у Корева, в его ресторане, и советовал побывать на публичных чтениях. Насчет диктаторства Герцена он также неблагосклонно отзывался, говоря что из-за границы невозможно вести русских дел, что есть на это и в самой России люди деятельные, способные, что дело идет и без того как нельзя лучше, но я никак не мог добиться, как оно идет, куда, с какою целью...

Может-быть, я не прав в отношении Касаткина, может-быть, я дурно понимаю его, но он показался мне, и до сих пор кажется, человеком, страдающим болезненным самолюбием. В жизни ли что-нибудь ему не удалось, или желчный темперамент его заглушал голос рассудка, или просто он был избалован общим поклонением* его уму и сведениям, только Касаткин был очень высокого о себе мнения и ни с кем себя не равнял. Все предводители кружков считали себя призванными некогда управлять судьбами России, я не видал ни одного предводителя хоть бы трех-четырех человек, который не метил бы хоть в министры, и ни одного кружка, который бы не считал себя влиятельнейшим в России, но в Касаткине это самолюбие доходило, как я сказал, до болезненности. Мой приезд был ему личным оскорблением, посягательством на его авторитет, мое старание сосредоточить движение в руки Герцена было бунтом в глазах Касаткина. Он не преминул порисоваться мною, возил меня зачем-то к князю Трубецкому, мировому посреднику¹³, и к Афанасьеву (собирателю сказок)¹⁴, которые оба были его поклонники, но едва ли серьезно мешались в политику; по крайней мере, я не слышал от них ничего особенного, да и разговоры мои с ними ограничивались общими фразами, бывшими тогда в ходу. Оба они сильно переконфузились, когда Ка-

* Зачеркнуто: знакомых.

саткин представил им меня, и ничего мне не высказали, кроме* сочувствия прогрессу и всему либеральному. Я согласился на знакомство с ними, ожидая видеть в них бог знает каких деятелей и какие умы, а оказалось, что Трубецкой думал только о честном и щедром применении к дворовым людям положений 19 февраля, а Афанасьев весь был** пропитан *jusqu'aux bouts des ongles* сказками, редкими рукописями и редкими изданиями. Кажется, Касаткин просто-напросто эксплоатировал этих людей своим нравственным перевесом над ними, силой ума и силой характера: князь Трубецкой был ему нужен по своей популярности между дворовыми, а Афанасьев, как обладатель драгоценного собрания редких книг и рукописей, мог удовлетворять библиофильской страсти Касаткина. Больше он ни с кем меня не знакомил, а знакомство с князем Трубецким и с Афанасьевым едва ли не было сделано с целью возвысить в их глазах свой собственный авторитет. Впрочем, быть-может, я дурно понимаю Касаткина.

— Мы все сделаем, мы ничего не упустим, — говорил он мне, когда я приставал к нему, чтоб он и его приятели немедленно бы начали действовать, а, между тем, никто ничего не делал. Я познакомил их с Шебаевым и с Семеном Семеновичем. Семен Семенович тут же просил их похлопотать о его паспорте, который был у него как-то не в порядке, как обыкновенно у крестьян. Небольшой труд было сделать ему эту услугу, которая разом бы показала им нашу силу и поставила бы их в зависимость от нас. Обещали они и ни шагу не сделали для Семена Семеновича. Касаткин был вечно занят своим изданием; он вовсе не был деятелем, он только себе и другим казался политическим человеком; а про князя Трубецкого и про Афанасьева и говорить даже нечего — они уж решительно ни к чему не были причастны.

Пребывание мое в Москве злило Касаткина. Самолюбивый и мнительный, он все думал, что я подкапываюсь под его авторитет, что я хочу сделаться главою движения, и не раз я замечал, как страшная внутренняя буря искажала черты его обыкновенно очень красивого лица. «У нас, — едко замечал он, — все хотят быть головами, а никто не довольствуется оставаться в хвосте». Намек был ясен, но я принял за правило делать вид, что не понимаю; мне нужно было сближать людей, и потому я считал себя обязанным делать все уступки для избежания личных разрывов. А тяжело было ладить с этой самолюбивой и завистливой личностью: это он распустил слух, что Бени и брат мой — агенты III отделения; он не прощал никого, осмелившегося высунуться вперед¹¹⁵.

Было у него какое-то дело в Петербурге, он уехал, я вздохнул свободнее, хоть и остался без той помощи, которую от него ожидал. В раздумье я обратился к князю Трубецкому, — тот, для того ли, чтоб ст меня отделиться, или чувствуя себя несклонным к исполнению моих замыслов, познакомил меня с Козловым¹¹⁶.

Козлов был тоже кандидат в министры, кружок его тоже состоял из двух человек (какие-то Софони, Софиони, Софати, два брата греческого происхождения¹¹⁷), но характер козловцев оказался совсем другим. Это были гегелисты в поддевках, говорили ужасно темно, к каждому вопросу подступали свысока, разбирая его субъективно и объективно, так что уши вяли. Чего они хотели и чем были недовольны, также остается втайне, по крайней мере для меня. Говорили они много о своем значении, о популярности, намекали на свое влияние и связи, — словом, несли

* Зачеркнуто: общего.

** Зачеркнуто: поглощен.

ту же околесицу, что и Касаткин и все тогдашние кружки, и ровно ничего не делали. Одним только они заслужили тогда мое искреннее уважение и мою еще более искреннюю благодарность, — они напрямик объявили, что неспособны толковать с старообрядцами, потому что боятся испортить дело, не будучи в состоянии скрывать своих высших взглядов и отстать от мудреных выражений. С проектом моим действовать умеренно, в видах предотвращения революции и сближения с правительством, они тоже не сошлись, потому что я вел дело уж очень просто, не вдаваясь ни в какие логические построения и упуская субстанции *an sich* и *für sich*; но, опять-таки, решились мне помогать всеми средствами и тут же обещали мне добыть человека, годного быть связью между образованным меньшинством и старообрядцами, — Петровского¹¹⁸.

Петровский, по своему характеру, — двойник Шебаева: та же готовность на все честное, та же способность увлечься всем, выходящим из ряда обыкновенного, та же мягкость и податливость в присутствии более сильной натуры. Эти люди редко живут своей самостоятельной жизнью, они слишком скромны и чисты, чтобы* давать отпор чужому влиянию. Все мистики таковы; таковы последователи разных фантастических учений — масоны, мормоны, хлысты, скопцы. Опасное, загадочное магнетизирует их, и они не в силах устоять против увлечения, — они даже сами сплошь и рядом вызывают таинственные силы, чтоб отдаться безусловно в их распоряжение. Библейская Ева, гетевская Гретхен, мотылек около свечки, дитя над озером — повторение одного и того же типа, исполненного неудержимым влечением ко всему загадочному.

Петровский в восторг пришел, узнав, что я эмигрант, и тут же отдался в мое распоряжение, безусловно, беззаветно, душою и телом, не требуя ни награды, ни выговаривая себе уступок. Идеи мои он принял и поставил себе в закон. На другой же день я повез его к Шебаеву, они сошлись, понравились друг другу, и дело было сделано: у меня был в Москве специальный агент, проводник между мною, старообрядцами и всевозможными кружками, агент, который ни на шаг не вышел бы из моих предписаний.

Оставалось сделать еще одно. У старообрядцев всех толков огромным влиянием пользуются келейницы. Келейницы — это девушки, отрекшиеся от брака, посвятившие себя молитве, богоугодным делам, пожалуй, сплетням, пересудам, разноске вестей и всему прочему. Купчихи смотрят на них с большим уважением, откровенны с ними, посвящают их во все свои тайны и руководствуются их советами. Я просил Шебаева познакомить меня с ними, но Шебаев объявил, что «как же они будут знакомиться с посторонним мужчиною, — ведь они — девушки, невесты христовы». Пришлось опять обратиться к философам, и они тотчас же познакомили меня с Марьей Александровной Челищевой¹¹⁹, которую я и свозил к Шебаеву, выдав ее перед его матерью и братом (вовсе не посвященным в наши замыслы) за мою жену. Челищева оказалась мне очень не глупою девушкой, немножко экзальтированной, но вполне способной к делу. Я ее не считал, — она тоже чересчур вдавалась в философию, по примеру своего наставника, Козлова. Но делать было нечего — пришлось пользоваться теми средствами, какие под руками были.

*

Итак, все было сделано, даже с простонародьем успел я вдоволь наговориться, посещая харчевни, пивные, кабаки. Я ничего не проповедывал, я больше выпытывал, что народ думает, и это опять убедило

* Зачеркнуто: бороться.

меня, что всякое восстание у нас будет гибелью для образованного класса. Ненависть к студентам границ не знала, — народ принял их за сыновей помещиков, бунтовавших против государя, зачем он отнял у них крестьян. «Подумись они еще раз, — говорили мне мои кабацкие знакомые за косушкой водки, — народ их всех перебьет, жен и детей их не пощадит» — и это без всякого вызова с моей стороны, без высказывания мною какого-нибудь мнения. Я выдавал себя обыкновенно за дворового человека, бывшего камердинером у барина и приехавшего в Москву искать места: «Барин мой не в силах теперь держать такую большую дворню, какая у нас прежде была, вот мы теперь и ищем себе хлеба». Меня в этой беде утешали; говорили, что царь дал такие права дворовым, что хочешь бери землю, хочешь не бери, а когда понадобится, так барин все равно должен будет надел дать и двор на свой счет поставить; это меня один дворовый утешал, советуя мне детей моих приучать к сохе. Он сам собирался тоже приняться за землю и не сегодня-завтра думал идти за этим к посреднику. Слушатели поддакивали ему и одобряли его совет.

На страстной приехал Касаткин, уже окончательно злой, и привез неутешительное известие, что III отделение знает о моем пребывании в Москве и что за мной следит какой-то господин с огромною русою бородой. Этому-то я плохо верил, но и дело было у меня кончено и Касаткина врагом делать не следовало, да, наконец, и в самом деле, дальнейшее пребывание в Москве было и не нужно и опасно: государственные люди *in spe* были народ преболтливый. Я простился со всеми и уехал в Петербург, где пробыл дня два, чтобы попасть на границу в самый разгар праздников, когда таможенные чиновники должны быть побеззаботнее. В Петербурге я виделся только с Серно-Соловьевичем и с неизбежным Ничипоренко. Серно-Соловьевич одобрил мой образ действия в Москве, хотя и не сходиллся со мною по каким-то мелким вопросам, и взял с меня слово, что я настою у Герцена в принятии им звания предводителя. Что сам Серно-Соловьевич делал, я не знаю, потому что не считал полезным спрашивать. Анонимная система все-таки самая лучшая в подобных делах, и невмешательство одного члена в дела другого — единственная гарантия безопасности. Ему нужно было действовать в Петербурге, мне в Лондоне, стало-быть, всякие расспросы и откровенности были тут не у места.

На этом и кончается рассказ о моем пребывании в России. Я ничего не утаил, я изложил подробно и замыслы мои и средства, к которым я прибегал для осуществления их, но я думаю, что показания моих участников, добытые следственной комиссией по этому делу, сильно разнятся от моих. Допрашиваемые скрывали факты, выгораживали друг друга, оправдывали себя, — дело было слишком свежо, кара грозила им за сношения со мною. Теперь, когда я пишу это, уже пять лет прошло со времени моей поездки, дух общества, идеи, стремления переменились, переисследование дела было бы даже бесполезно, по крайней мере не принесло бы практической пользы... Но если оно необходимо, чего я не думаю, потому что даже польские дела уже преданы забвению, если правительство сочтет нужным проверить мои показания, пусть оно сделает это, не тревожа моих бедных соучастников, которые и так уж трепещут теперь, узнав из газет о моей явке с повинною головой. Они слишком много пострадали за свою вину, их родные и друзья набрались слишком много страха за них; пусть правительство через агентов своих не шумно, но гласно проверит это старое дело. Мне легко было писать об нем, надежда на гуманность правительства побуждала меня назвать ему по имени каждого, с кем я был в сношениях, но теперь, невольный страх щемит почему-то мне душу, и только

вера в бесконечную доброту государя удерживает меня от искушения уничтожить эти листы, пока они еще в моих руках. Молю я государя и правительство, пусть они пощадят этих бедных, а если нужно покарать кого, пусть вся кара обрушится на мою буйную голову!

*

Мне остается еще рассказать о моих сношениях с знаменитым беспоповским наставником Павлом Прусским¹²⁰, об устройстве контрабандного ввоза лондонских изданий в Россию и о происшествиях в Лондоне до последних чисел августа 1862 г., когда я уехал в Турцию; на этом кончится настоящий отдел, самый длинный в моей исповеди.

*

Я сказал, что я долго пробыл в Петербурге, потому что искал случая познакомиться с беспоповцами. Александр Серно-Соловьевич еще до моего приезда как-то сошелся с одним беспоповцем из того нового поколения наших сектантов, которое стыдится дикости и отсталости своих стариков и ищет случая показать, что оно вовсе не враждебно ни прогрессу, ни новым идеям. Сношения Александра с этим человеком не имели никакого политического характера, — он был приказчик в Гостином дворе, у купца Бородина (Бородулина? или что-то в этом роде, — жалею что не могу припомнить имени этого честного человека), тоже беспоповца, торговавшего, кажется, шляпками. Приказчик этот заходил в книжный магазин Серно-Соловьевичей позаимствоваться новостями и достать книжку какую-нибудь для усаждения ума и сердца в часы досуга. Когда я приехал в Петербург и высказал мое намерение познакомиться с старообрядцами, Александр тотчас же вспомнил об этом приказчике и стал у него расспрашивать о петербургских влиятельных беспоповцах. Приказчик сообщил ему, что в настоящее время находится здесь великий учитель, инок Павел, человек, которому слепо повинуются большинство федосеевцев. Не теряя времени, Александр, при помощи приказчика сошелся с этим Бородулиным и сказал ему, что он хотел бы его познакомиться с одним молодым человеком, который долго жил за границею, изучал там богословие и все веры наперечет знает, т. е. со мною. Бородулина заинтересовала моя личность, и он назначил день, когда нам к нему приехать.

Это был человек полный, вялый, неразговорчивый, жил холостяком, но одевался по-европейски. Чтобы занять нас, он велел своим приказчикам (в пиджаках, с английскими проборами!) петь по крюковым нотам разные тропари, кондаки и стихиры, мотив которых показался мне тогда диким; надо к нему очень прислушаться, чтобы понять, отчего им так восторгаются старообрядцы. Хозяин был меломан, пришлось покориться и часа с два выдерживать его пытку. Александр, однако, не вытерпел. Он очень нервный, страдает вдобавок желчью, в этот день ему и так нездоровилось, а пение окончательно подкосило его. Ему стало тошно, голова разболелась, лицо покраснело, и он уехал. Я воспользовался этим минутным замешательством, чтобы свести разговор на веру, с веры на наставников, а с наставников на «великого учителя, слава которого прошла по всей вселенной и мир наполнила своими трубными звуками, к восхищению его последователей и к великому горю и обличению его противников, ибо имя Павла Прусского даже детям малым стало известно во дни наши!». Это я у Пафнутия выучился старообрядческому стилю.

Ивана Васильевича (так, помнится, звали хозяина) сильно заинтересовало, что мне известно не только существование, но даже и учение и жизнь его любимого наставника, и он не утерпел, чтобы не вывести его из задней комнаты. Вошел человек высокого роста, худой, черно-

волосый, лет сорока на вид. Он был одет по-монашески, т. е. в черном подряснике, в мантийке (черная пелеринка с красною оторочкой) и в камилавке, круглой шапочке с мохнатым околышем, — в первый раз увидел я тогда наше монашеское облачение дониконовских времен.

— Войди, отче, войди, сядь, — говорил Иван Васильевич, — вот его милость про тебя тут рассказывает. — Это самый и есть у нас отец Павел Прусский, — добавил он, обращаясь ко мне.

Я с большим вниманием вглядывался в этого человека, с умным, вечно улыбающимся лицом и с черными, сверкающими глазами, полными жизни и мысли. Мы разговорились. Разговор, естественно, пошел об учении Павла, что теперь не чувственный антихрист правит миром во образе государя, а только мысленный (духовный, идеальный, прообразовательный), а что чувственный еще придет при конце света. Затем он опровергал учение о переселении душ (метампсихоза), так сильно развившееся в беспоповских толках и составляющее основание догматов божьих людей (скопцов и хлыстов), а отчасти и духовных (духоборов и молокан); потом толковал, что с тех пор, как священства нет на земле, потому что оно взято на небо за отступничество русской церкви от православия при Никоне патриархе, таинство брака все-таки существует, так как оно состоит не в обряде венчания, а в самом акте супружеского сожителства. И этот разговор вел не туда, куда мне было нужно, — мне нужно было прямо высказать Павлу, кто я и чего я хочу, но за дверьми и в дверях стояла толпа приказчиков, сидельцев и мальчиков, созданных нарочно хозяином послушать Павла и наш диспут о вере. Иван Васильевич поставил меня в пренеловкое положение, вообразив, что я так же основательно знаю святых отцов, как старообрядцы, и что я в силе поддерживать разговоры с Павлом.

Пришлось менять тему, сводя ее с богословия на политику, на свободу вероисповедания, на значение старообрядцев в России... Хозяин и Павел довольно сдержанно высказывались на этот счет. Я сообщил им, что поповцы уже меры принимают к этому, и помянул им, что мне в моих путешествиях случилось встретиться с каким-то Поликарпом Петровичем (приказчиков уже не было, когда я это сказал), который говорил мне, что поповцы очень озабочены ходом нынешних событий.

— Какой это Поликарп Петрович? — спросил Павел, пристально смотря на меня. — Маленький, худенький, бледный такой? Многоглазый?

— Ну, вот этот самый, — обрадовался я, видя, что наконец найду разгадку моему таинственному гостю.

— Так это, я тебе скажу, он так себя по-мирскому назвал, а он у них епископ, владыка Пафнутий его зовут! Вот он что! Только ты на него не полагайся и ему не верь! Я всех — и наших и ихних — знаю! Не такие мы люди, чтобы и думать об государственных делах, нам и того довольно, что нам теперь малую малость дали. Наше дело больше о наживе думать, чем о вере да об ее пользах! Вот что! А Пафнутий молод, горячка, крутить-мутить любит, а его никто не слушает...

Я принял эти слова за вражду между согласиями, но дело было сделано, разговор принял нужный мне оборот, и хозяин попросил нас в заднюю комнату, поняв, что я неспроста добивался свидания с Павлом. Было уже поздно, часов с десять вечера; завтра нужно было ехать в Москву; я пошел наудалую.

— Отец Павел, — сказал я, — я поведу дело начистоту. Ты ведь здесь тайком, с чужим паспортом, на чужое имя, да еще и не русским подданным, хоть и в России родился. Ты мне этого не говорил, отче, да ведь это само собой понимается. Так я тебе и скажу, что и я здесь на таком же положении: я не Яни, а Кельсиев, с турецким паспортом, а

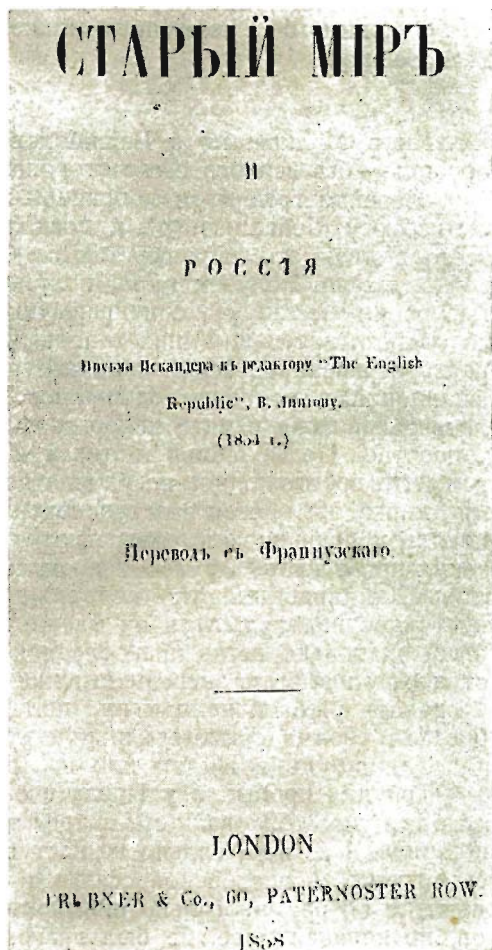
живу я в Лондоне, где печатается все, чего в России нельзя печатать и где добрые люди, стараются, чтоб не только верам, но и народу всему свободней стало. Вот я и приехал повидаться с последователями древнеправославного благочестия и посоветоваться с ними, что нужно, как сделать, чего хотеть и куда гнуть.

Затем я развил мои взгляды на роль, какую могли бы занять в нашем движении старообрядцы, как уже готовые организации. Павел выслушал меня внимательно.

— Ты искренний человек, — сказал он мне, — и добра ты людям хочешь, это я вижу и понимаю. Только вот что я тебе по совести скажу, и не думай ты и не считай ты на наших. Первое дело, мы не такие люди, чтоб занимались царскими делами и понимали их, у нас первое дело — карман себе набить, а там хоть весь свет пропадай; мы о мамоне больше, чем о вере христовой думаем. А другое, и леригия наша не позволяет нам против начальства итти..

— Да постой, отче, не ты ли ж сейчас говорил, что нынешнее начальство предотечи антихристовы? Ведь и в писании сказано, что в «нынешние последние времена верные будут на антихриста брань вести».

— Говорил и говорить буду, да только все это понимать надо. Духовное духовным, а мирское мирским; кесарево кесареви, а божие бого-



ви. Мы и ведем с ними брань, где веры коснется, а в мирские дела их мы не мешаемся. В житиях нет примера, чтобы христиане бунтовали, да и святые отцы тому не учат.

— Отец Павел, да, ведь, и я не на бунт же зову.

— Понимаю я это, друг, что не на бунт, а все же противление властям выйдет, это нам не приходится, да и не нашего ума дело понимать, хорошо или не хорошо царь правит.

— И даже полноправия веры вашей с иностранными исповеданиями не хотите? — спросил я, видя, что ничего не поделаешь.

— Хотелось бы, да покуда и того довольно, что теперь дали. Благо хоть не круто поступают с нами, — отвечал Павел.

— А я вот что скажу, — заговорил Иван Васильевич, уклонявшийся до тех пор от всякого прения, из уважения к Павлу. — Я скажу, что оно и для нас хорошо, что есть в России господствующая церковь: это в нашу пользу идет.

— Это как? — такого вывода я уж никак не ожидал.

— А не будь ее, тогда бы безбожники верх взяли и нашу бы даже веру разорили в конец. Вон их сколько теперь, этих фармазонов, развелось. Покуда есть синод, все, хоть и не правая, да почитай христианская вера держится, а отменить его, так тут безбожникам, — да что безбожникам! — одним немцам, что святых-то не чтят, иконоборцам этим, будет такое приволье, что все веры в конец разорят и последнее благочестие на земле переведут.

С каким бы уважением пожал я теперь руку этому Ивану Васильевичу!

*

Ни в Москве, ни в Вержболове я не забывал о Павле, которому обещал — без всякого с его стороны вызова — побывать у него в Пруссии. Перейдя границу и добравшись до Столыпян, я отправился на юг, к Янсбургу (Johannisburg), и доехал до филипонских сел, находящихся всего в двадцати пяти верстах от Сувалок. Всех этих сел восемь; постройка дворов полунемецкая, полумазурская; язык — смесь русского с мазурским¹²², так что с непривычки филипонов даже понимать трудно, но одежда русская. У них в первый раз понял я, какую огромную силу распространения русской народности носит в себе раскол! Большинство филипонов, а особенно филипонок, вовсе не русские, а мазуры, даже литвины и даже немцы, которых наши раскольники перекрестили в беспоповство. Целые семьи лютеран и католиков переходят в раскол, потому что простолюдина не удовлетворяет ни безобразная, лишенная поэзии, кирка, ни костел с латинскою мессой и с высокомерным распутным ксендзом. Обращения совершаются постоянно, и я видел множество таких прозелитов, в русском происхождении которых каждый бы присягнул. Дай правительство поддержку расколу в западном крае, он бы там чудес наделал; ведь он ближе к нам, чем католичество и лютеранство, он только ветвь православной церкви, и ветвь прежде всего русская. А у нас было запрещено даже евреев крестить в старообрядчество, не говоря уже об немцах или поляках! Англичане, напротив, не пренебрегают своими dissenters в деле усиления своего влияния и колонизации где-нибудь в Индии или на мысе Доброй Надежды...

Три дня пробыл я у Павла в его монастыре, подле села Онуфриевки, и три дня толковали мы с ним то о наших стремлениях, то о бесповщине. Я на него сильно не наступал, поняв сразу, что он не выйдет из своей, чисто богословской, сферы, я довольствовался дать ему правильное понятие об нас, настолько примирить его с нашими тенденциями, чтобы он, по крайней мере, не был врагом их, остальное я откладывал в не-

определенное будущее, никак не ожидая, чтобы падение наше было бы так близко. Павел — личность чрезвычайно симпатичная, я не мог к нему не привязаться. Всю жизнь свою он посвятил борьбе с изуверами, которые считают царя воплощением сатаны и отвергают законность и возможность брака, заменяя его развратом. Много сделал и делает этот человек доброго. Беспоповство его не имеет ничего мрачного, отталкивающего, его любящее сердце сглаживает все шероховатости раскола, и последователи его, сколько я их видал, невольно приняли от него эту гуманность и мягкость. Много рассказывал он мне о своих трудах и борьбах с изуверами, о* затруднениях приобрести первое время последователей, о недоверии, которым его встречали; слезы навертывались у него на глазах, и ни одного резкого слова не высказал он о своих противниках; он жалел их, но вражды и злобы к ним у него не было. Никогда не забуду я этих трех светлых дней, проведенных мною в его келье, которая служит ему и библиотекой, и кабинетом, и из которой я мог смотреть, сколько мне угодно, на все, происходившее в смежной с нею молельной.

Удивительные иноки молились в ней. Смотря на них, невольно забывалось, что живешь в XIX в. и находишься хоть и в захолустье, а все-таки в Пруссии. Устав иноческого жития соблюдается в этом монастыре во всей первобытной строгости: не только пьянство, разврат, мясная пища изгнаны из этих стен, — белья там не меняют, пока оно не сгнивает на плечах, и меняют впотьмах, оборотятся лицом в угол, чтобы самым взглядом на свое собственное тело похоть не зародилась в сердце. Штанов не носят, чтобы не касаться голого тела! Не моются и не чешутся из презрения к плоти, для умерщвления ее. Спят на голых досках, подкладывая полено под голову. Зато и лица у них у всех какого-то маслянисто-зеленоватого цвета, волосы покрыты облаком пыли, от них самих идет какой-то особенный горький запах, по которому я и теперь за сажень узнал бы присутствие такого монаха. И опять-таки, это вовсе не изуверы, это добрые и благочестивые люди, которые, возложив на себя обет, долгом считают нести его как следует, не делая себе ни малейших послаблений. Изуверство и строгое соблюдение буквы устава несовместны; изуверство — каприз, увлечение фантазией, презрение правилами, а в этой иноческой жизни, какую вел Сергей Радонежский, Зосима, Савватий, Валаам¹²³, нет ничего фанатического. Свободное время иноки павловы читают святых отцов и изучают беспоповских писателей. Часть их отливают также медные кресты, которые так употребительны у старообрядцев, столарничают, переплетничают.

Переплетное заведение в монастыре вызвано монастырской типографией в Янсбурге, которую заведует молодой ученик Павла, Константин Константинов Голубов¹²⁴. Павел завел ее, кажется, в 1859 г. на остатки от подаваний, получаемых монастырем. Количество шрифта не велико, и он печатает им небольшие сочинения собственного пера, святцы, азбуки, а последнее время завел даже газетку; к несчастью, слог его крайне тяжел и напыщен, так что понять даже трудно, о чем у него идет дело. Типография эта помещается у известного Гонсеровского¹²⁵, поляка-лютеранина, врага шляхты и приверженца Пруссии, который из ненависти к католикам объявляет, что мазуры даже и не поляки, и силится замечать их славянский язык немецким!

Капитала на развитие этой типографии у Павла не было, и он с большим сочувствием отнесся к моему намерению завести печатание старообрядческих сочинений в Лондоне. «Все, пожалуйста, печатай, — го-

* За черкнуто: трудности.

ворил он, как Пафнутий, — и за нас и против нас. Надо же знать, на чем другие основываются и из-за чего церковь Христова разбита на расколы да ереси. Бьешься-бьешься, чтоб узнать хоть про ваших инокониан, на чем вы стоите, а попы ваши ничего дельного не написали, а что и написали, так неосновательно. Доброе дело ты затеял, выводи все на свежую воду, ничего не таи. Я сам буду посылать тебе всякие рукописи, хоть и противу нас писанные...»

Вот до какой степени и тогда еще, в 1862 г., чувствовалась нужда в изучении России, в народном самосознании, как теперь выражаются. Действительно, ни православная церковь, ни старообрядческие соглашения, ни духовные, ни божьи, ни правительство с обществом, никто не может добиться толку, во что верует наш народ, разбитый на секты. Отрывочных фактов собрано пропасть, но они именно по отрывочности своей ровно ничего не объясняют, как показания нигилистов и революционеров, тоже своего рода сектантов, не дают верного понятия ни о характере наших кружков, величаемых тайными обществами, ни о их стремлениях. Счастлив был бы я, еслиб дожил до такого времени, когда правительство разрешило бы написать историю этого движения, начиная с 1855 г. и кончая хоть тем же 1862 г., а я бы справился с этим трудом, потому что сами участники этого движения не утаили бы от меня подробностей дела¹²⁶. Я так хорошо знаю их jargon, их манеры и замашки, что самое мое понимание их заставит их признаться мне в том, что никакой бы страх наказания у них не вынудил.

Итак, хоть в печатании старообрядческих книг я сошелся с Павлом, и он мне тотчас же дал «Поморские ответы»¹²⁷ для печатания. Стало, и эта моя поездка была не даром сделана, стало, я не напрасно рисковал, вертясь около русской границы с паспортом не в порядке. В том, что типография будет у нас в Лондоне, я не сомневался; значение Шебаевского кружка тогда еще не утратило в моих глазах свою важность, и я был вполне уверен, что через месяц, много через два, деньги на шрифт будут высланы, что, может, и было бы, если б не пожары и не арест Ветовникова. Впрочем, надо и то сказать, что старообрядцы не чувствовали и не чувствуют особой надобности в заведении типографии. Литература у них большая, но они любят печатать только то, что, по их мнению, может вполне выдержать критику, поэтому каждый их писатель, прежде чем выпустить из рук свое сочинение, раз двадцать пересмотрит его с своими приятелями и раз двадцать сократит и удлинит его по их совету. Несмотря на такой античный способ издания, в редком их сочинении нет какой-нибудь главы, которую все согласие не признавало бы еретическою, а из-за этой одной главы все сочинение остается под спудом, во избежание соблазна. От того, при всем богатстве их литературы, в ней очень мало классических сочинений, и хоть очень легко* завести печатание в Яссах, в Цареграде, во Львове, в Чернівцах, но они редко пользуются этим удобством, чтоб не «skonфузиться». Поэтому мой план печатания в Лондоне вовсе не был вызван их собственными потребностями, а был искусственно создан мною, и хоть был во всяком случае полезен, как средство к изучению России, но мог легко не найти себе сочувствия в капиталистах, а без «вельмож» ничего и поделаться нельзя было; все это, разумеется, я понял уже гораздо после.

Тепло простились мы с Павлом. Мы шли разной дорогой, наши верования были диаметрально противоположны, но любовь к людям была у нас у обоих единственной пружиной всех действий. Мы оба на все были готовы, только б доброе сделать. Серенький весенний день стоял на дворе. В почтовую карету лошадей закладывали, мы стояли

* Зачеркнуто: и было и есть.

с Павлом, опершись на забор, и потихоньку разговаривали о трудах и борьбе, которую нам обоим приходилось испытывать и с которой я уже так познакомился в Москве. Горько мне стало, как я припомнил всю эту бестолочь. В руках у меня было красное яйцо.

— Знаешь что, отче, — сказал я в тоске, — кто хочет услужить людям, согнуться в три погибели должен перед ними. Голоден человек, мало что ты принесешь ему яичко! Нет, ты же его испеки, да ты же облупи, разрежь, посоли, в рот положи и в ножки поклонись, попроси, чтоб скушал!

— Правда твоя, святая правда! — сказал Павел, — ты [до] этого по себе дошел, а я тоже по себе. В разные мы стороны идем, а видно, сердца-то у нас одинаковые... — И у него навернулись слезы.

До сих пор не могу я забыть этого инока с огненными глазами, с насмешливым лицом и с сердцем, каких немного на свете...

*

Иностранец, въезжающий в Россию, отдает свой паспорт русскому правительству и получает от него вид на жительство, а когда нужно — на выезд за границу. В марте 1862 г., когда я приехал в Россию, разнесся откуда-то слух, что этот порядок отменен, а что иностранцы могут и у нас, как повсюду в Европе, проживать с своими национальными паспортами и с ними же выезжать за границу. Все, кого я об этом ни спрашивал, подтверждали этот слух, а я был очень рад не являться в канцелярии с.-петербургского или московского генерал-губернатора, так как у них, слышал я, служили мои товарищи по училищу, которые уж никак бы не преминули броситься мне на шею и назвать меня по фамилии. В Петербурге паспорт мой не был в полиции, в Москве тоже не был, а просто полежал в конторе Чельшевских номеров, и я выехал с ним назад, совершенно уверенный, что задержки не будет*. К великому моему ужасу и смущению, на Вержболовской станции я увидел, что у всех пассажиров — наш вагон был весь из иностранцев — паспорта русские, а только у меня, да еще у какого-то немца-подмастерья — национальные. Покуда я с немцем объяснял члену таможи свое неведение в законах и просил его снисхождения, поезд ушел, а член объявил, что он не виноват, сделать ничего не может и советовал нам с первым поездом отправиться в Ковно и там исправить нашу оплошность. Не знаю, как для немца, а для меня не было ничего привлекательного в такой поездке, я и так уже измучился ожиданием, что меня каждую секунду арестуют, а арест был бы для меня сигналом смерти. Я твердо решил никого не выдавать, а как это не совсем легко сделать и как мне заодно грозила бы или вечная тюрьма или вечная каторга, то я был намерен первым осколком стекла, заостренною оловянной пуговицей, чем попало, проколоть себе артерии в постеле под одеялом; а если б и это меня не убило, то доканать себя животным магнетизмом (гипнотизмом), что, при моем нервном темпераменте, дня в два может довести меня до ** удара. Стало, выезд из России как можно поспешней был для меня вопросом жизни и смерти, гамлетовским *to be or not to be*. Поэтому я с большим участием обратил внимание на какого-то солдата-еврея, который во все время моих сознательно ненужных объяснений с членом как-то удивительно подмигивал мне, не шевеля ни одним мускулом лица, ни даже веками; так

* Фантастические страхи, которые я испытал при выезде из России, рассказаны мною почти без изменений в моей статье «Психологические заметки», — «Отечественные записки», февраль, 1867 г. Я там выставил себя бегущим нигилистом. [Примечание Кельсиева.]

** За черкнуто: первого.

подмигивать, должно-быть, только он один и умеет, я других подобных фокусников не видал.

— Drei Rubel geben Sie? — спросил он меня неслышно и не шевеля губами, когда я подошел к нему, будто не обращая на него внимания.

— Jawohl!

— So, warten Sie nur.

И я остался ждать, отдаваясь в руки судьбы со всею покорностью усталого.

Станция мало-помалу опустела. Остался я, подмастерье да еще какой-то господин в бобрах, в золотых очках, с бесконечными русыми баками. Еврей шырял из двери в дверь, издавая как-то беззвучно: «Warten Sie, nur warten Sie!». Господин в бобрах обратился ко мне по-немецки.

— Вас тоже задержали?

— А вас задержали?

— Помилуйте, — заговорил он чуть не со слезами. — Я гамбургский купец, у нас большой торговый дом, векселя, сроки. Я спешу, меня уверяли, что менять паспорта не нужно, а теперь в Ковно, я не знаю, сроки...

— Да, скверно, — подтвердил я, — я тоже спешу.

— А вы кто такой?

— Кельнер, спешу в Лондон на выставку, может-быть, лон-лаке-ем удастся сделаться...

Уж не знаю, почему мне вздумалось назвать себя кельнером.

— Ах, какое счастье, что вы кельнер! Вы, стало-быть, разные языки знаете! If you do speak English, pray, let the people do not understand us...

— I do.

И разговор пошел по-английски.

— Предлагал вам этот солдат перевести вас за границу?

— Три рубля просит, — отвечал я.

— А вы решаетесь?

— А само собой: все же лучше чем терять время.

— Я не знаю, может он обманет, может это опасно, поймут, тюрьма, неприятности. Я не знаю, на что решиться. А вы решились?

— Разумеется, решился! Что ж больше делать? Поневоле прибегнешь к его помощи...

— Я не знаю, сроки, так это неприятно, мне сказали, что не нужно менять паспорт. Варварская сторона и варварские порядки! А вы так-таки решаетесь? Может-быть, у вас есть кинжал или револьвер?

— Ничего, кроме перочинного ножа.

— Да как же без оружия? — окончательно растерялся бедный купец.

— Да что ж я сделаю оружием? Из маленького дела — уголовное. Попадусь я просто, посадят в тюрьму и выпустят, а попадусь вооруженный, только подозрение возбужу...

— Правда, но я не могу решиться!

Так он и не решился и отправился куда-то ночевать.

Стало меркнуть. Зажгли лампы. Чиновники приходили пить чай и опять ушли... Часам к десяти буфет опустел, огни погасли, только сальная свечка горела на стойке. Повара, кельнеры, меняла вышли выпить на сон грядущий. С ними явился какой-то человек угрюмого вида, одетый, как наши немцы-колонисты.

— Вы отправляетесь тоже? — спросил он меня, пошептавшись с подмастерьем.

— Jawohl.

— Drei Rubel.

— Gut.

— Etwas später.

— Gut.

— Вы не бойтесь, — заговорили повара, кельнеры и меняла, — у нас это дело привычное, он — хороший человек и знает это дело. У нас это каждую почти ночь...

Я отвечал, что вполне полагаюсь на его опытность и бесконечно обязан им за одобрение. Явился еврей, знаками показал, чтобы мы брали вещи и чтобы следовали за ним. Он двинулся вперед; за ним подмастерье, за подмастерьем я, за мной немец. Тихо, чуть слышно шагая, прошли мы таможенное зало, какой-то коридор, какую-то комнату, держась друг за друга в темноте; вышли на другую сторону станции, спустились с пристани и молча пошли по железной дороге, переступая с бревна на бревно. Ночь была темная, ветряная, облака клочьями неслись по небу, кое-где мерцали звезды. Я оглянулся, огоньки Вержболова умалились, а эйдкуненские становились с минуты на минуту ярче. Шли минут с десять.

— Geld, bitte! Drei Rubel! — прошептал вдруг еврей.

Я подал ему три ассигнации; подмастерье сделал то же самое. Еще несколько шагов прошли мы.

— Кто идет? — слышалось в темноте, но как-то негромко. Я поднял голову и различил часового в тулупе и с ружьем. Еврей бросился к нему:

— И тише! И зачем кричать! Вот тебе рубль за одного; вот тебе рубль за другого. Сам видишь — только двое, я по совести...

— Поди ты к чорту, — * ругался солдат, — и вы все пошли! Ничего мне не надо.

И он взял ружье на перевес, штык пришелся прямо против моей груди. Я стоял и ждал, что дальше будет, делая вид, что не знаю по-русски. Ворочаться было бы хуже, чем погибать на мосту.

— И отчего ж не надо? И что тебе за польза не пускать?

— Провались ты, анафема! Жид проклятый! Только в беду попадешь с вами. Покою ни одну ночь не даете. Пошли, пошли!

— И некогда с тобой говорить, — трещал еврей. — Вот тебе рубль, вот другой. И конец. Marsch! Gehen Sie! Gute Nacht!

Но часовой все еще не переменял положения, хотя еврей и всунул ему в руки две бумажки. Еврей всегда насильно покупают и людей, и товары, всовывая деньги так проворно, что и опомниться не дадут.

— Ишь, проклятый, знаешь, что в темноте не разберет человек, какие ты бумажки дал, может и вовсе не деньги. Хоть бы серебра...

Я, чтобы кончить дело, выхватил из жилетного кармана несколько мелочи и сунул часовому.

— Ну, идите, пропадет человек за доброту свою, — ворчал он, сторонясь к перилам, — ни за грош пропадет! Вот анафемская-то служба!!!

И тут же ноги мои услышали, что круглые русские балки, по которым я ступал, кончились и пошли тесаные прусские, и стало мне грустно. «Прощай мать земля русская, — сказал я себе, — когда-то и как-то я опять увижу тебя!». И вот через пять лет я не выдержал и явился в нее арестантом, как ни страшно было решиться на это.

Я нарочно подробно рассказал этот эпизод моей истории. Мне хотелось показать, как бессильна наша сложная и дорогая паспортная система, а с ней вместе и охранение границ наших против каждого, даже и не смельчака, имеющего интерес в нарушении их. Тысячи поляков, сектантов, бродяг, мошенников, контрабандистов шныряют из

* За черкнуто: проворчал.

России за границу и из-за границы в Россию, не принимая, как я, никаких особых предосторожностей. Мелкие мошки, разумеется, вязнут в паутине, но крупных она не удерживает. Если она и удерживает кого, то разве турецких и австрийских славян, особенно галичан, от сближения с нами и от переселения в Россию, а больше я не видал от нее пользы. Я не умею сказать, что нужно сделать и чем заменить этот традиционный порядок, но замеченный мною факт его несостоятельности я считал обязанностью указать правительству.

Огоньки Эйдкунена все светлели да светлели. Я шел за проводником, одетым по-колониistically, еврей вернулся в Вержболово. Я невольно раздумывал, как это легко и дешево делаются у нас подобные дела. В уме у меня немедленно мелькнула мысль воспользоваться этой кажущейся строгостью наших пограничных порядков. Я не мог не смекнуть, что паспорта, заставы, стража — декорации, холщевые кулисы, которые только издали кажутся лесами дремучими, горами непроходимыми, и что в сущности они только от публики загораживают актеров и машинистов, давая им возможность разучивать роли втихомолку да подготавливать разные эффекты и превращения.

— Вы кто же такой? — заговорил я с этим * колонистом, пока мы пробирались уже полями к Эйдкунену.

— Кирпичный мастер, при постройке станций работаю.

— И часто вам приходится переводить путешественников через границу?

— Часто.

— Я удивляюсь, как это удобно и хорошо у вас заведено! — поддельвался я к нему. — Ведь этак можно, я думаю, и товары разные переправлять на русскую сторону?

— Можно. Warum nicht! Только здесь это не совсем удобно.

— Отчего же?

— А вам нужно что-нибудь переправить?

— Г-м, н-да, если бы я нашел верного человека...

— Большая вещь? Большие вещи здесь тем неудобно, что русская таможня целых пять станций осматривает товары...

— Нет, у меня были бы сундуки или ящики так фута в два длины, в фут ширины и в фут вышины.

— А поменьше нельзя?

— Можно и поменьше, по футу длины...

— Тогда кондуктору можно отдавать. А вам куда посылать?

— Г-м, в Петербург, например.

— Жаль, что не в Ковно; впрочем, из Ковно можно будет пересылать в Петербург. А что у вас будет в этих ящиках? Оружие, Должно-быть, порох?

— Ой нет! Книжки, газеты. Вы, знаете, какая цензура в России.

— Так это пустяки, и я за это возьмусь.

— И прекрасно, мне очень приятно вести с вами дело, я уж имел случай убедиться в вашей благонадежности. Обдумайте, что вы возьмете за ящик, а мне по два в месяц нужно будет высылать, и скажите мне завтра, а покуда выпьем по кружке пива для начала знакомства.

И мы вошли в гостиницу, где залы были полны всевозможными немецкими пограничными и непограничными чиновниками. Никто не обратил на меня внимания, а сердце все-таки было не на месте.

Утром мы торговались. Выходило что-то около десяти процентов, если не меньше, с огромнейшей кипеи «Колокола» и прочих изданий. Это было все же дешевле тогдашней цены их в России и да-

* Зачеркнуто: предполагаемым.

вало возможность распространять их сколько душе угодно. Я условился с Германом, — так, помнится, звали его, — что он по первому вызову моему явится в Кенигсберг, куда я собирался вызвать Серно-Соловьевича, так как улаживать это дело в маленьком городке значило бы обращать на себя внимание; написал письмо жене, что я выехал из России, но должен провести с месяц в Пруссии, и поехал в Столыпяны, чтоб оттуда направиться к Павлу. Из Столыпян я написал Серно-Соловьевичам письмо по женскому адресу, что я напал на великолепный случай дешево купить кружева, блонды, мантильи и т. п., по цене втрое дешевле петербургской, и, что, если бы (эта дама) захотела открыть модный магазин, то она могла бы, приехав к такому-то числу в Кенигсберг, найти в отеле Deutsches Haus человека, который просил меня* известить ее об этом. Затем я побывал у Павла и к назначенному числу уже был в Кенигсберге.

Дня три-четыре проскучал я в этом городе, от скуки изучая тамошних сектантов (Freievangeltische Gemeinde), и уже думал, что придется ехать в Лондон, не устроивши контрабанды, как вдруг получил из Эйдкунена депешу от того же неизбежного Ничипоренки: «Я еду в Берлин. Будь готов на станции в таком-то часу».

Стало-быть, Серно-Соловьевичи поручили ему дело, и мне остается только ехать далее; я покорился судьбе: нельзя же было устраивать контрабанду, не сговорясь с получателями ее в Петербурге.

Ничипоренко ободрительно пожал мне руку и объявил, что он отправляется закусывать.

— Да постой, что ж мне? Брать билет в Берлин и ехать с тобой?

— Ну, разумеется... — и он с напускным видом закаленного агитатора отправился в столовую.

Я только руками развел.

Вагон полон был русскими, никто не был мне знаком, Ничипоренко ораторствовал и удивлял всех умением каждый пфенниг и зильбергрош перекладывать на копейки, с вычислением даже курса... Переговорить с ним удалось только на шестой или седьмой станции.

— Да Серно-Соловьевич-то что же?

— Приедет, будь покоен.

— Куда же он приедет?

— Сначала в Кенигсберг, как ты назначил, а потом в Берлин.

— Так зачем же ты меня вытащил из Кенигсберга?

— Да ведь тебе все равно надо в Берлин!

— Серно-Соловьевич поручил тебе телеграфировать и увезти меня?

— Нет, он этого не поручал, я думал...

— Я, Андрей Иванович, думаю, что ты или глуп непроходимо, или непроходимо неспособен, и лучше бы ты не совался, куда тебя не просят...

Пришлось телеграфировать в Кенигсберг, что я в Берлине. Воротиться я не мог, потому что денег нехватило бы доехать до Лондона.

Прошло дней пять. Явился Александр в Берлин и, разумеется, с упреками. Больной, занятой, он все бросил по моему письму, даже денег мало с собою взял, только до Кенигсберга...

Поехали мы с ним в Кенигсберг, телеграфировали Герману, ответа не было. Серно-Соловьевич злился, сомневался в успехе, винил меня, — словом, мне пришлось очень жутко: и прусской полиции страшно и с Александром ссориться нельзя. Я сделал другой маневр: завел себе фактора. Под видом изучения Кенигсберга, в качестве любознатель-

* Зачеркнуто: войти с нею в сношения.

ного путешественника, я узнал от него все, что было нужно, о контрабандистах.

Контрабанда в Россию устроена в этой части Пруссии на таких прочных и широких основаниях, что не то удивительно, если я затеял применить ее к нашей пропаганде, а то, как нераспорядительны были все наши кружки и агитаторы, что в семь лет (1855—1862) своего существования и словоизвержения не воспользовались ею для ввоза в Россию запрещенных изданий, которыми только и дышали. Я недаром утверждаю, что эти люди виноваты только в фразерстве, и история заклеймит их названием «неспособных», тогда как правительство, о «неспособности» которого столько кричали мы эти семь лет, оказалось очень ловким и очень деятельным.

Целые улицы нового города заняты в Кенигсберге конторами под вывесками Expedition & Kommission. В окнах этих контор выставлены модели нагруженных фур с погонщиком и шестеркою лошадей. Конторы устроены очень прилично, тут и бухгалтер, и кассир, и экспедитор, и писцы, касса, пресс, преискуранты, — словом, все как следует. Я перебивал в десяти, я думаю, подобных заведениях, и разговор мой с конторщиками или с хозяевами был неизбежно следующий:

— Я бы желал поговорить с вами наедине...

— Вам переслать что-нибудь нужно?

— Да. Только наедине...

— О, не беспокойтесь, у нас нет секретов, это наша профессия.

— Понимаю, только товар мой...

— Оружие, может-быть, или порох? Мы привыкли к этому, вы можете прямо говорить.

— Книги и газеты, — решаюсь я наконец, оглядываясь по сторонам. А на меня никто внимания не обращает, так к этому привыкли.

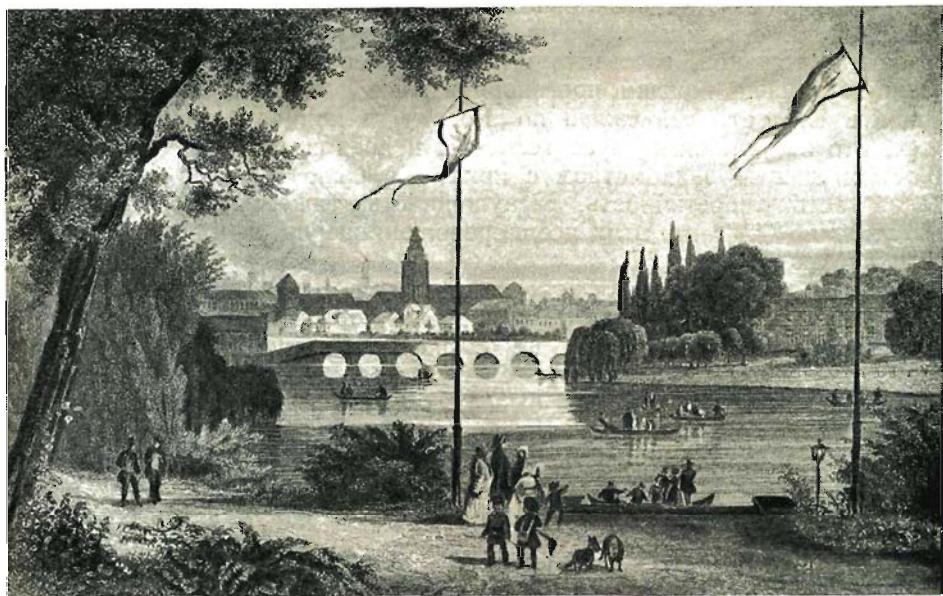
— На какую сумму?

— Первый раз талеров на сто.

— Мы сделаем сейчас же контракт, дадим вам залог, с тем, чтобы при доставке на место было уплачено нам столько-то процентов. Дом наш известен своей аккуратностью, пользуется отличною репутацией и доверием негоциантов, вы можете совершенно смело войти с нами в дела. Если еще тень сомнения остается у вас, извольте посмотреть наши книги и корреспонденцию, справиться об нас у таких-то негоциантов, и вы сами убедитесь, что имеете дело с порядочными людьми. Да кроме того, нам даже очень лестно содействовать вам в просвещении этих русских свиней (я был тогда поляком) и в разрушении их варварских законов о печати...

Я ничего не преувеличиваю. Пусть кто-либо из особ, которые прочтут мою исповедь, нарочно, проездом через Кенигсберг (или Тильзит), зайдет в первую Expedition & Kommission и попробует сделать предложение провезти в Россию что угодно, — он непременно услышит все это; от него не потребуют рекомендаций и не будут стесняться, условливаясь с ним, никем, ни даже полицией. Контрабанда совершается в гигантских размерах, она сложилась в правильный промысел, и если прискивать средства унять ее, — об уничтожении и думать нечего, — то разве только изучением ее на месте. Но для этого нужны ловкие люди, люди бывалые, тертые, а таких мало на службе... Тут волонтеры нужны, а где у нас их набрать? У нас переводятся с каждым днем отважные люди, вроде казаков, завоевателей Сибири, и прежних купцов, добравшихся до Индии и до Калифорнии. Характеры заметно мельчают, удаль и сметка убывает, а существуй теперь старое поколение удалцов, сослужили бы они службу правительству. Удалых голов на вольных плечах мало осталось после Петра, отвыкли люди

от самостоятельной деятельности, а если и спасло это нас от революции, то и губит трудностью добыть то, чему учат нас столько лет немецкие, французские и польские публицисты, — русских агентов за границу, агентов на всякое дело, на все руки, которым бы и указывать было не нужно, что делать и как делать, которые бы, попав в беду или ошибку сделав, не вводили бы правительство ни в хлопоты, ни в ответственность — сами бы из воды сухи выходили. Будь у нас такие люди, — а их даже искусственно создать можно, — не было бы польского вопроса, да и Австрия с Турцией едва ли бы существовали, не говоря уже о какой-нибудь контрабанде, фабрикации фальшивых бумажек, католической пропаганде и тому подобных мелочах. Нет у нас человека, который сумел бы отыскать и направить на путь таких деятелей...



КЕНИГСБЕРГ

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

Контракт был сделан, Александр успокоился, и мы разъехались. Он отправился в Петербург, где должен был устроить склад и приискать адрес, куда контрабандисту доставлять посылки, а я прямо в Лондон, через Берлин и Гамбург. Этим и заключилась моя поездка, не принесящая никакой пользы делу и погубившая стольких человек...

*

В Лондоне уже почти все узнали, что я ездил не в Италию, а в Россию. Герцен, Огарев и жена моя, разумеется, молчали, но Бакунин не выдержал, — нужно было шикнуть нашей деятельностью и ловкостью. Он разболтал по секрету Мартьянову и Альбертини. Мартьянов только пуще озлился на меня, узнав, что я в самом деле в связях с народом, а Альбертини надулся, что я не рассказал ему, с кем я виделся в Петербурге. Альбертини, как и все тогдашние дилетанты политики, чрезвычайно легко относился к делу и молчанию об именах, зная которые ему не было ни малейшей нужды, принимал за

недоверие. С Бакуниным мы тоже не поладили, — как было открывать все человеку, который ничего скрывать не умеет?

Но Герцен и Огарев отнеслись серьезнее к моей «Одиссее», как они назвали мои похождения. Они ясно поняли, что хотя, строго говоря, и ничего не было сделано, но задатки были положены прочные и что движение, * поддерживаемое ими, грозит ** или революцией или реакцией, если не будет приведено в систему. Я горячо адвокатствовал за диктаторство — это было *sine qua non* при тогдашнем положении дел — и указывал им, что если они не возьмутся управлять, то все их значение попадет в руки первого удальца, более смелого, чем толкового, который поведет молодежь на улицы, отдаст ее на убой черни и заставит правительство распорядиться по-французски — расстреливать *en masse*. А что такой господин мог явиться тогда, было вне всякого сомнения: все кружки чувствовали потребность в организации и в солидарности; одного ловкого человека нужно было, чтоб *** подчинить их себе каждый порознь и ****, не раздражая самолюбия и честолюбия вожжаков, заставить их всех плясать по своей дудке. Будь наши тогдашние вожжаки пораспорядительней, займись делом организации как следует, разъезжай по России из конца в конец, отыскивая всех, кто петушился на правительство, и соедини их всех воедино уже простым личным знакомством с ними, — и было бы дело сделано. Неделовитость, теоретичность, распушенность, тяжесть на подъем — вот что уходило ***** их, этих псевдореволюционеров и микроскопических великих людей.

Герцен задумался, долго не соглашался, после трех или четырех приступов сдался. Но «ступает старость осторожно и осмотрительно глядит». Огарев, еще вовсе не старый по летам, во всех действиях своих так же тяжел, как его слог. Осторожность его до того медленна, что даже неосторожна бывает: он никогда не станет ковать железо, пока горячо, а Герцен ничего не сделает без его санкции.

Огарев стал обдумывать, придумывал по частям, останавливался над подробностями, — словом, время шло, а дело не двигалось. Только одну (первую и последнюю) посылку «Колокола» удалось мне отправить в Кенигсберг, а что с нею сделалось, до сих пор не знаю; арест Ветошникова всю мою паутину разорвал.

Нужно было напечатать на листах, не больше игровой карты каждый, семь пунктов, о которых было условлено в Москве. Эти листки распространить бы в народе без всяких комментариев, чтобы знали, по крайней мере, о чем думать, чего хотеть от правительства; чтобы самому правительству дать возможность узнать, к чему ему следует готовиться. Огарев ссылался на свои «Что нужно народу?», «Что нужно духовенству?», «Что нужно войску?» — брошюрки, написанные им по настоянию и моему да и всех приезжих, так как никто не знал, чего хотеть, хоть и всякий лез в реформаторы¹²⁸. Но брошюрки эти были и чересчур длинные, да и высказанных в них требований нельзя было исполнить одним указом, тогда как вся-то задача в том и состояла, чтобы добиваться у правительства уступок, которые оно может сделать, не затрудняя себя особыми комиссиями и приготовительными работами, или даже и затрудняя, то не на долгое время. Думал, думал Огарев о моих пунктах, колебался, не решался, я так и из Лондона уехал, ничего не дождавшись.

* Зачеркнуто: поднятое.

** Зачеркнуто: опасностью.

*** Зачеркнуто: сплотить их.

**** Зачеркнуто: ловко.

***** Так в подлиннике.

И поповцы и беспоповцы просили меня завести для них газетку. Мой план, ими самими одобренный, состоял в том, что газетка эта будет наполняться преимущественно их богословскими полемическими статьями, не разбирая, от какой секты или толка они идут, а затем, рассказывалось бы о притеснениях, которые терпят сектанты, и уже затем проводились бы политические взгляды. Такую газетку все бы согласия читали, все бы ею интересовались и обогащали бы статьями. Она стала бы связью их между собою и приучила бы их смотреть на нас, как на людей беспристрастных в их спорах, а главное, поставила бы нас в близкие сношения с ними и понемногу развила бы у них наши политические взгляды. «Дайте подумать, Кельсиев, дайте подумать. Еще успеется, — надо все хорошенько обсудить», — говорил Огарев. А между тем Трибнер, поняв, в чем дело, чуть не плакал от нетерпения быть издателем нового органа, который мог бы доставить ему хороший барыш...

Наконец надумался Огарев и решил, что газета непременно должна будет состоять под их цензурой. Я охотно согласился на это, твердо решась своим собственным примером поддерживать их диктаторство и вполне убежденный, что солидарность с ними есть необходимое условие успеха нашего дела.

Покуда я подготовлял статьи к первому номеру, Огарев приговорил эту газету быть приложением к «Колоколу». Что я ни толковал, что ни язык, ни направление, ни содержание «Колокола» недоступны простому народу, упрямый Огарев стоял на своем; пришлось покориться да и отказаться от помещения богословских полемических статей.

Половина моих статей была забракована. Статьи самих старообрядцев догматического содержания тоже не прошли цензуры. Первый номер вышел бесцветным, а во втором я уже и не участвовал¹²⁹... Мартынов из себя выходил, нападал на слог, на обороты, на направление, не знаю на что и почти видется со мной перестал.

Над названьем газеты долго думал Огарев и наконец придумал: «Общее Вече». «Назвать «Вечем» нельзя, — говорил он, — слишком сильно выйдет; а эпитет «Общее» хоть повидимому усиливает, а в сущности ослабляет»... Меня часто потом спрашивали старообрядцы, что значит слово «вече», а мы в Лондоне и не знали, что у них совершенно забыты удельные времена!

Узнал я, что Кузьма Терентьевич Солдатенков в Лондоне, — он приезжал на всемирную выставку, и я решился познакомиться с ним. Мне казалось, что такой меценат, издатель, человек, во всяком случае, понятливый более прочих своих единоверцев, не может уклониться от такого выгодного для них дела, как печатание их книг. Трудно было свидеться с ним, но я настоял, и свидание наше устроилось.

— Да какая же польза будет от этого печатания? — спросил он меня, когда я изложил ему дело и рассказал о Пафнутии и о моей поездке в Москву.

— Поставит вас в самостоятельное положение, привлечет к вам сочувствие образованных людей, нас поддержит... — развивал я ему.

— Ах какой этот Пафнутий с Шебаевым горячий и неосторожный! — отозвался Солдатенков. — Я боюсь, чтобы такое дело не поссорило нас хуже с правительством!

Я опять начал толковать ему в том смысле, как тогда было принято говорить о правительстве и как на него тогда смотрели.

— Я так боюсь, — говорил как-то беспокойно Солдатенков. — Вы знаете, что я под строгим надзором. За мной всюду следят. Ведь вы это знаете?

— Знаю, — отвечал я, чтобы не уронить в глазах его нашего пресловутого лондонского всеведения, о котором тогда говорили столько чудес.

— Ну вот видите, вот и вы сами знаете, ведь у вас все известно! Следят! Даже в Париж отправлены за мной агенты; куда ни выеду, уж так и знаю, кто-нибудь стоит из них и смотрит на меня, и смотрит, так и смотрит! Меня даже знакомые предупреждают все, чтоб я осторожней был.

Он, кажется, несколько * тронут на этом пункте; по крайней мере, когда он мне толковал, что за ним следят, он мне показался мономаном. Кончили мы на том, что он поговорит в Москве, посоветуется, надо подумать; короче, я понял, что с его стороны ждать нечего без энергического содействия Пафнутия и его кружка.

Нужно было писать им. Обыкновенно переписка шла через приезжих, возвращавшихся в Россию; каждый за честь почитал отвезти письмо от нас; даже просили нас давать поручения. Но я все остерегался, все боялся доверить свое дело первому встречному: ** обыск по подозрению на границе мог все погубить. Я ждал верного случая и, на беду мою, дождался...

Тихий и скромный этот человек, Ветошников, никогда и ни во что он не мешался. Был он исправный чиновник прежде, потом стал исправным и толковым помощником агента пароходного сообщения между Петербургом и Гулем, заведывал всеми делами этих пароходов и жениться собирался осенью. С восторгом рассказывал он мне и жене моей о своей невесте, о планах на будущее... Боже мой! Как мне тяжело писать о нем, я столько помучился в эти пять лет, думая об нем...

Он приехал в *** Англию почти хозяином парохода и так же выезжал из Англии. Капитаны, матросы, таможенные чиновники — все его знали, кто стал бы его обыскивать? Он принял корреспонденции, как всякий тогда принял бы; он такой мягкий, такой любящий человек, он не в силах бы был отказаться, если бы захотел отказываться. Он покорился духу времени; что он сделал, то тысячи других делали, он виноват только тем, что подвернулся в недобрый час, когда правительство было так раздражено «Молодой Россией» и пожарами. Впрочем, я сам вижу, что я несвязно пишу. Мне тяжело об нем думать ¹³⁰.

Несколько дней я как убитый был, когда пришло известие об его аресте. Все было потеряно, и все на нас опрокинулось с упреками, с нравочениями. А тут в России шел крик на нас. Было душно, невыносимо тяжело. Бежать стало потребностью, бежать, куда глаза глядят; нужно было за дело какое-нибудь взяться, чтобы в борьбе забыть горе. Нужно было все заново начинать, и я уехал в Турцию, я не выдержал.

*

Сделаю одно маленькое замечание. Мы, в Лондоне, не думали, что появление «Молодой России» и пожары были поворотной точкой общественного настроения. Они нам крепко досадили, как и журнальные статьи, вызванные ими, но мы приняли это за минутный испуг, за колебание, и нам в голову не приходило, что история уже сдала нас в архив, что мы заживо похоронены — привидения прошлого. Я понял это только через год, Герцен же и Огарев год тому назад веровали еще в «Колокол» (я уже год как не переписываюсь с ними и не

* Зачеркнуто: помешан.

** Зачеркнуто: первый арест.

*** Зачеркнуто: Лондон.

вижу их изданий). Я упоминаю об этом обстоятельстве, так как иначе не будет понятен следующий отдел о моем пребывании в Цареграде.

Взгляд наш на «Молодую Россию» высказан был Герценом в «Колоколе»¹³¹. Она, действительно, более смешна, чем страшна, но испугала она потому, что и умеренные люди так же не понимали общественных дел, как нигилисты. Она представилась им манифестом огромного тайного общества из людей, которые могут исполнить свои угрозы, а мы, в Лондоне, разом поняли, что это — произведение полдюжины мальчишек, не понимающих даже, о чем они говорят (религия! брак! императорская партия!). «Молодая Россия» была необходимым следствием неурядицы наших кружков и распушенности их вождей, — в ней, как и во всех тогдашних прокламациях и задорных статейках, все есть, кроме практического знания жизни, людей, а в особенности России. Нынешняя свобода книгопечатания и самоизучение народное навсегда покончили с подобными * последствиями долгого бюрократизма и цензуры, подрывавшими веру и в правительство и во все писанное и печатанное не тайком.

О пожарах я уже говорил. Прибавлю еще, что я не видал даже ни одного нигилиста и ни одного поляка, который даже намекнул бы, что считает пожары средством поднять народ или радуется им, а со мной-то уж и те и другие говорили по совести, ничем не стесняясь. Что пожары у нас принимают страшные размеры, нет ничего удивительного. Вся Россия деревянная, как вся Англия и Франция кирпичные. Давно ли у нас были законы, что крестьяне летом ни стряпать в избах не смеют, ни бани топить? Вся история России — история пожаров, и именно от деревянных построек да от плохого устройства пожарных команд. Общество поверило, что нигилисты поджигают, а прежде верило, что поляки, и что поляки даже колодцы отравляют, чтоб холерой нас выморить. Народ наш только в крайности может заблуждаться, а пожар доводит его до этой крайности, и сложилось во времена самозванцев верование, что так как полякам выгодно у нас неурядица, то они и поджигают — «взбунтовать нас хотят»; а слово бунт у нас вовсе не означает восстания или революции, а просто суматоху, неурядицу, беспорядок, бессмысленное мотание со стороны в сторону (отсюда говорится: козел бунтовщик, пьяница бунтует, бунт и гвалт, как в школе жидовской). Верование в поджигателей поэтому у нас просто-напросто «отеческое предание», воспоминание о Смутном времени.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ **

ЦАРЕГРАДСКИЕ ДЕЛА

Я сказал, что как я ни ожидал катастрофы, но все-таки я не принял происшествий лета 1862 г. за нашу чистую отставку из роли деятелей русской истории. Мне все казалось, что мы еще живы, что мы не призраки прошлого, не тени, что приговор наш еще не произнесен, и потому с полной верой, хотя и с разбитым сердцем, снова пустился в омут политической жизни и ***, забывая, что люди живут не только умом но и преданием, привычкой ****, стал добиваться от них невозможного и даже подчас и вредного для них самих. Вредное — это была поддержка, которую мы давали полякам.

* Зачеркнуто: явлениями.

** На первой странице помета карандашом: «Препроводить в комиссию 4 июля».

*** Зачеркнуто: снова.

**** Зачеркнуто: снова.

В правительстве и обществе полагают, что поляки много содействовали развитию у нас революционного духа: это крайне ошибочный взгляд. Возникновение наших кружков и учения их ни в чем не зависели от польской инициативы; движение, начавшееся в Крымскую войну и дошедшее до своих геркулесовых столбов в 1862 г., было совершенно самостоятельным и неизбежным произведением русской истории и русского народного духа. Постороннее влияние на нас — фантазия.

Десять лет тому назад, когда я посещал С.-Петербургский университет, поляки не сходились с нами, как мы — наш тогдашний кружок — ни старались сблизиться с ними, чтобы позаимствоваться у них всякими запрещенными сведениями. Они так противились этому сближению, что грозили исключением из своей среды каждому, кто только стал бы посещать нас, а мы все тогда были довольно красные. Такое удаление от нас оправдывали они боязнью потерять свою национальную индивидуальность и ослабить ненависть к русским дружбой, общностью интересов и вопросов. Расчет их был верен; замкнувшись в свой мир, они искусственно раздраживали в себе польский патриотизм и искусственно возбуждали в себе непримиримую вражду к нам, устраняли от себя возможность * усомниться в верности своих принципов и, главное, отлично подготавливали себя в будущее агитаторы и повстанцы. Мы же, как ни лестно было нам сойтись с ними, не чувствовали к ним большого уважения за их ханжество, за их легитимизм, — они вечно толковали о договорах XVII и XVIII вв., а нам было это просто смешно. Мы переварить не могли, как в наше время, когда вопросы революционные, социальные и философские не могут не поглощать внимания всех и каждого, когда все кумиры, знамена, алтари попораны в прах мыслью человеческой, как можно в такое время быть легитимистами, толковать о старых границах, о генеалогиях магнатов, о правах папы, о пользе унии, о необходимости благоговеть перед Наполеоном и считать Францию путеводной звездой целого мира. Короче, ни мы поляков не понимали, ни они нас; и это непонимание было так сильно, что даже общая вражда наша к правительству не могла нас соединить. Наше пренебрежение к историческому праву и к народностям казалось им святотатством, а рассуждения о перестройке человеческих обществ, просто-напросто, если не безумием, то лишнюю тратую времени.

Что происходило в Петербургском университете, то самое делалось и во всех прочих, даже во времена студенческих историй, которые вовсе не сблизили поляков с русскими, а скорей перессорили. Русские требовали от них деятельной поддержки, а поляки соглашались дать ее только, когда убедятся, что наши готовы на революцию и имеют средства произвести ее: «Czas», «Gazeta Narodowa», «Dziennik Poznański», «Rzegląd Rzeczy Polskich», «Demokrata Polski» и прочие тогдашние польские органы — все в один голос обвиняли нашу молодежь, будто она была сознательным орудием правительства для погубления польской; будто она хотела подбить поляков на студенческие демонстрации, чтобы скомпрометировать их перед правительством!..

То же самое происходило и в эмиграции. На «Колокол» поляки смотрели, как на правительственный орган, издаваемый с целью показать Европе, что и у нас есть либералы, что мы не совсем-таки варвары, а главное, чтоб поддеть на это поляков: помирить их с нами на либерализме, чтоб потом заставить забыть их свою polskosc. Казалось

* Зачеркнуто: проверить.

им тоже, что либералы русские заманивают их в общее восстание для того, чтобы «русская республика» подавила бы только-что освобождающуюся Польшу. Вообще, поляки и за ними французы и *tutti quanti* убеждены, что все наши реформы только для того и совершаются, чтобы задобрить общественное мнение Европы, привлечь этим к себе Запад, а затем притти и *tout bonnement* завоевать его...

Взгляд Герцена на польский вопрос был ясно высказан в первых номерах «Колокола» и возбудил сильное негодование в польской печати. Поляки никак не могли помириться с мыслью, что союз с свободной Россией будет для них благодетелем, что дело состоит не в историческом праве, а в экономическом быте общества, что все равно, где ни будет центр государства, в Москве или в Варшаве. Так же враждебно относились они к князю Долгорукому и к Бакунину за его «Хлопскую Польшу», и редко, очень редко кто из поляков проезжих или из эмигрантов заглядывал к нам. Мы были совершенно чужды друг другу, — и, я думаю, издатели «Колокола» и теперь должны быть чужды полякам, — по крайней мере, польские журналы очень враждебно к ним относятся.

Но между тем движение в России шло смелей и смелей и уже начало заявлять себя прокламациями. Поляки хоть и не сочувствовали его принципам, но не могли не следить за ним с сочувствием: всякий переворот в Европе ведет к перемещению границ, а переворот в России и подавно не мог бы произойти без влияния на участь Польши. Вдруг, неожиданное явление ободрило их окончательно.

Известно, с каким сочувствием относились в России к Гарибальди. Вопрос о народностях, дотоле незнакомый нам, вошел в моду, сделался предметом исследований и отразился, прежде всего, в теории, что русская народность не одна, а три — великорусская, белорусская и южнорусская. При тогдашней горячности молодежи и при отсутствии всякого государственного смысла в обществе, немедленно явилось заключение, в высшей степени справедливое и в высшей степени не приложимое к делу, что так как нас три народности, то пусть же будет три государства, каждое с своим языком, законами, войском. Эти три государства могут составлять один общий союз, а если им не понравится, то каждое может жить по себе. Новая выдумка, при русской последовательности, пошла дальше: Сибирь по себе, Кавказ по себе, Новгородские земли по себе, бывшее великое княжество Рязанское, Казань, Астрахань, Владимир, Пермь по себе, — словом, вся Россия должна была распасться на исторические группы, с полною автономией каждой, с правом выхода из общего союза когда угодно.

Теория эта была так увлекательна, что я в числе множества других уверовал в нее от всей души. В самом деле, устройся Россия в такую федерацию, уничтожь Турцию и Австрию, все государства Европы исчезли бы мигом, как они исчезали во время первой республики, и вся Европа стала бы одной федерацией естественных групп, которым уже нечего бы было резаться из-за границ или из преобладания, потому что границы их определялись бы этнографически, а недоразумения решались бы европейским конгрессом. Войны быть уже не могло, а стало-быть, и войско становилось лишним, вместе с таможнями, паспортами, консульствами и пр., и пр. И радовались мы от глубины сердца, что мысль эта возникла в России, что Россия покажет пример ее применения и внесет ее в Европу, считающую ее варварской, — патриотизм наш был задет за живое.

Понятно, что при таком учении польский вопрос разрешался сам собою. Польша должна была составить также одну естественную

группу, а к ней ли примкнули белоруссы и малоруссы или к нам, это уж их было дело. Нам казалось, что они именно за нами останутся, потому что они не любят поляков и потому что наши стремления и наши учреждения не могут не превзойти польских.

Но, покуда мы сочиняли эту теорию и обсуждали ее в кружках, поляки решились немедленно привести ее в исполнение. Во-первых, они уже начали верить в искренность нашего либерализма, доказанного ссылками и каторгой, потом они ободрились смелостью нашей печати и прокламаций, да наконец, и сильно заразились нашим оппозиционным духом. Молодежь польская последовала примеру нашей и * мигом превратилась в государственных людей, в дипломатов, в отцов отечества и вождей народа. Но наши не выходили из скромных пределов революционерствования на словах и делания восстаний в мечтах; наши не были годны ни к [ка]кому предприятию по своей распушенности (и даже трусости), а поляки выросли на преданиях о демонстрациях, о битвах, о заговорах: редко у которого в родстве нет ссыльного или эмигранта. Мы готовили себя в философы, поляки — в деятели. Мы были болтливы, как дети, поляк каждый умеет молчать. Для нас фраза шибкая да идея новая — величайшее удовольствие, и дальше мы ничего не хотим, только бы удалось порисоваться; а у поляка вся мысль сосредоточена на восстановлении Польши в границах 1772 г.: это завет отцов его; этому мать на смертном одре заклала его служить; за это его *kochańka* руку ему отдаст; и, покуда мы собирались делать, он уже принялся за работу и поднялся, ни к селу ни к городу, демонстрации, которые, вместо того, чтобы ободрить, образумили нас, и вместо того, чтоб восстановить его Польшу, окончательно ее погубили¹³².

Тяжелое впечатление произвели они на нас в Лондоне. Телеграмма о первой свалке в Варшаве пришла к нам в утро праздника, который Герцен устраивал в честь освобождения крестьян. Не будь демонстрации, мы бы давно воротились с повинной...¹³³

*

В польской эмиграции началось движение. Вожди ее, привыкшие считать себя вождями народа, были крайне обижены, что Польша зашевелилась без их спроса и что центральный комитет состоит из молодежи, по образцу наших кружков, людей ни родом не именитых, ни заслугами известных. Чарторыйским, Замоискому¹³⁴, Мерославскому¹³⁵ пришлось заискивать у центрального комитета расположения и полномочий, чтоб не утратить своего влияния, а центральный комитет относился к ним так же презрительно и свысока, как наше «молодое поколение» к старшему, опытному, знанию жизни и навыку к делам оно в грош не ставило. События в Польше были подражанием тому, что происходило в России, но подражанием ** энергическим и не ограничивавшимся фразами.

Польская эмиграция начала делать попытки к сближению с нами. Первым явился полковник Сигизмунд Иордан, краковский уроженец, выходец с 1846 г., участвовавший в Венгерской и Крымской кампаниях, брат агента Чарторыйских в Цареграде, Владислава, о котором много придется говорить ниже. Сигизмунд Иордан имел большие связи при разных дворах, особенно при стокгольмском, где он впоследствии делал демонстрации против России, и приехал к нам разузнать наши взгляды и, если возможно, сойтись с нами. Герцен и Огарев изложили ему свою систему, он возразил на нее только то,

* Зачеркнуто: тоже.

** Зачеркнуто: более.

что для приведения ее в исполнение надо, прежде всего, справиться с правительством, что поляки потому и не предпринимают никаких внутренних преобразований, что лишены возможности* совершить их так широко, как бы хотелось. А из этого выходило, что, будь Польша восстановлена, она мигом бы приложила к практике все новейшие теории и сделалась бы рассадником всех идей и свобод для человечества, — короче, он говорил то самое, что можно услышать от каждого серба, чеха, венгерца, покуда они добиваются политической само-



К. Т. СОЛДАТЕНКОВ

Фотография

Исторический музей, Москва

стоятельности, и чего никогда не видно у народов, недавно добившихся ее, у румунов** или у греков с теми же сербами. Говорил он ловко, толково, судил о современных вопросах без всяких предубеждений и, намекнув, что польское дело и наше — дело общее, уехал куда-то, оставив в нас очень выгодное по себе впечатление.

За Иорданом другие стали являться — Браницкий¹³⁶ с*** Хоецким¹³⁷, Падлевский¹³⁸, наконец, Владислав Чарторыйский¹³⁹. Более

* Зачеркнуто: приложить.

** Так в подлиннике.

*** Зачеркнуто: Хоевским.

всего интересовало их знать, готовы ли мы на революцию, сильна ли наша партия и как мы сможем на польский вопрос; мы ничего не скрывали, потому что и скрывать было нечего. Вести из России, доходившие до нас, были вообще тревожные. Крестьяне не хотели подписывать уставных грамот, ждали «полной воли», искали «золотую грамоту». В войсках было брожение, офицеры сходились с солдатами и с народом, и со всех сторон неслись слухи, что за таким-то целый уезд, а за таким-то и целый город встанет. Молодежь наша из себя выходила, толковала о революциях и баррикадах; «Молодую Россию» никто не хвалил, но думавших одинаково с нею было множество; ей только в вину ставили, что она разболтала то, о чем молчать следовало. Польские демонстрации находили себе первое время большое сочувствие. Русским было стыдно, что у них нет такой смелости и влияния, как у поляков, что они не могут двинуть толпы, но общее мнение говорило, что, дойди у поляков до дела и придвинься их ожидаемое восстание к границам наших великорусских губерний, то и мы встанем. Полякам самим никто не доверял, на их либерализм мало рассчитывали, но довольны были их почином, который давал возможность произвести взрыв и направить его к разрешению экономических вопросов. Вообще по всему, что до нас доходило, мы не могли не прийти к заключению, что революция неотвратима и что на ее стороне будет войско, мещанство и крестьянство, не считая уже образованного меньшинства. Революция эта нас не радовала, — я выше сказал почему, — но мы понимали, что, в случае ее взрыва, нам нельзя будет ограничиваться прежней пропагандистской ролью, и я опять настаивал, чтобы Герцен выступил вождем, — он смягчил бы ее ужасы *, предотвратил бы лишнее кровопролитие и ** направил бы ее к возможно лучшему исходу.

Герцен с Огаревым раздумывали, Бакунин не утерпел и поехал в Париж знакомиться с поляками¹⁴⁰. Поляки сообщили ему, что они сами побаиваются взрыва и что одна у них надежда и есть — сочувствие к ним наших офицеров и солдат в Царстве Польском, между которыми уже завязался революционный комитет, состоящий в связях с их «центральным». Трое из членов этого русского комитета (Фенин¹⁴¹, ...**и...**) бежали перед тем в Париж, и они сообщили Бакунину, что наши войска ждут не дождутся восстания... Я видел проездом через Париж, в сентябре 1862 г., этих трех юношей, — старшему было едва ли более двадцати лет; это были почти кадеты, да вдобавок и очень недалёкие. Бакунин немедленно выписал в Лондон главу этого русского комитета — Потебню¹⁴², скрывавшегося тогда в Познанском воеводстве, но разъезжавшего постоянно по всему Царству Польскому для организации восстания русских войск.

Я видел его только раз. Он приехал в Лондон, когда я сидел у Бакунина, и слышал его **** рассказы о происходящем в Польше. Он говорил, что положение русского комитета в крайней степени затруднительно, потому что он почти не в силах удержать восстания наших войск. Недовольство правительством, говорил он, превосходит всякое вероятие. Солдату совесть запрещает разгонять толпы, идущие за духовенством с крестами, со свечами, с пением молитв. Начальство держит его всегда наготове, это его раздражает и заставляет желать, чтоб поляков не вынуждали к демонстрациям, а неумеренные и неосторожные офицеры внушают ему, что не будь начальства, не будь

* Зачеркнуто: остановил.

** Зачеркнуто: привел бы.

*** Пропуск в подлиннике.

**** Зачеркнуто: первые.

у правительства прихоти насилем держать в подданстве поляков, то и солдатам было бы легче и наборов было бы у нас меньше. Да и многие тогда говорили: «Не полякам нужно от нас освободиться, а нам отвязаться от них»...

Рассказы Потебни окончательно убедили Герцена и нас всех, что дело идет положительно не на шутку; это окончательно решило вопрос о предводительстве. Он вошел в сношения с центральным комитетом¹⁴³ и с русским, получил от них известные адреса, возбудившие такую полемику¹⁴⁴, и стал организовывать общество под названием «Земля и воля», как окрестил его Огарев¹⁴⁵. Что это было за общество, где оно было и насколько имело влияния, я ничего не умею сказать, хоть и был его агентом в* Цареграде, был уполномочен собирать на него вклады, на что у меня и квитанции даже были, очень красиво отпечатанные, распространял его прокламации и, вообще, считал себя обязанным ему повиновением. Оно соорганизовалось по моему отъезде, и все мои сношения с ним ограничивались перепискою с Герценом и с Огаревым.

Установившаяся, таким образом, связь наша с поляками, которую они покупали за весьма тяжелые для них уступки**, обратила внимание и прочих благоприятелей России. По случаю всемирной выставки приехала в Лондон та особа, которую я назвал перед высочайше учрежденной комиссией, но имя которой считаю лишним передавать бумаге (*litterae trahunt*), и изъявила желание видиться с Герценом, Огаревым и Бакуниным***. Устроился завтрак, на который были приглашены и польские знаменитости; за завтраком много толковалось о прогрессе, о священных принципах 1789 г., о мученичестве поляков, о свободе и, словом, обо всем, как следует. Затем было ясно выражено, которое именно правительство держит сторону прогресса, содействует ему всеми зависящими средствами и готово помогать делу цивилизации Восточной Европы, даже при помощи своих консулов, которым будет предписано передавать наши прокламации, кому мы укажем, а посылать их, равно как и всю нашу корреспонденцию, мы можем через министерство иностранных дел. Герцен благодарил за обязательность, Огарев, по обыкновению, молчал и конфузился, Бакунин ораторствовал и развивал какие-то экономические и революционные теории¹⁴⁶.

— Ну, что ж вы сделаете с этим предложением? — спросил я Герцена вечером того дня.

— Ничего не сделаю. Поблагодарил и довольно, нельзя же мешать в нашу домашнюю распрю с правительством иностранцев.

— Само собой разумеется, — отвечал я, — свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Дать возможность чужим запускать лапы в наши домашние дела, это значит готовить себе участь всяких индейцев и туруков.

Замечу кстати. Мы никогда и ни в чем не прибегали к помощи иностранных правительств; это делалось не скажу, чтобы по расчету, а как-то**** инстинктивно. Нас отталкивало от них та *pruderie*, которая заставляет честного человека молчать о своих семейных дрязгах и не позволяет ему допускать посторонних мешаться в домашние ссоры. Бени как-то устроил, что «Колокол» можно было пересылать ему через английское посольство в Петербург, — мы не посылали. Если мы

* Зачеркнуто: Константинополе.

** Адрес центрального комитета Герцену и полемика по этому адресу [примеч. Кельсиева].

*** И с князем Долгоруковым, если память мне не изменяет [примеч. Кельсиева].

**** Зачеркнуто: по инстинктивному отвращению.

с поляками входили в сношения, то только потому, что принадлежали к одному государству с ними и искренно желали сбыть с рук это несчастное Царство Польское, стоявшее нам бездну крови, денег, неприятностей и вечно вводившее нас в столкновение с Западом. Царство Польское — как вытягивающая наши лучшие силы мозоль, которая шагу нам ступить не дает. И западные правительства очень хорошо знают это; они никогда не решатся сделать нам ампутацию этой язвы, они знают, что мы бы разом вдесятеро здоровей и сильней тогда стали; поэтому им и выгодно растравливать наше больное место и поддерживать в нем болезненное воспаление. А отступить нам от него нельзя, отдача его Пруссии была бы уголовным преступлением против нашей истории, изменою славянству; отдача Австрии только запутала бы дело, потому что мы стоим накануне раздела Австрии, как сто лет тому назад стояли накануне раздела Польши. Это может показаться фантазией, но ведь и в 1767 г. каждого, кто * предвидел неизбежность раздела великого королевства польского, называли бы сумасшедшим.

Я говорю слишком смело, — это, может-быть, окончательно меня погубит, но было бы бесчестно с моей стороны утаивать от правительства те заключения, к которым я пришел в эти долгие пять лет пристального изучения наших отношений к нашим соседям. Если я погибну за мою откровенность с ним, то пусть же я погибну с сознанием, что я исполнил свой долг. Придет время — лет через сто, через полтора, — моя исповедь вынырнет из архивов и явится на суд тогдашних историков. Может-быть, они найдут, что я ошибался, что я не понял событий нашего времени, но они признают за мной, что я искренно хотел блага России и что, находясь в четырех стенах этого № 4, за железной решеткой, я меньше о себе думал, чем об разъяснении правительству путей, которыми оно, по моему крайнему разумению, может вести ко благу наше огромное государство. В этих трех последних отделах мне почти исключительно придется говорить об его недосмотрах и ошибках; может-быть (люди всегда люди), даже между судьями моими я за это найду врагов, но зато совесть моя будет чиста, долг будет исполнен, а поколения, которых я не увижу, помянут меня именем честного человека.

Сбыть с рук Польшу нельзя, немечить ее вредно, обрусить невозможно, а оставить как была даже немисливо, — остается, волею-неволею, одно: сделать ее истинно славянской, т. е. повернуть стремления ее образованных классов к слиянию с нами [в] одно всеславянское государство. Препятствие к этому, [как] и правительством уже замечено, состоит в католическом духовенстве. Но зачем же это духовенство набирается у нас исключительно из поляков? Разве нельзя замещать вакантные места хорватами, словаками и чехами, которые все панслависты? Иосиф II с большим успехом прибегал к этой мере с целью германизации Австрии, а мы могли бы этим же самым славянить Польшу, что было бы и разумнее и выгоднее онемечивания ее, которое теперь совершается зачем-то на левом берегу Вислы, так что славяне-протестанты лишаются даже права молиться по славянски. В Польше католицизм, и отменить его нельзя; но в католицизме есть пропасть разных обрядов, кроме латинского, и правительство, не трогая веры, может понудить Рим предписать замещение этого обряда если не нашим, то хоть глагольским, существующим до сих пор в Далмации¹⁴⁷; а глагольский обряд все же славянский и все же шаг к слиянию с нами и с прочим славянством, которое будет крайне довольно

* Зачеркнуто: предсказывал.

этой мерою, о которой уже сами хорваты (в лице епископа Стросмайера¹⁴⁸) сильно мечтают. Что же касается холмской епархии и наших западных губерний, то правительство может уже без церемонии превратить все тамошние костелы в униатские церкви, провозгласив, что где сельское население русское, там и обряд должен быть русским. Все дворянство западных губерний из православия через унию перешло в католичество, воротим его в унию, и оно из католичества перейдет в православие; оно само будет радо предлогу развязаться с Польшей, не насилуя своей совести. Уния в западных губерниях разом заставит тамошних католиков забыть польский язык и польские интересы и разом разрешит вопрос о русских землевладельцах в этом крае, разрешит прочнее и вернее, чем грозящая нам опасность — в случае войны с Пруссией — продажа тамошних имений немцам или колонизация Жмуди немцами. Пусть правительство отрежет от Польши Западный край и начнет славянить Польшу — повстанья сделаются сами по себе невозможны: крохотная Мазовия не в силах будет одна бороться против целого славянского мира, она сама будет искать возможности утонуть в славянстве. Ниже мне не раз придется обращаться к этому плану, выработанному мною при помощи самих же поляков и католического духовенства австрийских славян*.

*

Тревожные ожидания, необходимость заводить новые связи и расширить наше влияние на старообрядцев, надежда заинтересовать в нашем деле липован, наконец, желание осмотреть, на что можно и на что нельзя рассчитывать, — все это, вместе с досадой на неудачный исход поездки в Россию, заставило меня ехать в Турцию и в дунайские княжества, где живет огромное множество русских и откуда я надеялся устроить сношения с Петербургом и с Москвой. В конце августа 1862 г. я отправился через Булонь в Париж, где и остановился, чтобы собрать кой-какие предварительные сведения о том, что меня там ожидает. Бакунин дал мне письмо к капитану Косиловскому, секретарю польской батинольской школы, приближенному Чарторыйских, Замоиского, бывшему в англо-польском легионе и показавшемуся Бакунину почему-то очень важной особой. Косиловский сообщил мне все, что мог, рассказал мне об черкесских и липованских отношениях к Hôtel Lambert¹⁴⁹, и я отправился в Марсель, не сделав и не видев в Париже ничего, что бы могло быть упомянуто в этих листах. Разве то могу рассказать, что какой-то крайний социалист затащил меня к Мерославскому, у которого я просидел с час и вышел от которого пораженный его ничтожеством. Вот что отвечал Мерославский моему приятелю на предложение пропагандировать в Польше не историческое право, а коммунизм — в этих словах Мерославский рисуется весь, со всем его пошлым тщеславием и вопиющим самолюбием. Недаром поляки говорят про него, что, давая ему даром Польшу, он ее взять не захочет, — для него Польша — средство показать свои военные дарования. Итак, этот великий военный писатель, вечно разбиваемый в деле, отвечал следующее:

— Э, что вы говорите! Разве я не разделяю взглядов коммунистов? Разве я не хочу сделать Польшу коммунистической общиной? Только пропагандой ничего сделать нельзя, пропаганда — вздор. Вот другое дело, когда я на коне, около стремени моего все эти князья, графы, магнаты, а сзади меня пушки и штыки, — тогда я вам мигом, в один день, сделаю экономический переворот. А пропагандой ничего

* Приложение I.

сделать нельзя, с ней трата времени, — как прикажете вдалбливать в голову всем этим аристократам новые принципы? А будь я на коне, и вейся они около моего стремени — дело другое. Пушкины убеждают удивительно, они проповедуют красноречивей всяких Демосфенов, и когда они стоят за вами, а эти магнаты лебезят около стремени...

Я не утрирую. Мне врезалась в память эта лелеемая им мысль быть на коне и видеть у своего стремени магнатов. И это предводитель! Вот до какого отупения доходят в эмиграции.

Из Марселя я выехал 20 сентября и 4 октября был уже в Цареграде, побыв в Спарте, на острове Сире и в Смирне. Капитан парохода и пассажиры считали меня за черкеса и научили, как пробраться в город, не показывая паспорта (на имя Яни, с которым я был в России), так как я не был уверен, что наше посольство не примет мер к моему арестованию и так как поляки мне ужасы рассказывали об его деятельности. Первый визит мой был сделан полковнику Владиславу Иордану, тогда агенту Чарторыйских, а впоследствии посланнику «народного правительства» (Rzada narodowege). У меня было письмо к нему из Парижа, от его брата Сигизмунда, и он меня ждал.

Полковник Иордан был тип польского эмигранта-дипломата. Он участвовал в Краковском деле 1846 г.¹⁵⁰, потом в Венгерской кампании; в Крымскую войну вступил в турецкую службу и оставался в ней, кажется, до 1863 г. Он имел состояние, построил себе дом в одном из предместьев Перы (Фери-Кей) и был хорошо принят в французском и английском посольствах, хотя у него я не встречал никого из членов этих посольств. В Париже мне отзывались об нем, как о человеке, пользующемся большим влиянием на Порту, а в Цареграде много шептались об его связях и значении. Сам он держал себя * высоко, намекал на важность дел, которые ведет, имел секретаря для ведения переписки, и мое первое впечатление было в пользу ловкости и порядительности поляков. То же самое испытывает каждый новичок, входящий в круг эмиграционных деятелей.

Прежде всего, Иордан дал мне совет быть как можно осторожней. «Русское посольство окружит вас шпионами, если узнает, кто вы, — говорил он мне. — Начнете вы что-нибудь делать, вам подосллют отравителя или наймут первого грека из Галаты (нечто вроде Сенной), и он вас приколет на улице. Ночью остерегайтесь даже мимо ворот посольства и консульства проходить, — вас могут схватить и потом отправить в Россию...» Не верилось мне, но, на всякий случай, я стал осторожней. «С поляками, ради бога, не сближайтесь, — это все дрянь, одичавшая в эмиграции, болтуны, интриганы...». Я и в этом послушался, вполне полагаясь на опытность моего Виргилия в цареградских делах.

У поляков были сношения с черкесами и с старообрядцами; нужно было узнать, в чем они состоят и нельзя ли воспользоваться ими для успеха нашего, тогда уже ** революционного дела. Для ясности я расскажу сперва, как мне не удалось ничем воспользоваться от черкесов, а потом уже, как я ничего не мог сделать с старообрядцами, хотя даже и поселился потом между ними в Добрудже.

*

Начну с первых польских шагов на Востоке ***.

Очутясь в 1833 г. эмигрантом, князь Адам Чарторыйский¹⁵¹ ску-

* Зачеркнуто: довольно.

** Зачеркнуто: почти.

*** Вместо зачеркнутого: Начну с первых связей польской эмиграции с Кавказом.

чал и досадовал, что ничего не может сделать для Польши. Талейран недоумил его. «Князь, — сказал он, — дело Польши — дело Западной Европы. У нас и у вас враг общий, но мы плохо знаем его средства вредить нам. Очевидно, что он силен преобладанием своим на Востоке, но что он там делает и что затевает, мы никогда не можем понять, потому что мы знаем Восток только по донесениям наших консулов и послов, а вам известно, что большею частью эти люди попадают на свои посты по протекции и по случаю, без всякой предварительной подготовки. Чтобы следить за русскими интригами, мало быть * хорошим французским патриотом и исправным чиновником, надо знать коротко русских, их манеры, привычки, цели; надо знать их самих, как вы, поляки, их знаете; а чтоб бороться с ними, нужны люди, закаленные в борьбе и привычные к ведению тайной агитации. Вот, по-моему, миссия польской эмиграции, и пусть она, *au nom de la civilisation et de sa propre cause*, возьмется за дело».

Совет был дельный, оставалось найти агентов. Чарторыйский сблизился с турецким посольством, и его ** креатура, Решид-Эффенди¹⁵², стал быстро подвигаться по службе, пока не сделался, при поддержке европейских дипломатов, великим визирем. Молодой бердичевский помещик, русский по происхождению, униат по вере, литератор, фантаст, Михаил Чайковский¹⁵³ выпросился в агенты на Восток.

— Я приехал в Цареград, — рассказывал мне Чайковский (ныне Садык-паша), — без всяких рекомендаций, а взял драгомана и отправился прямо к тогдашнему великому визирю. Меня приняли, у турок принимают всякого, я сел и сделал такое заявление о себе: «Польский шляхтич не нуждается в рекомендациях, являясь к турецким министрам. И мы и турки — народ воинственный, рыцарский, благородный, а враг у нас один: подлый, деспотический, интригующий москов. Я приехал сюда помогать моим братьям-туркам в их святой борьбе против этой змеи, поэтому и явился к вашей светлости предложить мой союз».

Великий визирь удивился, согласился, и Чайковский был официально утвержден в звании польского агента с жалованьем от правительства, которое он и до сих пор получает, хотя уже перессорился с поляками и не мешается в их затеи против нас. Его честолюбие удовлетворилось, кажется, командованием двух польских полков — казацкий и драгунский, — да и мечты его быть гетманом в Малороссии или, по крайней мере, в Добрудже, *** я думаю, разлетелись. Но в прежнее время, до 1850—1851 гг., он был чрезвычайно досужлив. Он первый ввел поляков в французские консульства, в службу *Messagerie Impériale*, и ввел так удачно, что едва ли есть в Турции одно французское консульство или одна контора *Messagerie*, при которых бы не было поляка, если не секретарем, то рассыльным, домашним учителем, другом дома — чем бы то ни было. Французский консул редко знает турецкий язык и местные отношения, редко он и способным человеком бывает, потому что нет возможности набрать способных людей на эти места. Но поляк, который им руководит, всегда человек бывалый, прошедший огонь и воду и медные трубы, участвовавший в десятках заговоров, бегавший из тюрем, близко знакомый с недостатками паспортных систем и с слабостью надзора над границами. Понятно, что скромный чиновник, мирный гражданин, какими бывают обыкновенно консулы, не преминет быть орудием в руках опытного и отважного эмигранта, который ничем не дорожит, потому что

* Зачеркнуто: способным.

** Зачеркнуто: друг.

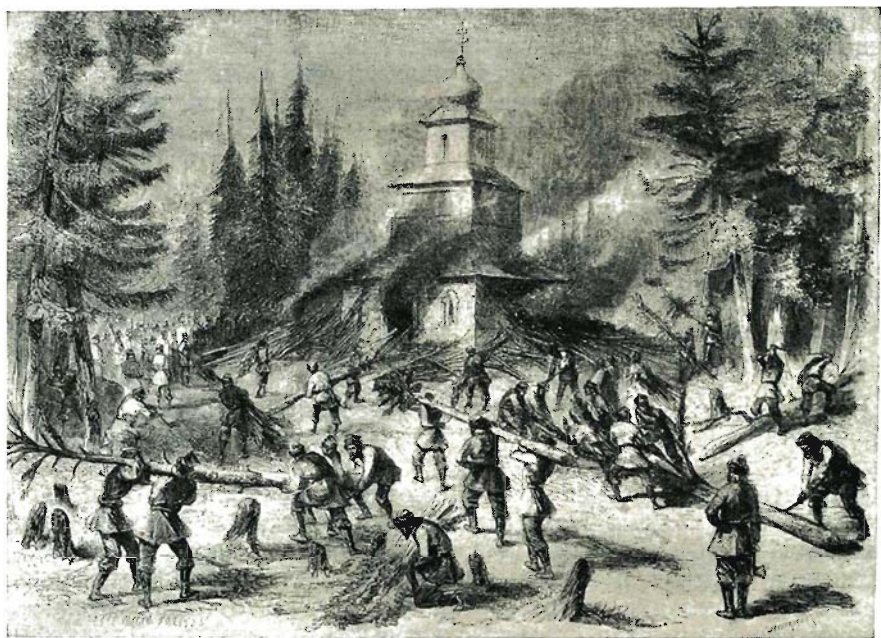
*** Зачеркнуто: очевидно.

и терять ему нечего, потому что он привык и к потерям и к кочевой жизни. Все местные сведения собираются через эмигрантов и невольно приходят в Париж в смысле, враждебном России; зато и все сведения о современных политических событиях сообщаются болгарам, сербам, грекам и даже туркам в таком же искаженном виде: Франция представляется единственной охранительницей угнетенных народностей; она бы сильнее стояла за них, если бы ей не мешала Россия, которая подбивает их против турок, чтоб обречь их на участь Польши. Наполеон Европою управляет, он запрещает России завоевать Турцию, он предписал России освободить крестьян, он ждет только удобного времени, чтоб объявить ей войну для освобождения Польши etc. etc. etc. ... Простонародье, веками привыкшее смотреть на нас, как на своих освободителей, не волнуется этими рассказами, но они сильно действуют на передовых людей из болгар, сербов и греков. Газет они сами не читают, о Европе понятие имеют смутное, двери русских консульств им обыкновенно заперты, чиновники русские избегают их, чтобы не навлечь на себя неприятностей из Петербурга, стало-быть, волей-неволей приходится верить полякам. Доверие к России теряется, молодежь едет учиться в Австрию и во Францию, потому что получение паспорта на Запад не навлекает подозрения в симпатиях к России, а кто прожил несколько лет между французами и поляками, тот уже неизбежно становится нашим врагом. Да, наконец, даже и другом-то нашим быть опасно. Доброе слово за нас мигом доходит до французского, австрийского и иногда до английского консула, а от них препровождается в официальном отношении паше, с укором ему, что он не блюдет за интересами Турции, терпя русских агентов и русскую пропаганду; и обвиненному не избежать, по меньшей мере, неприятностей.

Мер против такого порядка дел наше правительство не приняло и не принимает никаких; а между тем, мы живем в веке, когда хорошие отношения между правительствами вовсе уже не обуславливают хороших отношений между народами. Прежде дело дипломатов было очень просто, — стоило расположить к себе такой-то двор, чтобы обеспечить в нем союзника или добыть у него провинцию. Но, с тех пор, как возникла мысль о народностях, как *suffrage universel* был не раз приложен к делу, обстоятельства совершенно переменились. Теперь мнение об нас каких-нибудь молдавских лавочников, болгарских огородников и сербских каменщиков и свинопасов вовсе не так мало значит, как в прежнее время. Запирая им двери в наши консульства во имя трактатов и из вежливости к Порте, мы силой заставляем их прибегать к помощи французов, которые если и ничего не делают для них, то, по крайней мере, обещают им сделать, а люди в нужде слепо верят всяким обещаниям. Сторонясь от них, не вступаясь за них, «потому что из Петербурга нет на это предписаний и полномочий», наши консулы возбуждают горький ропот на наше правительство в единоверных нам населенных. «Что они у вас за трусы, за эгоисты, — говорят славяне, — чего они отреклись от нас, как от нечистой силы! В гости к нам не ходят, к себе не принимают! Отчего французский консул, к которому приходишь за делом, всегда и расспросит, и посоветует, и обещает сделать, что может, а к русскому идешь как-то даже со страхом, точно к судье или к начальнику; с турками легче иметь дело, чем с русскими консулами!». И этот упрек можно слышать и в Австрии, и в Англии, и где угодно, даже вовсе не от каких-нибудь угнетенных народностей, а просто от русских же. Тогда как всякий американец, итальянец, пруссак, заброшенный slučajем на чужбину, смело входит в свое консульство, зная, что в нем

он всегда найдет и помощь и поддержку; русского в нашем консульстве принимают свысока, даже грубо, и шага лишнего для него не сделают, особенно если он в беде и незнатен.

Разумеется, что поляки пользуются этой чопорностью наших дипломатов, которые не устаивают никого своим знакомством, и сочиняют про них, что душе угодно, вперед зная, что тем не предписано действовать самостоятельно в пользу России. И вот, умри какой-нибудь поляк или болгарин-католик, действовавший во вред нам, — русский консул его отравил; сделайся пожар у Иордана или у Чайковского, — русское посольство подожгло; крикни пьяный грек на улице против турок или случись в Яссах демонстрация (как 3 апреля прошлого года)¹⁵⁴, — русские подбили. И ширится пропаганда против



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ ПОДЖИГАЮТ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

нас, против православия, ширится с таким успехом, что нас и защищать никто не осмеливается, — словом, дело идет точь в точь, как шло в западных губерниях до повстанья. On nous traite en canailles, а мы важничаем, соблюдаем церемонии! Турция с давних времен смеется нам под нос, укрывая и поддерживая наших отъявленных врагов, а мы в острог сажаем каждого болгарина, сербина или грека, который дерзнет бежать в Россию без паспорта, укрываясь от политического преследования. Французы, англичане, немцы ругают нас, на чем свет стоит, в газетах, издаваемых в Турции, болгаре обязаны ругать нас в своих газетах, а мы даже подумать не удостоили о заведении в Цареграде нашего органа. Православие чуть что не преследуется католической и протестантской партией, костелы и кирки распространяются повсюду, а мы не только ни одной русской церкви не завели (я не считаю домашних), даже поддерживаем фанариотов¹⁵⁵, даже католическую пропаганду в Боснии терпим, а в Болгарии униатскую. Я далек от обвинения в этом нынешних деятелей нашей дипломатии, вина не их, — они унаследовали эти порядки от не-

мецкого министерства графа Нессельрода, которое было совершенно иностранным для России, как и предшествовавшие ему министерства Каподистрии¹⁵⁶ и князя Адама Чарторыйского, убившие с таким успехом все, что было сделано Петром для нашей морской торговли и Екатериной с Потемкиным для нашего влияния на Востоке. Зло входит в привычку, делается незаметным, и легче указать его, чем исправить, я и указываю на него вовсе не в укор, а в надежде и в полной вере, что правительство оценит побуждения, руководящие меня быть с ним откровенным.

Зло покуда исправимо. Пусть консулам нашим будет предписано не стеснять себя старыми инструкциями, а делать все, что покажется им выгодным, для привлечения к нам православных и прочих славянских народностей Турции и Австрии. Пусть им будет разрешено позволять себе все, что позволяют французские и австрийские консулы, а чиновникам их пусть вменено будет даже в обязанность облизываться с местным населением. Пусть повышения в чинах и в службе хоть по принципу будут производиться за действительную пропаганду любви к нам, а не за умеренность и аккуратность, — и дело отлично пойдет. Нам нечего быть застенчивыми, — французы и прочая братия вовсе не церемонятся с нами, и чем скромнее мы держим себя, тем нахальней они становятся.

Из наблюдений моих над недостатками нашей современной консульской и посольской деятельности я вывел несколько правил, которые и прилагаю на отдельном листе* в надежде, что правительство не оставит их без внимания.

*

Чайковский не ограничился этим введением поляков в французский дипломатический корпус, он занялся** созданием федераций всех враждебных нам элементов, начиная с черкесов.

Черкесы издавна были в тех же отношениях к Турции, как поляки ко Франции. Улицы Цареграда вечно кишели горцами, князья их ездили в Цареград, как*** в Париж, учились там мусульманству, собирали политические новости и заискивали покровительства дивана. Чайковский сошелся с ними, растолковал****, что поляки — их естественные союзники, стал посылать в горы своих агентов. Трудно было дикарям понять разницу между урус и лехли: пленных они одинаково обращали в рабство, не разбирая их происхождения и разницы между православными и католиками, а лучший из агентов Чайковского, знаменитый *Le Noir* (не помню его настоящего имени), был ранен в горах каким-то армянином, вероятно, хотевшим его ограбить, по словам же Чайковского подосланным русскими. Но наущения турок и обещание помощи поляками все-таки поддерживали в горцах надежду отстоять себя от нас; изредка им посылалось оружие, складчины делались в их пользу... Мало-помалу связь эта так окрепла, что, если не ошибаюсь, в 1848 г. черкесы посылали адрес за адресом князю Адаму Чарторыйскому с просьбою или самому сделаться их султаном или дать им в султаны кого-нибудь из своих сыновей. Эти адреса, равно как и пропасть других, я сам видел в архиве *Hôtel Lambert*. Но Чарторыйский мало ценил связь с черкесами, не дал им султана и — что, может-быть, величайшая его ошибка — не отправил на Кавказ ни легионеров 1833 г., ни корпус Бема 1849 г.¹⁵⁷ Почему все

* Приложение II.

** Зачеркнуто: организаций.

*** Зачеркнуто: мы.

**** Зачеркнуто: им.

эти выходцы попали в Алжир, а не на Кавказ, я не знаю, и никто не мог мне объяснить. Иордан, Чайковский, Костельский (Сефер-паша)¹⁵⁸, Михайловский, Жуковский, Косиловский и прочие поляки, коротко знакомые с ходом цареградских предприятий, как-то глухо отзываются, что в Париже мало верили в пользу и в практичность поддержки Кавказа. В Крымскую войну, как поляки ни настаивали, чтобы союзники заняли горы, их не послушали. Экспедиция Лапинского¹⁵⁹ тоже не принесла толку как по своей малочисленности, так и по желанию участвовавших в ней венгерцев подслужиться русским сдачею им гор...

Чайковский разошелся с Hôtel Lambert, Костельский* оказался почему-то неспособным к службе, и Владислав Иордан сделался представителем польских интересов. Человек самолюбивый, мстительный, интриган по склонности, — словом, польский выходец, заматоревший в сплетнях и в дразгах, он оказался на поверку неспособным ни к чему серьезному и навлек на себя ненависть всех цареградских поляков, с которыми обходился с высоты своего дипломатического величия. Но с черкесами ему удалось сойтись, может-быть, потому, что он имел мало личных столкновений с ними. Князья черноморских племен бывали у него часто, и ему удалось убедить их в необходимости союза между собой. Из убыхов, абадзехов, абазы, натухайцев, шансулов... из семи племен этого берега было предложено составить федерацию по образцу швейцарской, и для этого даже конституция швейцарская была переведена на турецкий, в руководство будущим федералистам...

Дело, впрочем, не клеилось. Горские князья вечно интриговали друг против друга, а будущие кантоны резались напропалую из всяких пустяков. Но, тем не менее,** уже начинало проникать в массы сознание пользы союза, для которого даже и герб был сочинен, три белых стрелы и семь звезд на зеленом поле, что выходило очень красиво, и во время повстанья уже присоединялось к польскому орлу, литовскому всаднику и украинскому Михаилу Архангелу, в знак*** союза двух утешяемых нами народностей.

Во время демонстраций, которые, очевидно, вели к восстанию, Иордан стал энергичнее вести дело. Он придумал отдать черкесское дело на суд Европы и ввязать нас в неприятности с Англией, рассчитывая, что Англия не упустит занять горы, эту естественную нашу крепость, и затеет с нами войну. Известно, чем окончилось подписание его protégés адреса королеве Виктории, — в парламенте пошумели, в газетах поговорили, и черкесский вопрос забылся в Европе¹⁶⁰. Но на Кавказе он произвел впечатление: наши войска стали действовать решительнее, и весной 1863 г. все интересовавшиеся в Цареграде политикой сходились в редакцию либеральной (и потому антирусской) газеты «*Courrier d'Orient*» посмотреть записки, прибитые гвоздями к груди повешенных черкесских стариков по взятии какого-то аула. На этих окровавленных лоскутах было написано: «Отправляйтесь к английской королеве!». Криков и ужасов было много, особенно со стороны французов, которые au nom de la civilisation то же самое, даже и почище, делали в Алжире, и я тогда же понял, что Иордан заслуживает Станислава на шею от нашего правительства за то, что понудил

* Костельский — уроженец познанский, выдает себя за графа и за побочного сына покойного прусского короля. Человек в высшей степени светский, он учит турок европейским манерам, устраивает праздники для посланников, jokeu snob для пашей и т. п. [Примечание Кельсиева.]

** Зачеркнуто: идея необходимости союза.

*** Зачеркнуто: искренности.

нас ускорить покорение Кавказа. Летом того же 1863 г. он отправил на Кавказ экспедицию из поляков и французов, нелепейшим образом составленную, но стоившую огромных денег. Предводителем ее был полковник Превлодский (Przewloski), а секретарем ее — некто Сливовский, впоследствии сделавшийся моим приятелем¹⁶¹. Он теперь в Молдавии и пишет для меня рассказ о похождениях их партии в горах. Если я буду иметь возможность, я доставлю и его исповедь правительству, — она тоже пояснит быт политических трущоб, в которые высокопоставленные лица даже и возможности не имеют заглядывать.

Перейду к моим сношениям с горцами. Иордан познакомил меня вскоре по приезде моем в Цареград с Измаил-беем, сыном некогда знаменитого Сефер-паши, добрым, но очень глупым малым, жалким потомком славных отцов. Затем явились и депутаты, возившие адрес королеве Виктории.

Идея адреса мне была не по вкусу. Я был федералист, и если признавал право горцев на независимость от нас, то никак не мог согласиться на их подчинение Англии. Я это им прямо высказал, объясняя, что англичане не даром же, не для преграждения русских завоеваний дадут им чаемую помощь. Оказалось, что они об этом и не подумали.

— Да как же нам быть? — толковали они. — Нас сгоняют с гор, а на наше место казаков переводят. И мы этого не хотим, и казаки не хотят, — казаки даже бунтовать с нами собирались и предлагали в союз войти, чтобы только не переселяться ни им, ни нам; они сами нас просят, чтобы мы не сходили с гор. Мы уже думали войти в союз с ними против русских, да у нас, у натухайцев, война была с убыхами, из-за пустяков: один убых украл корову у натухайца, натухаец его убил в драке, — ну, и пошло дело. А тем временем «девять казацких генералов(?)» было в Сибирь сослано, а один расстрелян, — так и остановилось.

Этот рассказ породил в моей голове план помирить наши федералистские принципы с выгодами русского народа, а равно и воспользоваться горами для образования в них гнезда нашей агитации.

— Послушайте, — толковал я им, — чем вам ввязаться со всякими англичанами и французами, не выгодней ли будет просто-напросто сойтись с казаками и принять их в ваш союз, благо они сами этого хотят. Тогда и народу у вас в горах стало бы больше, много русских и поляков перебралось бы к вам, завели бы у вас станицы и стали бы вас защищать от нападений... — и т. д.

Нелепость этого я скоро понял, но черкесы увлеклись ею и даже собирались предложить мне сделаться их султаном, если только соглашусь на обрезание! Для этого они пошли советоваться с Иорданом, тот в ужас пришел. «Да как же вы не понимаете, куда он ведет вас? — сказал он им. — Ведь, согласитесь вы на его предложение, Кавказ и без войны делается русским; он вас подчинит вашим новым союзникам — казакам, а русские станицы в горах будут вас держать в повиновении».

С этих пор отношения наши с Иорданом стали холоднее, но мы все-таки виделись каждый день, и он не переставал мне расписывать свое влияние на черкесов.

Был у него агент в горах, поляк, молодой человек, посланный именно для устройства союза. Ахнул я, когда увидел его потом в Цареграде. Это был мальчик не старше девятнадцати лет, крохотный и умом и ростом, который напроказил что-то в полку и бежал из Одессы в Цареград без всяких целей — просто по глупости. Есть ему было нечего, Иордан приютил его из сострадания в своем доме, Козерадский из благодарности чуть сапог ему не чистил; между ними образовалось сочувствие, и ребенок был произведен в политические деятели. Потом он как-

то попал под гнев своего покровителя и отправился в Россию участвовать в восстании; где он и что он теперь, не знаю.

Другой такой же господин, Заборовский¹⁶², сын поляка и русской, саратовский уроженец, православный и ни слова не знающий по-польски, вдруг, ни с того ни с сего, просто со скуки быть канцелярским служителем (образования он нигде не получил), вдруг воспылал любовью к Польше и бежал вместе с ссыльными поляками, братьями Сливовскими и Сташевским. В Цареграде ему и делать было нечего, а главное — есть нечего. Он тоже подделался к Иордану и к покойному князю Витольду Чарторыйскому, бывшему тогда в Цареграде. Иордан из удовлетворенного тщеславия, Витольд по свойственной всем чахоточным слабыхарактерности согласились на его просьбу отправить его агитатором в Новороссийский край! Доехал он с турецким паспортом до Одессы, прожил в ней три дня, ничего, разумеется, не делая, — его арестовали и выпроводили обратно, не объясняя даже поводов. Он не унялся, опять сел на пароход и отправился в Таганрог подымать Дон! Слышно было, что его арестовали при самом сходе на берег, и что он сидел где-то в остроге. Ему было всего лет восемнадцать, образования он не имел никакого, а ума был очень ограниченного. Тысячи таких анекдотов мог бы я привести в доказательство, что и польские агитаторы ничуть не мудреней наших.

Приведу пример, каким образом появляются в иностранных газетах всякие нелепости о России. Встречаю я на улице одного знакомого татарина, учившегося в Цареграде мусульманскому богословию. Он сказал мне, между прочим, что ходят между его товарищами-студентами слухи, будто в Казанской губернии случился какой-то бунт. Я передал этот слух Иордану,* не придавая ему особенного значения, но Иордан задумался. «Это, — стал он комментировать, — по всей вероятности, или демонстрации или начисто восстание татар против вашего царизма. Не могли же они забыть царства Казанского...» и т. д. Тут он развил целую теорию о царстве Казанском и Астраханском, о значении у нас татарского элемента и понес такую ахинею, что я уже из одной вежливости не возражал. От меня он пошел в редакцию «*Courrier d'Orient*» и сообщил новость и пояснения к ней редактору, доброму, но ограниченному корсиканцу Джам-Батисту Петри. Дня два спустя и я завернул к Петри, он пересматривал корректуры, и я увидел между ними уже положительное известие о Царстве Казанском.

— Que diable, cher Piétri! Откуда вы это взяли?

— Le colonel m'a dit...

— Да ведь это только предположение...

— Ah, tant pis pour les tartares! Quant à nous, nous n'avons qu'encourager la cause polonaise...

Сказать против этого было нечего. Мы поохотали и расстались, а «важная новость» с новыми пояснениями явилась уже и в турецких газетах. Перепугались татары в Казани, которым в голову даже не приходило бунтовать pour les beaux yeux de Царство Казанское, и подали адрес государю с заявлением своего верноподданничества!

Не знаю, каким образом, Иордан высчитывал, что на Кавказе есть около сорока тысяч поляков — солдат и офицеров. Он был вполне уверен, что при первой вести о восстании в Польше они тоже подымутся, соединятся с церкесами и сделают по меньшей мере демонстрацию. Это, по моему мнению, все же было выгодней, чем отдача Кавказа англичанам, благо с поляками рано или поздно мы помиримся, да и лучше же видеть Кавказ в руках славян, чем бог знает чьих. Мне тогда при-

* Зачеркнуто: тоже.

слали огромный ящик прокламаций «Земли и воли», экземпляров, я думаю, тысяч до восьми. Девать их некуда было, — читать их никто не хотел; я после, в Тульче, целых полтора года изводил их на самовар и на печи и все не мог одолеть. Один старообрядец, Григорий Михайлов Разноцветов, поручик турецких казаков и большой друг поляков, достал случайно с полсотни экземпляров и прибил их в Тульче по всем посещаемым им кабакам. Я думаю, они там и до сих пор торчат на стенах, но я не видал ни разу, чтобы их кто читал, хотя меня этот вопрос и мало интересовал в период моего разочарования. Кто и останавливался над ними, тот, наверно, ругал поляков, — так сильна уверенность в нашем простонародье, что все, что пишется против правительства, непременно должно быть польскими кознями. Иордан взял их у меня с сотню и отправил на Кавказ, поручив черкесам распространение их. Сколько знаю, кое-где их поприбивали к деревьям, а большая часть погибла бесследно. Впечатления они тоже ровно никакого не произвели на наши войска, и солдаты-католики даже не думали переходить к черкесам. Все это был мираж, фантазия, и я * начал догадываться, что наше дело неисполнимо и наши верования не выдерживают критики. Уже как-то пассивно, по привычке к агитированию, а не из веры в успех, налитографировал я первую и последнюю прокламацию моей собственной работы, в заголовке которой поставлен русский крест и которая начинается словами: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас, грешных», написанными вязью. Она точно так же пошла на самовар¹⁶³.

Близкое знакомство с поляками подорвало во мне веру в их способность и в возможность успеха их дела, а внимательное чтение газет заставило меня признаться себе, что мои золотые грезы о возможности федерации так и следует признавать грезами. Какая ж федеративная Россия может выйти подле Польши, основанной на историческом праве, Германии с его тогдашним Nationalverein и Франции с централизацией? Какая домашняя сделка могла выйти с поляками, когда они всю Европу на нас тащили? Можно подавить в себе патриотический эгоизм, но как же мог я, русский, равнодушно смотреть хоть на введенье унии у болгар, единственно затем, чтобы поссорить их с нами и чтоб, разделив их, обессилить их народность?

Кстати, об этой унии. Она тем же Иорданом была затеяна. Высшее греческое духовенство развратно и корыстолюбиво так, что поверить нельзя, не поживши самому в Турции. Оно грабит народ на своих гаремы не только из девушек, но — писать даже противно — из мальчиков, из послушников и молодых дьяконов! Понятно, какую ненависть должен был возыметь к нему возрождающийся болгарский народ, особенно когда оно стало преследовать славянское богослужение. Болгаре заявили протест против этого преследования, греки обвинили их перед турками, будто они хотят подчиниться нашему синоду, будто все движение идет из России за наши деньги. Синод наш — загадка для меня — почему — стал поддерживать греков и в посланиях цареградскому патриарху признавал его первенствующим в православной церкви, хотя первенство это перешло к нам, вместе с двуглавым орлом, при бракосочетании Ивана Васильевича III с Софиею Палеолог и с принятием им царского титула. Болгаре стали между двух огней, когда мы их так жестоко отринули, а мы-то именно одни и имеем право поставить им патриарха, хотя, по застенчивости нашей, и отказываемся от этого права. С тайного соглашения Порты, высшего греческого духовенства и поляков, при помощи болгар, воспитывавшихся в Париже и в французских цареградских школах (русских мы там не завели), явилась мысль об

* Зачеркнуто: скоро.

унии. Греки поддерживали ее из ненависти к нам за наше первенство в православии и за сочувствие славян к нам. Им захотелось разделения болгар на два враждебных стана, чтобы облегчить дело восстановления византийской империи, — им выгодней видеть болгар католиками, протестантами, кем угодно, только бы нашими врагами и врагами нашего синода. Проклятия сыпались на нас от болгар в 1862—1863 гг., когда я был в Цареграде, за нашу политику, которая разбудила их при Петре и при Потемкине к политической жизни и вдруг сделалась какой-то таинственной, немецки-чопорной, старчески-легитимистской, не давала им идти ни взад, ни вперед, и сделала из Турции игрушку западных держав. Они понять не могли, чего мы хотим, за них мы или против них, отчего мы так высокомерно держим себя в отношении их и более соблюдаем какие-нибудь венские или парижские трактаты, чем их интересы, тогда как эти-то их интересы, в сущности, наши, потому что они не могут не предвидеть образования всеславянского государства.

Уния плохо принялась, — это мне говорили сами миссионеры — Мальчинский, уроженец нашего Холма, и дьякон Лавросевич, тоже из холмских. Этот дьякон бежал в Турцию за демонстрацией, в Цареграде явно действовал против православия и России, за что ему болгаре глаза вышибли, а умер в Кракове священником униатской церкви, содержавшейся на наши деньги и состоящей под ведением холмской епархии. С каким правительством можно поступать таким образом? И не прав ли я, так жестоко отзываясь о нашем дипломатическом корпусе? Когда этот Лавросевич умер, то из бумаг его оказалось, что он был краковским поверенным народного правительства!!! Народ ненавидел этих миссионеров, явно презиравших восточный обряд и * проповедывавших ему не столько унию, сколько Польшу и Францию, и народ не пошел за ними, что заставило и передовых людей оставить унию. Уния, кажется, погибла, но ненависть болгар к фанариотам (выше под словом «греки» я только фанариотов и понимаю) надоумила американцев, и они взялись за распространение методизма. Болгаре обращаются, потому что надо ж куда-нибудь уйти от фанариотов, поддерживаемых нами в интересах славянства и православия. Таким образом, неведение правительства внутреннего быта подвластных и соседних ему племен тяжело отзывается на его собственных интересах. Паспортная и таможенная система, бюрократические приемы воспрепятствовали заселению нами Калифорнии и вынудили нас продать нашу Америку Соединенным Штатам, а лучшую часть мурманского берега — норвежцам¹⁶⁴. В западных губерниях русские поделались поляками, а пограничные места наши день ото дня теряют русский характер и делаются немецкими. Славянство мечется во все стороны, находит сочувствие только в иноплеменниках и, вместо того, чтобы сближаться с нами, вынуждено от нас отделяться.

Оставляя мало-помалу антиправительственную деятельность, я стал искать себе поля, на котором мог бы быть полезным. О возвращении в Россию и думать было нечего; надо было примкнуть хоть к болгарам, благо они все же родные нам. Я перезнакомился со всеми их переводчиками (с Чумаковым, Экзархом, Стояновичем, Дановым и пр.). Болгаре сильно заботятся о поднятии своей литературы, но, по неопытности, не знают, как взяться за дело. Я посоветовал им завести периодическое издание, вроде нашего «Русского Вестника», «Отечественных Записок» и т. п., где помещались бы преимущественно переводы русских, польских и чешских романов, за невозможностью иметь оригинальные, затем была бы критика, ученые и политические новости. Мысль моя им очень понравилась, смета показала, что две тысячи подписчиков будет загла-

* Зачеркнуто: явно.

за довольно для покрытия издержек и для содержания редакции, даже и фирман на право издавать журнал «Цареградските Книжници» отдавался мне, но нужно было добыть согласие Порты на мое редакторство. Болгаре просить об этом не решались, потому что я русский, хоть и эмигрант; мне самому тоже не приходилось * хлопотать; Аали-паша ¹⁶⁵ мог бы сразу осадить меня вопросом, почему я так ** усердствую развить болгар. Да, наконец, всякие фанариоты, французы, американцы, англичане затравили бы меня своими интригами, как впоследствии в Тульче. Я вздумал посоветоваться с *** князем Витольдом, а мы с ним были в довольно хороших отношениях. Покойник был человек не глупый, умеренный и принадлежал к той партии, которая в глубине души хотела только восстановления Царства Польского с западной Галичиной и с Познанским воеводством, не задевая западных губерний. *Pia desideria* их была союз с Россией и кровавая месть Западу за его обманы и интриги. Этого желают все поляки мазурских провинций России, Пруссии и Австрии, а о границах 1772 г. только наш Западный край да восточная Галичина мечтает, поэтому-то энергическое изгнание оттуда латинского обряда и замена польских имен соответствующими русскими (Казимир — Владимир, Франц — Феодор и т. п.) — мера, без которой мы не обойдемся рано или поздно.

Витольд в восторг пришел от моего проекта, но сказал, что его личное ходатайство у Аали-паши едва ли подвинет дело. Турки ни в чем не отказывают, но обещаются подумать, сообразить и **** затягивают дело на десятки лет.

— Я обращаюсь к де Мутье ¹⁶⁶, — сказал он, — этот мигом заставит признать вас редактором.

— Да, князь, это хорошо, но, ведь, тогда «Цареградските Книжници» волей-неволей сделаются каким-то официозным органом французского посольства.

— Нет! Зачем же? Этого не потребуют.

— Понимаю я, что не потребуют, но все же, хоть из благодарности, надо будет подкуривать Наполеону.

— Все же, по крайней мере, не au Tsar.

— Я бы, князь, хотел и о том и о другом умалчивать, мне дороги интересы самих болгар. Ведь, вот и вы соглашались, что уния вредна для них, потому что она их разделяет, и что лучше бы было и не затевать ее, а ведь маркиз не будет доволен, если я что скажу против унии...

— Зачем же вам писать против унии? Ведь, не можете же вы не признать, что православие годно было только для средних веков Восточной Европы, что католицизм не что иное, как то же православие, но развитое, усовершенствованное, прогрессивное, и что уния благотельна сама по себе. Взгляните на армян-униатов, как бесконечно далеко обогнали они грегориан.

— Я думаю, что католицизм сам по себе, а православие само по себе. Отсталость его ничего не доказывает; наши школы скверны вследствие политических обстоятельств; у нас бог знает каких уродов приходится ставить в священники, за неимением образованных людей, но это вовсе еще не означает, чтобы православие было ниже латинства, как неразвитость славянских наречий не доказывает превосходства над ними германских. А что до армян-униатов, то, при всем их образовании, нельзя не заметить, что они больше католики, чем армяне, и что им ин-

* Зачеркнуто: просить.

** Зачеркнуто: сочувствую.

*** Зачеркнуто: Владиславом.

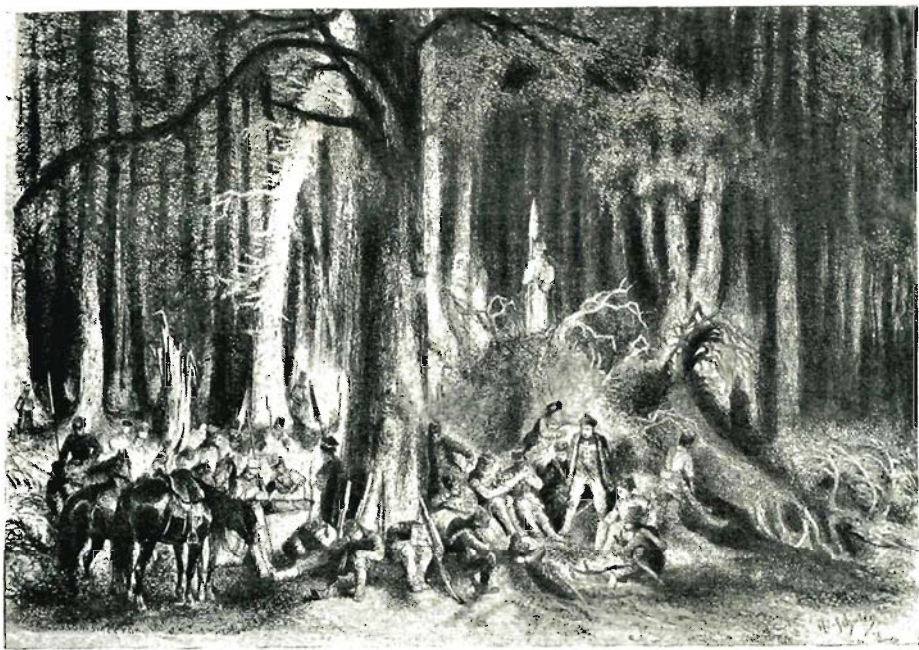
**** Зачеркнуто: откладывают.

тересы какой-нибудь Франции дороже интересов своих соплеменников. Спросите любого носильщика-грегорианца, кто он такой, он вам ответит: б е н э р м е н и и м — я армянин; а униат скажет: к а т о л ы к и м — я католик...

— Да, да, оно, пожалуй, и можно найти во всем темные стороны; только если вы так смотрите, то я право не знаю, как мне быть...

И пришлось отказаться от дела честного и полезного. И же будь я эмигрантом, все равно пришлось бы отказаться, — наше посольство не стало бы хлопотать за меня без особого предписания из Петербурга.

Кончаю этот рассказ о влиянии поляков на восточные народы следующим замечанием. В мою бытность в Цареграде Иордан и братья уже начинали входить в сношения с хивинцами, кокандцами и бухарцами



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ В ЛИТОВСКИХ ЛЕСАХ

Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

против нас, а турецкие офицеры из горцев сильно подумывали о поездке в Среднюю Азию для организации тамошних войск на европейский манер. Высшие кружки польской эмиграции лелеют еще одну мысль — устройство агентуры в Пекине и в Иеддо. И это будет посерьезней их цареградских дел. Гордоны и Лефорты из поляков при китайских и японских Петрах Великих, движимые местью к нам, не пропустят случая насолить нам в Монголии, Манчжурии и в самой Сибири. Китай и Япония вовсе не дряхлая Турция. У них есть народность, образованный класс, уважение к науке и охота учиться. Ближе нас никто не заинтересован судьбой этих двух действительно великих держав, а мы равнодушно смотрим на распространение там католичества и протестантства, запрещаем проповедь православия. Немцы и американцы уже образуют там войска по-европейски, а русских офицеров там нет. Я мало следил последнее время за тамошними делами, но имена поляков уже начинают попадаться в списках тамошних деятелей. Неужели же правительство не примет никаких мер к привлече-

нию к себе симпатий тамошних населений? А, ведь, нам ничто не ручается, что Сибирь вечно останется в покое. Сибирь же в руках ино-племенников, будь они даже нашими подданными, убьет Россию.

*

И с некрасовцами ¹⁶⁷ сошелся Чайковский в одну из своих поездок в Добруджу. Он толковал им о казачестве, о военной славе, о Доне и о Запорожье и старался возбудить в них мысль об образовании в южной России казачьих республик в союзе с Польшей. Дикие и подозрительные некрасовцы втупик стали от его посещения и перепугались насмерть, — их пугает каждый незнакомый человек и каждое новое предложение; им все сдается, что против них кто-то интригует, ведут подкопы под них, — словом, они очень высоко о себе думают. Для переговоров с Чайковским, испытать, «какого он духу человек есть» отрядили они Осипа Семенова Гончара, или Гончарова ¹⁶⁸. Этот замечательный человек родился в первых годах нынешнего столетия на Кара-Бурну, мысе между Босфором и Черным морем, где тогда существовал маленький казачий поселок; потом, в 1829 г., переселился с частью некрасовцев в Бессарабию, где сделался поверенным по делам своего общества, хлопотал для него у губернатора Федорова, даже до покойного государя добирался в Варшаве и в Петербурге, но, соскучась по Добрудже, бежал опять в Турцию, где до Парижского мира, или, верней, до 1859 г., был главою некрасовцев. Человек удивительно деятельный, трезвый, бескорыстный, он всецело предан интересам старообрядчества и ценит все события мира по их выгоде и невыгоде для его церкви. Память у него удивительная, дипломат он от природы, несмотря на то, что не получил ровно никакого образования; он пишет свои мемуары, в высшей степени любопытные для истории Добруджи и некрасовцев. Стихотворения его плохи, хотя он и в них упражняется.

Сойдясь с Чайковским, Гончар понял одно, что Чайковский — человек сильный, что он в связях с разными царями, королями, князьями, пашами и всякими большими господами и что надо ему поддакивать и угождать, потому что он может пригодиться. Восстаний, республик, Польши Гончар, разумеется, не понимал, хоть и печалился об горькой участи больших планов, которых «Россия по целому белому свету разогнала», наравне с последователями древнего благочестия. Чайковский же видел в Гончаре человека влиятельного, толкового и деятельного, который, повидимому, понимал его планы, сочувствовал поэзии казачества и обещал ему посылать эмигрантов на Дон, на Урал, на Линию, что и делалось, но, разумеется, крайне осторожно и совершенно безуспешно. Тогда старообрядчеству было не до того, — министерство Перовского закрывало моленные, силой вводило единоверие, и хотя недовольство было и сильно, но восстание все-таки могло произойти уж никак не в пользу Польши или Турции и никак не по иностранному наущению.

Тем не менее, русские старообрядцы не пренебрегли желанием Чайковского сблизиться с ними и послали к Гончару известного Павла Белодворского и Олимпия Милорадова ¹⁶⁹, чтобы он, при помощи Чарторыйских, помог им отыскать архиерея. Чайковский исполнил это дело блистательным образом. Великий визирь и греческий патриарх, Чарторыйский и Меттерних — все вместе были вовлечены в этот заговор, отыскали и дали старообрядцам митрополита * Амвросия, утвердили его в Белой Кринице и положили основание нынешнему старообрядческому духовенству ¹⁷⁰. Цель в этом была — сделать Россию менее православ-

* Зачеркнуто: Арсения.

ной и тем лишить ее права вмешиваться в дела Турции и цареградской патриархии. Торжествовали поляки, устроив эту штуку, и сильно рассчитывали на сочувствие к ним старообрядцев, но год 1846 прошел так же мирно, как 1848, как Крымская война и как последнее восстание; даже мало кто из старообрядцев и подозревает, что белокрыницкое священство полякам обязано своим происхождением.

Деятельное участие Гончарова и Чайковского в этом похищении Амвросия еще более сблизило обоих деятелей, и Гончаров не мог не заразиться от Чайковского ненавистью к России, — Чайковский и его поляки были единственные образованные друзья дикого старообрядца и сильно действовали на его воображение своими связями и аристократизмом. Он же, кстати, нуждался в их поддержке, потому что в Добрудже, в среде некрасовцев, не замедлила образоваться партия «раздорников», т. е. не признающая нового священства, и завязала борьбу с «гончаровою верой». Начались обоюдные преследования, покушения даже на жизнь Гончара; в тюрьму его засадили, как тайного благоприсятеля православия, потому что он от православных сманил митрополита и, стало-быть, замышлял передать некрасовцев русским и т. п. нелепости. Борьба тянулась до крымской войны. Чайковский успел превратиться в Мехмеда Садык-пашу и стал серьезно помышлять о восстановлении казачества. Порта разрешила ему сформировать казачий полк из охотников, и Гончар деятельно помогал ему в наборе всяких забулдиг из старообрядцев. Чайковский еще усердней стал помогать своему другу и его партии. Опираясь на него, Гончар, Егор Нос, Шмарчун и прочая знать некрасовская стали хозяйничать по селам, как хотели. Плети отсыпались в неограниченном количестве всем их врагам и противникам, раздорников стеснили до-нельзя, и все это именем Садыка и его поляков. Постановили некрасовцы ополчение, поляки стали учить их новым приемам. Это была смертельная обида казакам, которые и из России-то ушли потому, что их там учить хотели. Начальство у них было прежде свое, поляки стали назначать им атаманов и пороли их за малейшееслушание. Наконец, открылись и военные действия. По старым фирманам казаки не * несли никаких повинностей, а во время войны турки стали брать у них на реквизицию сено, хлеб, заставляли их давать подводы, — словом, сравнивать их с раей¹⁷¹. Война кончилась, вознаграждения они за эти несправедливости не получили, а медали за войну Гончар с Носом, своим приятелем, роздали только своим приверженцам. К этому прибавились еще стеснения: местные власти землю у них обреза́ли, наложили на них некоторые повинности; откуп на рыбные ловли, главный промысел казаков, стал грабить их хуже прежнего, а Садык обещал им помочь только с тем, что они будут давать ему рекрутов в его полки. Кончилось все тем, что возродилась непримиримая ненависть к Садыку с Гончаром, а равно и ко всему, что бы они ни предпринимали; в 1864 г. мне удалось, по их просьбе, окончательно добиться у Порты обращения их в обыкновенную раю, на чем и оборвалось всякое вмешательство поляков в дела их.

Заветной мечтой Садыка было сделаться гетманом всех казаков. Парижский мир уничтожил эту надежду, и Садыку осталось одно — сделаться гетманом хоть Добруджи, для которой можно было выхлопотать у Порты полную автономию, и поставить ее [в] такое же независимое положение, как дунайские княжества. Но его приязнь и покровительство ненавистному Гончару, поведение его поляков, грабежи его солдат сделали то, что нечего было и рассчитывать, что некрасовцы и прочее русское население этого края подпишут просьбу о назначении его

* Зачеркнуто: платили.

пашою в Тульчу. В этом он лично убедился, побывав в Добрудже в 1857 или 1858 г. Тогда он силой захотел принудить к этому русских и сам с Гончаровым начал надоумливать турок стеснять их в расчете, что они покорятся и с горя попросят его в гетманы. Но, как я уже сказал, это * ухудшило дело, и он мог ограничиться только посылкою туда своих агентов, в какие и я попал без моего ведома.

Приехав в Цареград, все еще не теряя надежды на выигрыш нашего дела, я бросился разыскивать старообрядцев. Случай свел меня скоро с Семеном Ильичем Васильевым, поверенным Вилкова¹⁷². Он хлопотал о правах своего посада на рыбные ловли, отрезанные трактатом 1856 г. Турции, тогда как сам посад достался Молдавии. Вопрос был международный, и я мигом поручил Иордану хлопотать о нем у де Мутье, у Бульвера¹⁷³, а сам, почти против воли, сделался чем-то вроде секретаря, переводчика, делопроизводителя при этом поверенном. Чуть не каждую неделю составлял я ему записки и прошения Аали-паше и дипломатическому корпусу, ходил с ним и в Порту и в посольства, за что получал от него гонорарий, которым и жил. Мне хотелось убедить фактом турецких русских в нашем влиянии, захватить их дела в наши руки, быть им полезными и таким образом сделать их орудием наших планов. Дело тогда шло о сборе денег на типографию и о посылке старообрядцами адреса ** Герцену, вроде адреса русских офицеров в Польшу. Семен Ильич совершенно склонился на эти планы, но стоило ему съездить домой, и все мои труды оказались напрасными. В Вилкове ему сказали, что это — дело неподходящее, что из-за границы такого дела и начинать не следует, потому что неизвестно еще, как московские «вельможи» на это посмотрят, что поляки все-таки бунтовщики и что с русским правительством ссориться опасно. Насчет типографии обещали подумать, столкаться, и на том дело и оборвалось.

До этого еще я съездил в Малую Азию к тамошним некрасовцам, первое, чтобы познакомиться с ними, второе, попробовать, как они смотрят на нас и на мои предприятия. Подробности этой поездки напечатаны в июньской книжке «Русского Вестника» 1866 г., опущено только то, что некрасовцы не могли понять, чьего я благословения буду печатать, когда теперь уже нет ни благоверных царей, ни благочестивых патриархов, остальное все верно.

Скоро после моего возвращения от них, Семен Ильич привел ко мне Гончара, часто бывающего в Цареграде по торговым делам. Гончар был в высшей степени любезен и рад познакомиться со мною, рассказывал о своих связях, о поездке в Париж, где он представлялся Тувенелю¹⁷⁴, прося его настоять у русского правительства о выдаче тульчинского епископа, арестованного во время войны.

*

Арест Олимпия и Аркадия был делом мести двух русских офицеров, которые не хотели заплатить старообрядцам за провиант, и личного оскорбления генералу Ушакову¹⁷⁵, которого один из этих епископов не пустил ко кресту, как иноверца. Арест этот, совершенно ненужный, крайне оскорбил всю поповщину, и особенно заграничную, и помог полякам и К⁰ вводить правительство наше в неприятности, а старообрядцев наталкивать на сближение с французами. После долгих хлопот Гончар решился съездить в Париж, где Hôtel Lambert выхлопотала ему аудиенцию у Тувенеля. В «Русском Вестнике» рассказывается, что он был у Наполеона¹⁷⁶, это неправда; я знаю дело *** от него самого и от его

* Зачеркнуто: только.

** Зачеркнуто: русскому правительству.

*** Зачеркнуто: из очень достоверных источников.

переводчика, вышеупомянутого Косиловского. Тувенель, расспросив его о подробностях дела и обещав ему помощь Франций, задал ему следующий вопрос:

— Ну, а что там, в Добрудже и в России, все старообрядцы знают о императоре? Вообще, как они смотрят на нас?

— Ваше превосходительство, господин Тувенелий, только на одну Францию мы и полагаемся, только за его величество и бога-то молим. У нас самые махонькие дети знают, кто такой и Наполеон и его супруга Ивгенья¹⁷⁷. Это у нас, ваше превосходительство, в каждой хате образа есть, такой обычай у нас, так подле образов-то на одной стороне его патрет, а на другой — ейный. (Все это, разумеется, * вранье).

— Ну и пусть же веруют в нас, — отвечал Тувенель, — Франция докажет, что она недаром взялась быть покровительницей слабых и угнетенных¹⁷⁸.

К характеристике этого французского *savoir-faire*, которого именно не достаёт у нас, замечу, со слов Косиловского, что в то самое время французский же консул из Александрии не мог добиться аудиенции у Тувенеля и так и уехал, не повидавшись с ним, а Гончар был принят и обласкан. Вот и льнут все угнетенные к Наполеону, и едут в Париж всякие марониты, друзья¹⁷⁹, армяне, курды...

*

Гончаров одобрил и адрес и типографию, взялся немедленно переговорить с кем следует и списаться с Москвою и уехал, обнадежив меня во всем. Потом он часто наезжал в Цареград, все обнадеживая, съездил еще раз в Париж по торговым своим делам, и даже в Лондон смахал познакомиться с Герценом и воротился очень довольный та-мошним приемом, особенно же знакомством с князем Долгоруковым. Он и в Лондоне все обещал, хоть ничего не понял, о чем идет дело; все, что выходит за пределы интересов старообрядчества, ему решительно недоступно и чуждо¹⁸⁰.

Короче сказать, ничто не удавалось, ничего придумать даже нельзя было в пользу нашего дела. И, что всего мучительней было, в душе начали возникать страшные сомнения в его правоте и полезности. Очевидно со дня на день становилось, что наши чистые и честные верования были утопией, неприложимой к делу теорией, что на зов наш не только никто не откликнулся, да никто и не мог откликнуться. Как ни боролся я против этих «черных дум», чем я ни старался заглушить их — археологией, историей, даже вином подчас, — черные думы не унимались, а одна за другой возникали в уме, как какие демоны, явившиеся мучить мою душу. Я обратился к Герцену за разрешением этих страшных загадок, я высказывал ему мои сомнения, я просил убедить меня, воротить к прежним идеалам; он мне на все отвечал, но ответы его только усиливали мое неверие. Я метался от книги к книге, я магию даже стал изучать, спиритизм; я цареградские трущобы стал исследовать, чтобы как-нибудь забыться, — ничто не брало.

Я верил в равенство. Турция, страна без аристократии, разбила это верование. В ней жить нельзя, потому что нет независимых людей, потому что там никакие фамильные предания не удерживают личность от подлости; там все из-за денег, и каждый рыцарский поступок бывает смешон. Я был атеист; благодаря фанариотскому духовенству, там масса атеистов — лавочников, мастеровых, и я возненавидел атеизм, хотя не мог еще признать существования божия. Я был за поляков, но вот я почти с утра до вечера был с ними и кроме презрения ничего к

* За черкнуто: ложь.

ним не чувствовал. Я был за народность, а на деле оказывалось, что народность ведет только к отуплению, к патристическому эгоизму, к несправедливости. Я верил, что людей можно убедить логикой, а оказывалось, что их привычки и предания заглушают в них голос разума. Словом, я во все потерял веру, все человеческое стало мне чуждо и отвратительно.

Мир казался мне срундой и был мне так противен своим бессмыслием, что сама жизнь становилась в тягость. Мне не раз приходила мысль покончить свое существование, и, может-быть, я бы сделал это, если б не был семейным человеком и если б глубокая привязанность к жене и к брату не мирила меня несколько с жизнью. Брат в июле (кажется) 1863 г. попал в Цареград в бегстве своем из России¹⁸¹. Я никак не ожидал его появления и вовсе не знал, что он снова попал под суд. Его приезд был для меня праздником; только я знаю, как я был к нему привязан! Он хотел ехать в Лондон, но мы решились не расставаться, да и не могли бы расстаться. Будь он жив, он или бы не пустил меня теперь в Россию, или бы последовал моему примеру. Тогда он был весь проникнут так называемым нигилизмом, хотя не в такой безобразной форме, до которой доходили другие, и горячо защищал возможность привести в исполнение все, что было задумано и нами и нигилистами. Мои отрицания глубоко оскорбляли его юную верующую душу, и он настаивал, чтобы я продолжал начатое. Я не мог, — он сам взялся за работу и стал писать письма влиятельным старообрядцам с изложением наших стремлений. Ответа, разумеется, не было ни от кого, но, не дожидаясь их, он поехал в Добруджу ускорять заведение обещанной Гончаром типографии. Жена и дочь приехали ко мне в Цареград недель шесть после его приезда. Я не хотел возвращаться на Запад и потому, что там падала наша издательская деятельность, и потому, что мне Запад стал ненавистен, — мне хотелось бежать куда-нибудь от людей, исчезнуть, провалиться сквозь землю, так, чтоб обо мне никто больше не слышал. Все мое честолюбие, если это честолюбием можно назвать, сосредоточилось на одном желании — поселиться в какой-нибудь глуши и сделаться мирным гражданином, хорошим отцом семейства, зарыться в науку и в философию и добиться до крайних пределов отрицания своих прежних верований, казнить которые уже стало моим высшим наслаждением.

Но беда никогда не приходит в одиночку. Мало было нравственных страданий, материальная нужда стучалась в двери, и начались два с половиною года каторги, во время которой я похоронил брата, сына, дочь, жену и чуть с ума не сошел. Не знаю, удастся ли мне в двух следующих отделах дать хоть приблизительное понятие об этом ужасном для меня времени, расстроившем мое здоровье, давшем мне преждевременную седину, да и, может-быть, духу нехватит рассказывать подробно.

Вилковское дело, за которое мне так хорошо платили, рассчитывая, что я могу чего-нибудь добиться при помощи моих связей с поляками, плохо подвигалось вперед, — поляки оказались всемогущими только в доносах, в клеветах, а никак не в ведении серьезных дел. Их неудачи в России сильно подрывали их прежний кредит в Цареграде. Вилковцы потеряли на меня надежду, и доходы мои прекратились почти немедленно по приезде моей жены и дочери, т.-е. когда деньги были всего нужней. У малоазийских некрасовцев был тоже процесс, за который их же старики предлагали мне взяться, но с их «кругом» ничего нельзя было столкновать. Других дел, как нарочно, не случалось в то время, — Гончаров только обнадеживал типографией, из России вестей от Солдатенкова и от шебаевского кружка не было, болгарский журнал не удался. А зима

подходила. Стал я искать службы, хоть бухгалтером, писарем, я бы кельнером сделался, — нигде ничего.

Я не в силах рассказывать, как я жил...

Оставалось одно — принять предложение Садыка сделаться казацким головою (казак-баши), атаманом в Добрудже¹⁸², за * пять турецких лир в месяц (почти тридцать рублей серебром), и, разумеется, я с радостью ухватился за эту должность, которая меня спасала от нищеты и давала мне возможность жить все-таки между русскими, изучать наше простонародье и быть ему полезным. Предложение это вышло по следующему случаю.

*

Садык, как я выше сказал, умышленно теснил турецких русских, чтоб заставить их просить его у Порты в своего гетмана. Познакомься с ним по вилковскому делу, я постоянно ходатайствовал у него заступничества за них, доказывая, что даже в его собственных интересах было бы выгоднее помогать им. Он начал колебаться и высказал мне свой план насчет Добруджи, который мне понравился не с политической точки зрения, а просто потому, что и в самом деле недурно бы было для нашего брата опального иметь хоть какую-нибудь Русь, куда можно было бы укрыться в добровольную ссылку после политических тревожений и разочарований. Все было бы у нас пристанище, угол, где мы считали бы себя дома и где могли бы жить, не подвергаясь ни надзору, ни преследованиям за прошлое, а моя усталая душа именно и нуждалась тогда в подобном пристанище.

Сидел я раз у него в гареме со старухой Снядецкой, единственной его женой по мусульманскому закону, как вдруг он вошел взволнованный, раздраженный и прямо обратился ко мне:

— Ну, вот ваши *protégés*! Вот они наши друзья! Поздравляю вас, поздравляю!

— Что такое, *mon général*? Я ничего не понимаю...

— Помилуйте, вы заставили меня хлопотать за них, а они русскому правительству подали адрес против поляков! Аали-паша зол, Фуад¹⁸³ бесится — это скандал! Это измена оттоманскому правительству! Это в газетах уже появилось! Наряжена будет следственная комиссия, и тогда не одобровать ни этому старому плуту Гончару, — я давно чувствую, что он нас всех за нос водит, — ни епископу Аркадию¹⁸⁴. Зададут им теперь! Как просидят года три в кандалах, тогда и поймут, что значит писать адреса.

Я побледнел, — мне все стало мигом понятно! Мои советы подать адрес за поляков надоумили Гончара, епископа Аркадия и весь их кружок подать адрес против поляков, чтобы выслужиться в глазах русского правительства и показать ему, что даже заграничные старообрядцы любят его¹⁸⁵. Я понял, почему Гончар, приехав месяца с два тому назад в Царегород, отдал адрес на почту, не показав мне его предвительно и не дав с него копии в «Колокол», хоть и хвастался, что адрес его разбесит весь Петербург. Припомнились мне и слухи, ходившие в Царегороде, о нелестных для поляков, для турок и для нас отзывах епископа Аркадия, о его симпатиях к России. Беда им грозила страшная: они погибли бы в тюрьмах.

Досадно мне стало видеть себя так грубо обманутым, но делать нечего, надо было выручить Аркадия и Гончара.

— Это дело следует ** замять, — сказал я Садыку. — Виноваты не

* Зачеркнуто: шесть.

** Зачеркнуто: немедленно.

они; притеснения местных властей озлобили их против турецкого правительства...

— Следствие раскроет эти притеснения, а изменники все-таки будут наказаны!

— Следствие, генерал, ничего не раскроет, — возражал я, — следователи ограбят правых и виноватых и только усилят это озлобление, вместо того, чтоб его подавить. Да и кто будут эти следователи? чиновники Порты, которые ни Добруджи, ни тамошних отношений, ни даже языка не знают. При всем желании раскрыть правду они волей-неволей попадут в руки местных интриганов, собьются с толку и только запутают дело.

— Ну, уж все же лучше турок послать, чем поляков, те окончательно неспособны * ни к чему...

— Я о поляках и не говорю. По-моему, лучше всего было бы сделать секретное дознание, без шума, без арестов, что именно колеблет верноподданические чувства некрасовцев к султану. Тюрьмы, преследования, наказания не исправляют зла, — зло предупреждать нужно, предотвращать. Я даже радуюсь отчасти, что они подали этот адрес; нам благодарить их за это следует, иначе мы никогда бы не догадались, что на них нельзя рассчитывать. Болезнь обнаружилась и перестала быть тайной, теперь можно и за лечение приняться.

Долго мы беседовали, и мне удалось доказать Садыку, что к наказаниям следует прибегать только в случае крайней надобности, когда единственно удалением вредного человека можно спасти общество от гибели, а без нужды преследовать личности и нерасчетливо и опасно.

— Знаете что, — сказал он наконец, — мне кажется, что кто всего лучше устроит это дело — и секретное следствие над виновными и секретное дознание о нуждах края, — так это единственно вы. Вы хорошо понимаете вопрос, вы осторожны и, наконец, вы сами же говорите, что желали бы сделать[ся] гражданином Добруджи. Что вы скажете, если я помогу вам сделаться казак-баши?

— Скажу, что буду как нельзя более доволен и как нельзя более обязан вам.

Через неделю я уже ехал в Добруджу, в полной уверенности, что я состою в коронной службе и что мои пять лир в месяц назначены мне Портою, которая снабдила меня э м и р н а м е (предписанием, полномочием, повесткой) к губернатору Добруджи. Садык-паша вел дело за меня, хлопотать мне самому не хотелось при тогдашнем моем мрачном настроении духа, и я никак не подозревал, что, доверяясь ему, я почти обязываюсь быть его послушным агентом и соблюдать его интересы более интересов тамошних русских.

Гончар за несколько дней до моего отъезда приехал в Цареград. Еще неуверенный, что дело можно будет замять, я сообщил об нем вилковскому поверенному, чтобы он предупредил Аркадия и Гончара о грозящем им следствии и посоветовал им или приготовиться к ответу, или убраться подобру поздорову в Молдавию. «Я сделаю все, что могу, — сказал я, — я ручаюсь, что владыка будет на воле, но не знаю, будет ли он в Турции». Много неприятностей наделали мне потом эти слова, которые старообрядцы поняли выражением моей мести Аркадию за его сочувствие России; и чего я ни делал потом, чтобы сойтись с ним, — все было напрасно: он не переставал смотреть на меня, как на человека, приставленного Садыком следить за его действиями. Меня долгое время старообрядцы принимали за турецкого шпигона (шпиона), просто по ложному толкованию, которое они придали этим словам, и —

* За черкнуто: к делу.

странное дело — обращались со мной с большим уважением и делали комплименты моему уму: «Значит ты, Василий Иванович, большого ума человек, коли тебе такую должность дали!». Мало было мне внутренних страданий, нищеты, — еще и это почетное оскорбление повисло мне на шею!

Гончара я немедленно свел с Садыком, надоумив его, как выкручиваться из беды; они помирились, а Гончар сделался моим врагом, не будучи в состоянии мне простить, что ему же пришлось подписать просьбу о моем назначении в «казак-баши».

*

Прощание с Цареградом в декабре 1863 г. было * разрывом с противуправительственной деятельностью, как прощание с Яссами в мае



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ НАПАДАЮТ НА КАЗАЧИЙ КОНВОЙ

Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

1867 г. было разрывом с эмиграционной жизнью. И тогда и теперь я кончал с своим прошлым, перерождался нравственно, с полной надеждой, что буду полезен, что разочарование мое принесет пользу тем, к кому я еду. Не знаю, что меня теперь ждет, но тогда — тогда я горько ошибся. А море было так тихо, небо ясно, на душе было легко, и я весело выезжал из Кюстенджи в степи Добруджи, покрытые курганами, с которых смотрели на мою повозку орлы и из-за которых то и дело выплывали верблюды ногайцев и буйволы болгар. Порой мелькала русская телега с дугой и с колокольчиком, и некрасовцы с недоумением посматривали на проезжего, которому судьба привела сделаться их защитником перед правительством.

С этих пор я ничего не замышлял и не предпринимал против правительства. В двух следующих отделах мне не придется ничего рассказывать о моей политической деятельности, — она кончилась, разбив мои

* За черкнуто: прощанием.

верования и погубив мою будущность. Я агитировал, потому что любил Россию и хотел быть ей полезным, своекорыстных видов у меня никаких не было, совесть моя в этом отношении чиста, и, если я заблуждался, я заблуждался честно, я собой и дорогими мне рисковал во имя своей любви к людям, а когда пришло время разубедиться в правоте моего дела, я сложил оружие, низверг кумиров своих и ушел в пустыню доживать дни свои между дикарями, с целью помогать им и материально и нравственно.

Если государь не помыслит меня, а велит отдать под суд, эти три отдела моей исповеди — достаточный материал для составления надомного приговора: в следующих двух будет только рассказ о моих нравственных терзаниях и о моем возрождении в искреннего его верноподданного.

Я верую в сердце государя, — это сердце не может не понять моей исповеди и не быть моим лучшим адвокатом. Да будет же надо мной то, что оно подскажет ему! Я готов на всякую участь, какая бы меня ни постигла, но я молю о помиловании, которое если еще не заслужил, то заслужу, выпущенный на волю.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕРЫ К ОБРУСЕНИЮ ЗАПАДНОГО КРАЯ

§ 1. Все костелы, как в девяти западных губерниях, так и внутри России находящиеся, обращаются в униатские церкви.

Рим признает, что все обряды равны, и он сам разрешает, хотя с некоторыми ограничениями, переход с одного обряда на другой. Помещики западных губерний — почти все потомки униатов. Переход на православие сочли бы они ренегатством, тогда как переход на унию, веру отцов их, сближающую их, хоть по обряду, с простым народом, примется ими без больших колебаний; они даже будут льстить себя надеждою, что униа со временем сделается популярной и пособит отделению их от России. Между тем, переход на унию заставит их забыть польский язык и освободит их из-под влияния ксендзов-поляков, а сверх того порвет связь их с самими поляками, которые не преминут поносить их национальную веру.

§ 2. Обряд униатский должен различаться от православного единственно поминовением папы на эктениях.

Органы, звонки, бритые бород духовенством, принятие святых таин на коленях и прочие нововведения в унию не допускаются. Но употребление скамеек в церквях должно быть терпимо на первое время. Все это будет охотно принято большинством, которое радо будет возможности, не насилуя своей совести, сделаться хоть наружно русским.

§ 3. Униаты пользуются совершенно одинаковыми правами с православными, по службе и по праву владеть недвижимыми именами. Не желающие принять унию пользуются правом переселения в Царство Польское.

Уния разом покончит с затруднительным вопросом введения русских землевладельцев в Западный край, потому что она переделает поляков в русских, а лет через двадцать сама собой падет и сольется с православием.

§ 4. При наречении младенцев разрешается им давать только имена святых, чтимых одинаково православною и униатскою церковью.

Адольф, Феликсы, Казимиры, Болеславы и тому подобные имена невольно напоминают носящим их связь их с Польшею и с Римом. Та же мера должна быть принята и в правописании* тамошних имен русскими буквами. Глембоцкий, Венгринович, Заремба, Паржницкий, Ржевусский, Радзивил, Дзедзицкий в официальных бумагах и вообще в печати должны стать попрежнему русскими: Глубоцкий, Угринович, Заруба, Парьницкий, Ревусский, Радивил, Дедицкий.

Та же мера должна быть применена и в отношении евреев: Шмунь — Самуил, Ицек — Исаак, Шулем — Соломон, Лейба — Лев, Абрам — Авраам, Мошко — Моисей и т. п. Равно было бы очень не лишним предложить им заменить добровольно свои немецкие фамилии русскими.

§ 5. Униатские священники набираются преимущественно из галицких и из угорских русских; дерзое, потому что они не большие приверженцы униа, а во-вторых, они сумеют, по своей высокой образованности, благотворительно влиять на дворянство, напоминая ему о его русском происхождении.

* Зачеркнуто: польских.

Митрополитом униатским, таким, какого * нам нужно, всего лучше было бы поставить или перемышльского каноника Гинилевича или Юзечинского.

§ 6. Католические семинарии и монастыри обращаются в униатские, равно как и все католические имущества (иезуитские и т. п.) переходят в их ведение, вместе со всеми богадельнями, приютами, школами, общинами сестер милосердия и т. п.

Правила эти распространяются на всю империю, за изъятием Царства Польского.

§ 7. Все торговцы и ремесленники Западного края обязываются на каждого сидельца или подмастерья из иноверных исповеданий (еврейского и лютеранского) ** брать по одному православному или униату, преимущественно из мальчиков крестьянского происхождения.

Этим лет через пятнадцать Западный край был бы снабжен средним классом одной веры и одного языка с народом, что много содействовало бы быстроте его обрусения и освободило бы его от монополии евреев и иностранцев. Правило это должно быть применено и ко всем прочим промыслам — к агрономии, к лесоводству, к железным дорогам, винокурению, фабрикам и т. п.

МЕРЫ К УСИЛЕНИЮ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

§ 1. Молодым людям, вступающим на службу министерства иностранных дел, всем вменяется в обязанность изучение *** пяти главных славянских наречий (польского, чешско-словацкого, словенского, сербского и болгарского), хотя настолько, чтобы могли свободно следить за славянской печатью.

Министерству иностранных дел надо знать все, что делают и думают славяне. Оно может не иметь видов на присоединение их к России и не верить в возможность его, но необходимо ему во всем его составе, от министра до последнего канцеляриста, следить за всем, что делается у славян, синего пороку не упуская.

§ 2. Никто не получает должности при посольствах или при миссиях, кто три года не прожил между славянами, не ознакомился с их бытом, литературой, представителями, — словом, кто не знает их так коротко, как и русских.

Только тогда наша политика примет национальный характер и станет опираться на массы, что теперь, когда прошло время кабинетной дипломатии, более чем необходимо ****. Понятно, что эти три года практического изучения вопросов считаются действительной службой.

§ 3. Секретари, атташе и прочие члены посольств должны ежегодно совершать поездки для сближения с влиятельными лицами в славянстве и должны доставлять в министерство отчеты о своих наблюдениях.

§ 4. Закон *5, что посольство и консульства обязаны защищать русских, находящихся за границей, и содействовать им в изучении чужих краев, перестает быть мертвой буквой. Дипломат, отказывающий русскому в своем содействии, должен письменно изложить ему причины своего отказа, приглашая апеллировать в надлежащее ведомство.

§ 5. Из способных лиц средних и низших сословий, которым обычай и условия дипломатической деятельности преграждают путь к службе наравне с лицами высших сословий и с людьми богатыми, образуется «Общество русских путешественников», которые сообщают министерству, через своего председателя, все собранные ими сведения и получают вопросы и наставления для ведения разного рода негласных дел, для собирания сведений от лиц, с которыми члены дипломатического корпуса не могут входить в сношения (от простолюдов, от лиц компрометированных), для переговоров с польскими и русскими эмигрантами о примирении их с правительством и т. п.

Общество это устроится под покровительством кого-нибудь из высочайших особ, не навлекая на себя подозрений, а содержание его мало или почти ничего не будет стоить правительству, так как самыми *6 деятельными его членами будут литераторы и корреспонденты, всегда получающие пропасть сведений, которые не знают куда девать и кому сообщить, и имеющие пропасть связей, которыми не считают теперь нужным пользоваться. Председатель, его помощник и секретарь одни будут посвящены в тайную цель общества и одни будут в связях с правительством, доставляя ему ответы на его вопросы и любопытные показания. Не завися же от него ни по службе, ни по содержанию, они не будут бояться показывать ему истину во всей ее, иногда неслетной для правительства, наготы, а, между тем, оцепят для него всю Европу своими друзьями.

* Зачеркнуто: именно.

** Зачеркнуто: иметь у себя.

*** Зачеркнуто: семи.

**** Зачеркнуто: для нас.

*5 Вместо зачеркнутого: правило.

*6 Зачеркнуто: ловкими и.

*7 Зачеркнуто: невыгодной.

Стоит правительству приложить к делу эти ничего ему не стоящие правила, и оно вдесятеро более будет значить в Европе. Пусть же недаром кричат о русских агентах, — не наша будет вина, что они навели нас на мысль завести их. Если они* их боятся, значит, мы можем и должны их иметь, этого требует долг соблюдать выгоды государства.

§ 6. Достоинство правительства требует, чтобы его придворный и дипломатический язык был исключительно русский. Неуважение к этому языку, распространяющемуся от Адриатического до Японского моря, от Венеции до Нагасаки, навлекает упреки со стороны славян и насмешки от немцев, а на Россию действует пагубно, внушая обществу мысль, что все французское лучше нашего, что и доводит до увлечения социализмом, до мечтанья о баррикадах; до небрежения нашими преданиями и православием,** которое мы особенно видим в высших сословиях, переселяющихся во Францию и совращающихся в католичество. Пример Англичан лучше всего доказывает, как выгодно для правительства держаться народного языка.

§ 7. Представители России за границей должны быть преимущественно русские по вере и по имени.

Порта может, по недостатку образованных турок и по общей их неспособности, прибегать к*** фанариотам и перотам¹⁸⁶ для ведения своих иностранных дел. У нас же ничто не оправдывает предпочтения потомкам наших бояр, князей и прочих родовитых людей, оказываемого нашей нерусской и неправославной знати. Отстранение ее от дипломатического поприща оскорбляет нашу народную гордость и наши предания. Русская знать собрала Россию в Московское государство; русская знать отбила его от татар и от поляков; русская знать дала поддержку великим преобразованиям Петра и Екатерины, — за что же она упала в доверии у правительства со времен несчастных для нас венских конгрессов? Народ наш ей верит, как верил в московские времена, славяне гордятся ею, а между тем, кроме Игнатьева¹⁸⁷**** наши представители при главных европейских дворах не русские: д'Убриль, Бруннов, Будберг, Штапельберг, Сфенберг (в Варшаве Берг и в Гельсингфорсе Адлерберг). Неужели же нет другого средства привязать к престолу остейцев? Предпочтение их⁵ русским возбуждает ропот, навлекает на правительство упреки в пристрастии к немцам,⁶ подрывает кредит дворянства и, следовательно, ослабляет народную самоуверенность.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ*

ТУЛЬЧА

При трех губернаторах был я атаманом турецких русских, и так как с переменою их менялись и мои обстоятельства, то рассказ мой о Тульче распадается сам собой на три части.

*

Первым из этих трех губернаторов, при котором я приехал в Добруджу, был Рашид-паша, человек очень не глупый, вполне европеец, — он семь лет в Париже выжил, — и, что главное, искренно желал сделать что-нибудь путное для края. Знакомы мы были с ним еще с Цареграда, где я бывал у него по вилковскому делу, и приезд мой в Тульчу приятно порадовал его. Явившись к нему с визитом, я откровенно рассказал ему, кто я, зачем приехал и что хочу сделать.

— И прекрасно, — сказал он. — Поселясь здесь, вы будете полезны и для края и для правительства, а особенно для меня. Я, признаться, путаюсь с здешними казаками. По-казацки⁸ я не знаю, честных переводчиков у меня нет, а казаки так скверно говорят по-турецки, что я, против воли, часто решаю их дела невпопад и, при всем желании

* Зачеркнуто: нас.

** Зачеркнуто: что.

*** Зачеркнуто: грекам.

**** Зачеркнуто: все.

⁵ Зачеркнуто: нам.

⁶ Зачеркнуто: ослабляет.

⁷ На первой странице помета карандашом: «Препроводить в Комиссию 10 июля».

⁸ Казакче. Турки с умыслом не называют наш язык в Добрудже русским (московче), чтобы порвать нашу связь с Россией». [Примечание Кельсиева.]

сделать им добро, даже, я думаю, зло им иногда делаю. Будьте же моей правой рукой и помощником в делах ваших соотечественников.

Я объяснил ему все, что знал об обидах, претерпеваемых русскими, и на вопрос его об адресе отвечал то же, что и Садыку, с просьбою замять дело и обратить его даже в шутку, если возможно. Он понял меня и дал слово не подымать истории, — таким образом, в первое же мое свидание с пашой мне удалось спасти моих земляков; начало было хорошее.

— Ну, — смеялся Рашид, — уж если вы так держитесь правила, что преступления надо не казнить, а предотвращать, в чем я с вами вполне согласен, то возьмите ж вы на себя труд, чтоб у нас не было фальшивых монетчиков, а их много; чтоб конокрадство ослабло; чтобы меня бестолковыми и грязными процессами не мучили, а главное, охраняйте наш край от заграничной пропаганды. Здесь что-то странное творится; на-днях здесь было несколько венгерцев, как говорят, и они распространяли между болгарами какие-то прокламации; я ничего не мог понять, а вы добьетесь, что это такое, и найдете средства, как п р е д у п р е д и т ь.

— Все сделаю, — сказал я, — и ручаюсь вам, что с поселением моим здесь я делаюсь истинным гражданином и патриотом Добруджи и, как гражданин и патриот, не допущу никого вводить мою вторую родину в какие-нибудь политические дразги. Пусть этот край ни во что не мешается, — довольно с него быть убежищем для спасшихся от политических крушений и нуждающихся в покое и в отдыхе. Здесь столько разных народностей, что смешно и думать о политическом его значении. Будьте покойны, все будет тихо; я докажу, что умею быть благодарным вашему правительству за его гостеприимство нам.

В тот же день случай дал мне возможность перезнакомиться лично со всеми тульчинскими монетчиками и принудить их * прекратить свое производство. Через неделю и прочие неблагоприятные промыслы пресеклись, так что в полтора года моего атаманства ни один русский не был замешан ни в одном уголовном деле. В тюрьме они постоянно сидели, но по делам относительно мелким — за драку, за буйство, за мелкую кражу, бродяжничество, по подозрению иногда; в каторгу ни один не пошел. Моя система предупреждения была очень хитрая, и, разумеется, приложить ее можно было только в Добрудже и только при патриархальности ** тамошних нравов. Узнав, что такой-то на руку нечист или в каком-нибудь «художестве» упражняется, я зазывал его в трактир или в корчму, распивал с ним пару чая или оку *** вина, вел с ним разговор по душе, заставлял его рассказывать свои похождения и расставался с ним лучшим его другом. Это удивительно действовало на них, — им как-то совестно становилось продолжать прежнее, они меня щадили, огорчить боялись; мое сочувствие к их бедам и страхам исправляло их. А я никогда не давал им советов и нравоучений не читал. Я просто интересовался их психологическим бытом, и мои расспросы, что они чувствовали, когда резали, грабили, сидели в остроге, шли сквозь строй или плети пробовали, заставляли их заглядывать в свою душу и задумываться над своим нравственным и умственным состоянием; и стоит человеку взяться за свой психический анализ, и он спасен. Я же относился к ним сочувственно, без упреков, без проповедей, я не унижал их в их собственных глазах, не корил их своим превосходством, и исповедь их передо мною исправляла их. Они помнили, что есть на свете человек, который их понял, дорожили моей дружбою и делались людьми, как все люди. И как же я изучил этот трущобный мир в Тульче! Каких ис-

* Зачеркнуто: оставить свою фабрикацию.

** Зачеркнуто: турецких.

*** Две бутылки шампанского составят одну оку. [Примечание Кельсиева.]

поведей я ни наслушался! Там понял я, что такое наш мужик и наш преступник и как мало нужно * нашему преступнику, чтобы спасти его на всю его жизнь. Сочувствие, доверие, уважение [к] его нравственным болям все из него сделают, а пропаганда, какая бы она ни была, никогда его не прошибет. В этих грязных трактирчиках и корчмах я узнал людей и научился любить их, не идеализируя и не требуя от них принятия моих теорий. Страсть к падшим развилась у меня в Тульче, я нарочно отыскивал самых закоренелых злодеев, я посещал разбойничьи вертепы даже в молдавской Бессарабии, я не раз жизнью рисковал для сближения с этими вырожденками человечества и всегда расставался с ними дружески и никогда не слышал, чтобы кто из новых моих друзей попадался или был замешан в какое темное дело. А, между тем, они вовсе не считали меня самым каким-нибудь безупречным человеком или учителем их. Не от одного из них слышал я дурака за то, что бунтовщик, что против царя иду, что с поляками дружу, и ни один из них не пошел бы за мною на «баррикады» **. Дружба была дружбой, а «отеческое предание» их так и оставалось «отеческим преданием», о разрушении которого даже и думать было нечего.

И с тяжбами я завел такой же порядок. Являлся кто с *** иском ко мне, прося доложить дело паше, я требовал, чтобы он привел мне свидетелей и доставил документы, говоря, что не могу же я беспокоить пашу, не разобрав толком дела. Когда он доставлял мне все, что было нужно, я брался за противника и с него требовал доказательств, чтоб не вводить его понапрасну в убыток и чтоб греха на совесть не брать, подымая неправо дело. Результат выходил всегда блестящий: дело разъяснялось само собой, да так разъяснялось, что тяжба становилась невозможной; и в полтора года моего атаманства не было ни одной тяжбы русского с русским, — все решалось за самоваром или за графином вина (без вина в Добрудже ничего не делается, его пьют, как воду, да оно и не крепкое там).

Политических дел, разумеется, никаких не случалось. Венгерцы оказались выдумкою полиции и неумеренно ревностных друзей правительства, а прокламации были те самые, которыми несколько месяцев тому назад Разноцветов украшал кабаки. Паша посмеялся, тем дело и кончилось.

Добился я права посещать тюрьму; настоял, чтоб ее почише держали, уничтожил преследование беспаспортных, не имеющее уже никакого смысла в этом краю, где девяносто девять процентов населения — беглые; пьянство немножко притормозил, — словом, делал все, что мог, не жалея ни трудов, ни времени.

Каждое утро, часов в девять, я являлся в кабинет паши с списком русских дел и с докладными записками по тем из них, которые были сложнее, **** мы вместе разбирали их и, что можно было, тут же и решали. От паши шел я, атакованный просителями, в чайную, — так называют на юге трактиры, в которых, кроме чая, ничего не подается, — и там, усуживая стакан за стаканом, решал споры, ⁵ выслушивал жалобы и сообщал решения. Чайная эта была самым удобным местом для ⁶ меня, по близости своей к присутственным местам, я же жил далеко, да и неприятно было бы делать из своего дома сборное место всяких крикунов и спорщиков. В час я заходил домой пообедать и приготовить вечерние доклады, в два был опять у паши, а в пять, когда

* Зачеркнуто: каждому.

** Зачеркнуто: как выражались нигилисты.

*** Зачеркнуто: жалобой.

**** Зачеркнуто: и тут же.

⁵ Зачеркнуто: получал.

⁶ Зачеркнуто: моих русских.

кончается присутствие,* уходил домой изнуренный и оглушенный до-нельзя. А бывали дни, что дел по тридцати проходило через мои руки, что раз шесть нужно было входить к паше, не считая беготни в чайную, посещения тюрьмы, любезничания с полицеймейстером и с русским купечеством, выслушивания всяких сплетен, городских и политических новостей. И такая жизнь мне как нельзя более нравилась, — она наводила на меня самозабвение, заглушала горечь моего разочарования. Я чувствовал себя полезным и был счастлив.

И домашние мои дела шли хорошо. Понемножку я обзавелся мебелью, посудой; являлась даже возможность завести правильную канцелярию и заложить школу для детей тульчинцев. У брата моего была уже школа. Приехав в Добруджу раньше меня, он ничего не добился от Аркадия, кроме обещаний, и сел без денег в такое время, когда и я** ничего не мог ему выслать. Староста руснаков — так там малорусов называют — предложил ему устроить школу, и он с радостью ухватился за это предложение. Но школа его шла плохо: детей было мало, — всего человек десять, плата за каждого в месяц — около шестидесяти копеек (десять пиастров), так что ему жить*** было нечем. А работа была каторжная, — с раннего утра до позднего вечера должен был он мучить их азбукой, складами, часословом и псалтырем. Руснаки, от которых он был в зависимости, никак не соглашались позволить ему учить по более рациональной методе и строго требовали, чтобы он не вводил ни истории, ни географии. География-то особенно им не нравилась: «Мы не мериканцы, мы землей живем, чого ж детей заводити будете в пучины морские и чого им знати про те пучины? Як они их узнают и земли не захочут орати. А чу ее к бесу, гограхвию, мы православные! не мериканцы!» Обидно, невыносимо тяжело было брату подчиняться этим дикарям и **** сознательно отуплять своих учеников. Приезд наш, которого он не ждал, был большой для него радостью, мое значение при паше сильно и его подняло в глазах руснаков, а вскоре удалось мне добыть ему место в миссионерской американской школе, о которой мне придется говорить ниже. Жалование там было семь червонцев (двадцать один рубль серебром), преподавание более обширное и с поползновением на рациональность. Таким образом, доходы наши увеличились, и мы *⁵ стали затевать принять к себе еще какого-нибудь бедствующего эмигранта, который мог бы заменить брата в американской школе, а брат стал бы или моим помощником при паше, или завел бы свою собственную школу. Мы предложили Герцену эту высылку к нам эмигрантов, в которых мы, сверх того, еще потому нуждались, что в Тульче не с кем было даже умного слова сказать. Ни по сочувствиям, ни по убеждениям мы не могли сойтись ни с кем из консулов или из адвокатов, медиков, агентов и прочих образованных людей в Тульче. Их фразы о Франции, о конституции или республике были нам нож острый, а их самодовольствие возмущало нам душу. Русских людей нам нужно было, с умом, любящим анализ, людей без предрассудка и без политического катехизиса. Эберман, единственный наш приятель тогда, хоть был и неглупый малый, но не удовлетворял нас по недостатку сведений, да и Герцен, узнав, что он в Тульче учителем молоканской школы, требовал его изгнания, как шпиона. Жалко мне и Эбермана было, да и Герцену, которого я искренно любил, как человека, нельзя было отказать. Эберману и тогда хотелось ехать

* Зачеркнуто: снова.

** Зачеркнуто: тоже.

*** Зачеркнуто: даже.

**** Зачеркнуто: чувствуя, что может делать хорошее.

*⁵ Зачеркнуто: уже.

в Россию, я начал было устраивать ему складчину, но она не удалась, а тем временем он имел неосторожность перессориться с молоканами, остался без куска хлеба, и пришлось взять его к себе. Занятия ему я не мог найти, — он языков не знает; так то у меня, то бог знает где и чем прожил он все время в Тульче, где я его и оставил в апреле 1865 г.

Никогда мне так хорошо не жилось, как в начале этого 1864 г. Усталый от трудов, но довольный, что и этот день мне удалось, хоть кому-нибудь, сделать добро, приходил я домой, где меня ждали брат, жена и дочь, где я мог отдохнуть за дельным разговором или вместе с ними помечтать об устройстве нашего будущего. Эмигранты, которых мы ждали в товарищи, должны были примкнуть к нашей семье, и жалование свое, — были тогда места в Тульче при телеграфе, при конторах и т. п., — они вносили бы в * общую кассу. Вместе работая, разве не могли бы мы поднять уровень просвещения Добруджи? Разве не могли бы открыть там гимназию? Вести правильное пчеловодство и садоводство? Болгарский журнал заложить? Легко было нам на душе, рады мы были нашему удалению от политических бурь, будущность была светла... Герцен, впрочем, не был доволен моим разочарованием, дружески упрекал меня в нем и, боясь моего влияния на брата, звал его в Лондон для свидания. И я и брат, мы оба радовались этой поездке. Брату хотелось посмотреть Европу и Герцена, я радовался за брата. Хорошо жилось, — я не помню, чтоб когда-нибудь мне было так хорошо в жизни, а никогда не забуду этих вечеров в нашей хате, этих дружеских споров, песней брата и Эбермана, у которых были славные голоса, толков о будущем. Казалось, что счастье наше прочно, что наш кружок, — мы так любили и уважали друг друга, — никогда не разрушится... Впереди было светло — и вдруг... А это было благоуханной южной весной.

Вышел я утром из дому и зашел в чайную, поджидая просителей. Голова что-то была тяжела, стало ломить руки и ноги. Я пощупал пульс, он бил лихорадку. Через полчаса я уже с большим трудом добрался до дому, а вечером ** лежал без памяти. Что происходило эти две недели тифа, я ничего не знал; медики не надеялись меня спасти, но героические их средства или сама природа подняли меня на ноги. Выздоровление шло медленно, но через месяц я уже совершенно оправился, а брат стал слабеть. Он чувствовал какое-то одеревянение во всех членах и поминутно засыпал. Как ни боролся он с болезнью, которая *** медленно к нему подходила, тогда как меня разом сшибло с ног, — свалился и он. Доктора не придавали большой важности его болезни, и он, действительно, не был так страшен, как я, и поправляться даже начал. Ухаживая за ним, мы с женой дежурили по ночам у его постели, — одну ночь она сидела, другую я.

— Вставай, — разбудила она меня одно утро, — я устала сидеть и вздремну немножко, а ты пойди к брату. Это, должно быть, последний раз мы не спим по ночам, ему сегодня гораздо лучше.

Я взял книгу — какую-то беспоповскую рукопись — и перешел в комнату брата. Ему в самом деле было лучше; я принялся за чтение. Метаться он стал, точно его подергивало; я сначала ничего не подозревал. Подергивания становились сильнее и сильнее, он вздрагивал всем телом. Страшная мысль мелькнула у меня в голове; я послал за доктором, доктора не могли пробудиться. Послал за цирюльником — тоже не добудились. Я сам открыл ему **** жилу, — кровь не пошла...

* Зачеркнуто: нашу.

** Зачеркнуто: уже.

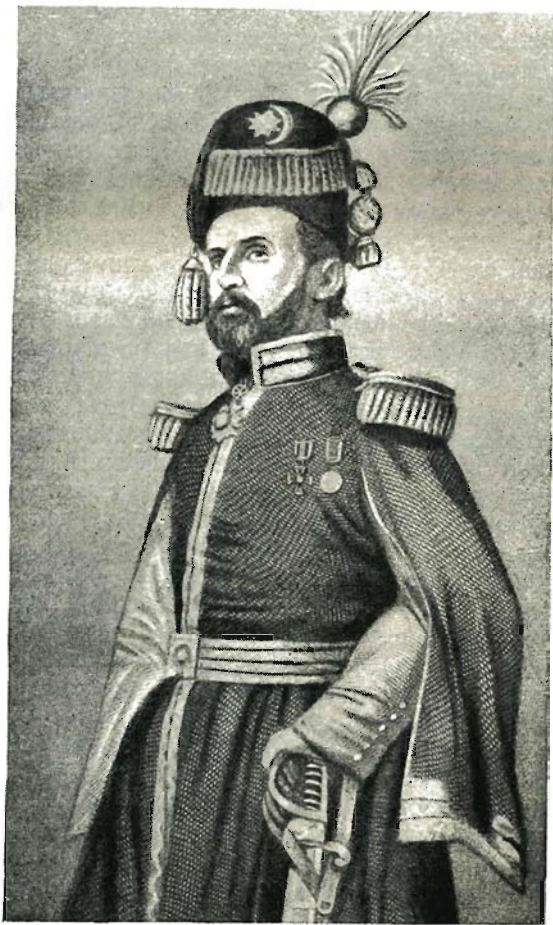
*** Зачеркнуто: так.

**** Зачеркнуто: кровь.

Он умер на моих руках. Он умер, и с ним все пошло прахом. Злоба и отчаяние закипели у меня на сердце. Мне не верилось, что я переживу его. Я ходил, как помешанный. Я никого так не любил, как брата. У меня слов нехватает и силы нехватает рассказать об этом ужасе.

*

Рашид-паша оставил Тульчу во время моей болезни. Его отозвали в Цареград и сделали генерал-губернатором Смирны. На его место поступил Сабри-паша, его приятель и товарищ по парижской жизни.



МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИЙ — МЕХМЕТ-САДЫК-ПАША

Литография

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Это был тоже превосходный человек, но он был прислан в Добруджу на время, до введения вилайетов (генерал-губернаторств), которые тогда замышляло правительство и которые должны были Добруджу — доселе самостоятельный пашалык — подчинить Рушуку. Поэтому Сабри не смотрел серьезно на наши дела и не затевал ничего нового, стараясь только не утратить и не разрушить того, что было сделано его предшественником.

Было лето, рабочая пора, дел стало мало. Жалование мое не приходило из Цареграда, только раз я его и получил. Я писал Садыку

и Алеону, его приятелю и банкиру Порты; мне ответили сухо, что во мне не нуждаются. Я ничего не понял, но у меня была семья, пришлось искать работы, и я, скрепя сердце, занял место брата в американской школе, хотя совершенно не гожусь быть учителем. Уже не бедность, а нищета начала меня преследовать, нищета неизлечимая, которая, как бездонная кадка, поглощала все мои маленькие доходы.

Все * пропало — верования, брат, надежды, самая возможность жить по-человечески. Тоска щемила сердце, и тоска эта тем была страшна, что ум не мог приискать исхода. Агитаторство стало так же невозможным, как воскрешение брата, потому что нельзя же агитировать без веры, а как было верить, когда кругом все говорило, что моя прошлая деятельность была не только ошибка, но просто-напросто водотолчение, когда русские люди, между которыми я жил и которых я в первый раз в жизни изучал, не только воспринять, но даже понять не могли наших учений. Я в Лондоне рассчитывал сделать их пропагандистами нашего дела, а они твердо убеждены, что всякое вмешательство их во внутренние дела России было бы преступно: «Мы здесь за границей живем и тамошних делов не понимаем. Коли там что нужно сделать, так там найдутся люди и сами сделают, — им там видней». Простонародье ни за что не возьмется за какую-нибудь пропаганду: «Мы люди маленькие, где нам о таких делах думать! Да и кто нас послушает!» А «вельможи» заняты своими торговыми и промышленными делами и ни за что не хотят впутываться в политику, чтоб не расстроить этих дел. Без согласия же «вельмож» народ ни шагу не делает. Буржуазия — аристократия и у нас, и будь побольше этой буржуазии в Добрудже, не были бы так дики тамошние русские, потому что был бы у них высший класс, проводник хоть каких-нибудь идей и манер. В России считают раскол орудием купечества, но то же самое происходит и в Англии и в Америке. Масса везде подчиняется богатым людям, которые дают ей работу и у которых можно, в случае нужды, признаться. Независимому человеку все льстят, и все к нему подделываются. Поэтому его слово становится законом, и его мнения, собственные, или заимствованные, — обязательной религией. Будь я миллионер, будь у меня заводы или фабрики в Тульче, может быть, и удалось бы мне найти последователей, как польским аристократам, но бедняку ** ничего нельзя сделать. Впрочем, если б и был я богат, я уже не в силах был агитировать: вера пропала, а с нею и сила и энергия. Только вера может чудеса творить, скептик бессилён.

Убитый, мрачный, злой, учил я ребятишек всяким ценным правилам, географии, языкам. Тоска давила, говорить только с женой мог, но и она была тоже подавлена этой ужасной потерей, как вдруг явился к нам русский эмигрант из Парижа. Чуть ему на шею не бросился, когда он мне подал письмо от Герцена, — я думал, что будет у меня хоть с кем слово сказать...

Михаил Семенович Васильев ¹⁸⁸ говорил, что он — поручик какого-то пехотного полка из стоявших в Варшаве; убеждения не позволили ему идти против поляков, и он эмигрировал. Вот и все, что он о себе рассказывал. Языков он не знал, но занимался ими, равно как и всеми науками, а особенно астрономией, технологией, агрономией, и, вообще, отзывался, что кто, как он, десять лет походил с полком, тот всему научится. И началась моя попытка: то он просил меня *** посмотреть его астрономические вычисления — основанные на показаниях академического «Месяцеслова!» — во сколько дней, часов, минут и секунд зем-

* Зачеркнуто: рухнуло.

** Зачеркнуто: да еще скептику.

*** Зачеркнуто: проверить.

ля обращается вокруг солнца. Целую неделю он делал какие-то выкладки, и в один день сообщил мне, что истинный год состоит из 339¹/₄ дней, а на другой день извинялся в ошибке и объявлял, что земля обращается в 375 дней, 9 часов, 3 минуты, 10 секунд, 20 терций... и унять его нельзя было. Спорил о французском языке и уверял, что в Париже сам слышал, как французы спрягают être: он был — il était, а она была — elle éta (или état — не знаю, как это и написать). «Я все знаю, все умею, — говорил он при каждом случае, — меня уж нечего учить! Кто десять лет с полком выходил...» И, вот, пришлось выслушивать проекты изменения русской азбуки, — а он * ять не умел поставить, — и просматривать его пробы писания по-русски то польскими, то собственного изделия буквами. Жене моей хозяйничать не дал, сам взялся; перегноил пропасть мяса, огурцов, дынь. Ваксу не позволил покупать, а сам стал делать, перепачкал сажей и дегтем весь дом; перебил пропасть посуды... чернильную фабрикацию открыл. Мы с женой все терпели, все спускали, мы ** надломлены были до бессилиия, но он взялся за воспитание моей дочери (я все знаю, я все умею), а этого я не мог позволить и восстановил свои хозяйские права. Побунтовал он, поворчал, но признал мою власть и пошел удивлять Тульчу своими советами и проектами реформ. За что только ни брался этот человек! И новые секты какие-то сочинял, и рыбой торговал, и буфетчиком в чайных делался, и новые костюмы проектировал, и детей учить принимался. Не знаю, где он теперь, но уверен, что не унялся. И ко всему этому он был крайне скуп, скрытен, жаден, во все мешался, как его ни обрывали, и довел меня впоследствии до того, что я его выгнал из дому; а я — человек в высшей степени сносливый и уступчивый.

Понятно, что приезд такого товарища только хуже сделал. Прошло еще месяца с два. В августе, я думаю, явился в Тульчу Сливовский, о котором я поминал выше. Это человек неглупый, довольно образованный, без претензий, и мне весело было, что он у меня поселился и занялся уроками музыки, — было хоть слово с кем сказать. В одно время с ним явился и другой эмигрант, артиллерийский штабс-капитан Петр Иванович Краснопевцев,¹⁸⁹ один из участников адреса Герцену русских офицеров в Польше. Тогдашнее настроение и личная ссора с начальником (Борозда? Бороздин?) побудили его бежать из полка и сделаться повстанцем, — он, кажется, адъютантом был у Крука¹⁹⁰. Это был человек, по крайней мере, умный, с которым можно было слово сказать и который мог толково возражать на мучившие меня вопросы. Оживилось у меня опять, как-то легче стало, как-то и будущее стало светлей казаться, — опять возникли надежды, и опять стали планы строиться. Заведение гимназии в Тульче было моей любимой мечтой, и Сливовский с Краснопевцевым отнеслись к ней с сочувствием. Но нас троих было мало для начатия этого дела, Краснопевцев же ни одного языка не знал, а языки в Турции — условие необходимое. Нужно было пополнить нашу общину. Я поехал в Галац поискать между поляками, которых там было около сотни в то время, не найдется ли кого-нибудь, желающего сделаться нам братом и полезным помощником. Если б нашелся, то гимназия на всю Добруджу и Бессарабию мигом бы устроилась. Дом можно было нанять рублей за десять, да рублей на десять устроить столы и лавки, и насчет спален и т. п. нравы в тех краях так невзыскательны, что рогожка на полу удовлетворит любого русского или болгарина. Потребность же

* Зачеркнуто: даже.

** Зачеркнуто: истомлены.

в хорошем училище, не носящем ни малейшего пропагандистского характера, очень велика.

В Галаце я нашел много студентов-поляков, а в то время для меня слово студент еще не утрачивало своего обаяния. К полякам же я обратился и между ними искал товарищей вовсе не по особому сочувствию к ним, — русских там нет, французов и немцев я не совсем люблю, да они бы и не годились для славянской гимназии, а поляки, что бы они ни думали о русских, никогда бы не могли действовать против моих планов уже просто потому, что я был и их начальником, — все выходцы из России были мне подведомственны, в том числе даже евреи. Сверх того, новая польская эмиграция в то время не начинала еще разлагаться. Ненависти к русским в ней не было, как не было и упорной веры в принадлежность Польше Западного края, что в старых эмигрантах доходит до мании. В повстанье участвовали не столько по принципу, сколько из удали, по общему оппозиционному духу, охватившему тогда Россию. Пройдет еще два-три года, и новая эмиграция, разумеется, освирепеет до ненависти к нам, потому что не будет в столкновении с русскими и потому что нужда и тоска по родине заставят ее видеть в каждом русском личного врага. Исключения везде есть, но en masse новые эмигранты далеко еще не потерянные люди, и, будь я не опальным, я давно бы довел их до уступок правительству. Я коротко знаю поляков и совершенно убежден, что мы могли бы не только примириться с ними, но даже воспользоваться ими как пропагаторами * всеславянского государства. Теперь они на Австрию молятся — отчего ж нельзя заставить их молиться на нас? А из них одним ласковым словом можно сделать что угодно. Если я когда-нибудь буду помилован и если правительство доверит мне, я войду в переговоры с эмиграцией, что мне легко сделать при множестве связей с нею и при знании ** ее быта, ее верований и ее jargon'a. Предводители ее, разумеется, станут ломаться и заявлять невозможные требования, но большинство мигом можно отвлечь от них. А чуть это большинство будет на нашей стороне за разные пустые уступки, которые можно им сделать, не нарушая ни нашего достоинства, ни нашего государственного единства, ни наших прав на Западный край, то, во-первых, и предводители потеряют влияние, а, во-вторых, и Царство Польское успокоится, потому что оно вечно фантазирует, будто эмиграция хлопочет за него на Западе, да и тоскует по ней, так как у каждого есть в ней друзья и родные. Время ж для этого теперь благоприятное: главный пособник поляков, Наполеон, вынужден искать в нас опоры. Если б я мог, оставаясь изгнанныком, войти с ними в серьезные переговоры, я бы не воротился покуда в Россию. Одним из моих главных побуждений к этому возвращению была именно невозможность быть полезным ей в опале. Я много мог сделать при моих связях и при моем знании всех этих mystères d'Europe, но без согласия правительства нечего и затевать было, а согласие нужно было заслужить, нужно было доказать мою искренность; я и сдался ему в залог своего чистосердечия.

В Галаце выбрал я двух: киевского студента Станкевича¹⁹¹, украинофила в польском смысле, который принадлежал к отряду казаков полковника Вылежинского, и чеха Шварца, натуралиста, технолога, кончившего курс в Праге и бежавшего за границу от преследований немцев. Этих двух было за глаза довольно, но, на беду, к ним прицепилось еще двое, галицкий русский Левицкий и чех Дауша, тоже технолог¹⁹². Они ехали в Тульчу искать хоть каких-нибудь занятий и

* Зачеркнуто: интересов нашего.

** Зачеркнуто: как нельзя лучше.

просили позволить хоть несколько дней пожить у меня, пока что-нибудь не сыщется. Я отговаривал их от этой поездки, зная, что в Тульче им ничего не найти, но они настаивали, а в гостеприимстве я никому еще не отказывал.

Приезд их в ноябре 1864 г. совпал с приездом нового губернатора Ахмед Расим-паши, уже зависевшего от рушущего вали (генерал-губернатора) Мютад-паши, который в настоящее время стал известен своими зверствами над восставшими болгарцами. Пошли реформы, смены чиновников, сделалась неизбежная путаница, и явился невиданный и неслыханный в Турции формализм и бюрократизм. Ни чиновники, присланные нарочно из Цареграда, ни паша-реформатор, ни наш брат, смиренный рая — никто не мог толку добиться в этом хаосе. Мне и всем русским стало положительно хуже: по старому, патриархальному порядку, все дела решались словесно, по совести и по крайнему разумению паши или кади, а если ни тот, ни другой не могли добиться толку, что у нас часто бывало по незнанию русскими турецкого языка, то советом наших же стариков. Несправедливостей и злоупотреблений, разумеется, было много, но они искупались быстротой делопроизводства, тогда как новый порядок, при всей его сложности, ничем не гарантирует против злоупотреблений. Прежде решали по совести да и по здравому смыслу, а теперь — по закону, которого никто не знает, не уважает и которому не верят. Будь турецкие чиновники люди образованные, может быть, и была бы возможность управлять Турцией по закону, но так как (за исключением нескольких пашей, развитие которых состоит в знании французского языка, в умении полькировать да отпускать гуманные фразы) все они не развитее наших лабазников или волостных писарей, то и не могут способствовать введению европейских порядков, недоступных их пониманию и противуречащих их привычкам и преданиям. Как бы то ни было, но участие мое в управлении края необходимо уменьшилось.

Едва ли я воротился из Галаца с своими гостями, как один из них, Шварц, схватил тиф. Не успел он поправиться, Дауша и Станкевич свалились с ног. Тиф или что-то вроде тифа постигает всех новичков в устьях Дуная, состоящих из огромных заливных лугов, называемых плавнями. Дочка моя тоже захворала, да и я был нездоров, — от моей болезни у меня осталось какое[-то] странное поражение ног, обнаруживающееся одеревенением, а тогда открывшееся язвами. Пришлось сидеть дома, но Шварц занял мое место в школе, а Краснопевцев еще и прежде был моим помощником в ней. Болезни эти окончательно расстроили наши финансы, а мои товарищи напали на меня, зачем я не открываю гимназии. Я ходить не мог и просил их осмотреть указанные мною дома, сторговаться, заказать мебель, но ни один не двинулся. Они до того привыкли смотреть на меня, как на своего вожака и начальника, что у них энергии даже не хватало шаг самим сделать в каких бы то ни было пустяках. Они верили в меня, как в бога, а как у меня отнялись ноги и я не мог бегать по делам всей нашей общины, как пришлось ей стесниться в денежных делах, так они и духом упали и обвинили меня в недейтельности, хотя сами на боку лежали. Кончилось все тем, что в одно прекрасное утро они оставили меня и расселись по Тульче врассыпную, существуя занятиями, которые я же им доставил, в том числе и учительством, главным моим доходом. Оставили меня, как нарочно, в такой именно день, когда в доме не было ни копейки денег, ни полена дров.

Глубоко оскорбил нас с женой этот бесчеловечный поступок, эта черная сторона человеческого характера, существования которой мы даже не подозревали в людях, а уж тем более в этих. Жену мою

это так потрясло, что даже здоровье ее поколебалось, и с этой минуты она начала таять и таять. Делишки я свои скоро опять поправил, но оскорбление вошло вовнутрь, и тоска стала душить пуще прежнего. Пуще прежнего мысль моя сосредоточилась на убеждении, что с людьми ничего нельзя сделать путного, даже будь они развиты как угодно. Мизантропом я не сделался, но я стал смотреть на человечество, как на неизлечимого сумасшедшего, который не ответствен за свои поступки и которому ничем не пособишь. Я решился, не мудрствуя лукаво, быть с людьми осторожнее, сколько можно меньше связываться с ними, но все же помогать им, чем могу, для облегчения их страданий, которые они сами навлекают на себя своей беспутностью. Это скоро пришлось приложить и на практике. Рассыпавшиеся товарищи мои, не поддерживая друг друга, бедствовали до невозможности, ссорились и по очереди валились в тиф. В болезни я их не оставил посильной помощью, это примирило их со мною, хотели они было опять перебраться ко мне, но я уже потерял веру в последний мой золотой сон. Между тем, Шварц, Сливовский и Станкевич получили возможность кой-какого существования. Дауша с Левицким куда-то уехали, а Краснопевцев сдержал свое слово, которое мы все принимали в шутку, — он удавился на ремне от брюк. Еще в Париже он собирался удушить себя окисью углерода, но товарищи, с которыми он там жил, выломали дверь и привели его в чувство; а у него уже нога обгорала, свесившись с постели прямо на жаровню с угольями. В Тульче он, как и Васильев, сильно ошибся, — он думал, что я завожу там какой-то революционный очаг, и ехал прямо в унтер-агитаторы, а пришлось работать, да еще не зная языков. В американской школе его обидели. Полуграмотный учитель низшего класса получал там одиннадцать червонцев (тридцать три рубля серебром) в месяц за то только, что он молокан, а Краснопевцеву, который не мог содействовать обращению русских в методизм, дали всего четыре червонца, да и то покуда молокан не воротился к своим занятиям. Это, а равно и бесценность жизни, сознание своей ненужности, усталость — все наводило его на мысль о самоубийстве. В воскресенье (как-то великим постом) он зашел ко мне очень веселый, много шутил и, по обыкновению, толковал о том, что повесится.

— Что ж! Доброе дело, Петр Иванович, — смеялся я, как обыкновенно делается при подобных разговорах, — я могу даже веревкой вас снабдить, вон в саду какая длинная и крепкая протянута у меня для белья...

— Э, нет-с, позвольте-с, на веревке не следует-с. И больно, и неприятно. Я вот на этом ремне сию операцию совершу, аккуратней выйдет.

Мы посмеялись над его предусмотрительностью, еще о чем-то потолковали, и он ушел. Где он пропадал целый вечер и ночь, неизвестно. Видали его в разных концах города, но утром Сливовский и Шварц, с которыми он жил, бросились его разыскивать, — за ним никогда не водилось опаздывать в школу или ночевать не дома. Я тоже пустился в поиски, как вдруг один знакомый сказал мне, что какой-то еврей повесился на крыле ветряной мельницы. Я донял, что это был бедный Краснопевцев, которого многие принимали за еврея по его совершенно еврейскому типу лица¹⁹³.

Горько меня поразила смерть этого неглупого и честного человека, которого я очень любил. Перенес я тело к себе, похороны справил, и тут же мы окончательно решили с женой бросить этот несчастный для нас город и воротиться в Западную Европу, где я мог бы жить своим пером. Смерть брата потрясла меня так глубоко, что я совер-

шенно переродился. До того у меня не было способности писать прямо начисто, как я теперь пишу, — я все обдумывал, перечеркивал... Если б я в Лондоне или в Цареграде вздумал писать эту исповедь, я бы в год не справился с нею, а теперь — сегодня двадцать второй день, что мне дали бумагу, перья и чернила, и у меня уже почти двадцать печатных листов написано. Горе по брате, сильное нравственное потрясение вдруг породило во мне потребность писать и способность писать складно. Первое, за что я принялся, были мои «Черные думы», отрицание всех революционных и философских положений, отрицание полное, не заменявшее ничем опровергаемого и страшное по пустоте, которую оно оставляло на месте разбитых идеалов. В этих «Черных думах» даже поэзия своего рода была, и поэзия сильная; у меня желчь от бешенства клокотала, сарказм сменялся сарказмом; проклятие миру, его законам, людям, жизни и смерти, небу и аду кипело на каждой строке, и мои товарищи в Тульче в ужас приходили, когда я им читал эти вдохновенные строки, в которых отчаяние мое высказывалось в таких смелых образах и в таких дерзких аллегориях. Эти «Думы» никогда не появятся в печати, они потеряны в Галаце, а писать что-нибудь в этом могучем роде, который только мне и принадлежал, я больше не в состоянии. Дарование вспыхнуло во мне бурею, пламенем, и неожиданно явилось, и постепенно погасло. Последнее время — последний год — я уже ни разу не ощущал в себе этих некогда знакомых мне приливов вдохновения и иступления, да и нравственное состояние мое теперь совершенно другое: у меня снова есть и вера, и надежда, и идеалы, для которых я могу работать. Кроме «Черных дум», я принялся за повести, но до сих пор не был вполне доволен тем, что у меня было написано, и ничего не печатал, хотя, если буду иметь возможность, я думаю написать один роман из быта подобных мне эмигрантов и в этом романе не поцеремонюсь раскрыть все ужасы и всю нелепость этого быта. Уверенный в своих способностях, я писал письма в разные редакции и старым знакомым, спрашивая, не возьмут ли моих статей, и никто не отвечал. Таким образом, поездка в Европу стала необходимостью, — где-нибудь в Париже, в Вене я мог или от первого знакомого или от первого русского литератора узнать, как добиться сотрудничества в наших журналах. Ехать же без семейства, которое тогда увеличилось рождением сына, и думать было нечего: после опыта с товарищами я уже ни на кого не мог положиться, да и невозможно было расстаться с существами, которые одни привязывали меня к жизни. Наконец, ехать и потому еще стало необходимым, что меня начали уже заметно теснить в Тульче, где мое пребывание и деятельность многим не приходились по вкусу; пашу стали заметно всоружать против меня, а в Цареграде выхлопотали секретное предписание о непозволении мне заведи гимназию, тогда как в Турции даже и позволения спрашивать не нужно для заведения хоть университета. Был у меня один знакомый купец в Галаце, грек, с которым мы были приятелями и которому раз я помог в одном деле с турецкими таможенными; я обратился к нему с просьбой дать мне в долг триста рублей серебром на год, чтоб доехать с семейством до Парижа и перебраться там кое-как первое время. Он охотно согласился и сам же торопил меня перебраться в Галац, откуда австрийские пароходы идут вплоть до Базнаша, Пешта и Вены, обещая мне даже проезд мой устроить даром или, по крайней мере, очень дешево. Лучшего и желать было нечего; сборы мои были невелики, паспорт мне был выдан в Тульче, и хоть тамошний австрийский консул отказал мне в визе, потому что я эмигрант, но мне удалось визировать его у галацкого. Словом, я земли под собой не слы-

шал от восторга, вырываясь из этой пустыни, разбившей окончательно мое и так настрадавшееся сердце, из пустыни, где нет ни книг, ни журналов, ни людей, которая для меня даже прелесть неизвестности утратила. Я уже знал русский народ и его раскол, как, кажется, и знать короче нельзя, пропасть пережил и перечувствовал, знаком был как нельзя ближе с загадочным для большинства миром политических и неполитических авантюристов, приобрел чутье разгадывать их с первого свидания и умения обращаться с ними. Мне хотелось тогда писать и писать, войти в полемику с нашими революционерами и нигилистами, чтоб разбить их на их же собственной почве, доказывая им, что их отрицания и критика общественных отношений вовсе не ведут к тем идеалам, которые они создают себе, а просто-напросто вынуждают каждого мыслящего человека или удавиться, как Краснопевцев, или сложить руки и отказаться от всякой деятельности, как я. Я слишком горячо веровал в эти идеалы, чтобы относиться к ним безучастно, и мысль о разрушении их стала моею любимую мечтой. Я «отпел», заживо похоронил себя, но, как человек, я не мог отказать себе в свирепом, пожалуй, удовольствии заставить и других быть отпетыми. Нигилисты и К^о в ужас бы пришли от моих выводов из их учений, от моей последовательности, которая одним только развитием их же диалектических приемов довела бы их или до отречения от всего, или до признания всего, потому что как в религии, так и в философии и во всякой теории средних нет, а есть или единица или нуль. И теперь, когда я холодней отношусь к ним, потому что сам пришел к е д и н и ц е, т. е. к положительному, я все-таки лыщу себя надеждою, что мне когда-нибудь удастся завести с ними полемику и добиться их до последовательных выводов. У меня зуб есть на всех этих, впрочем, честных, мечтателей; я бы хотел сцепиться с ними хоть за социализм и коммунизм, в который они так веруют, за республику, за равенство, даже за выборное начало. Переделала меня Добруджа, поставив лицом к лицу с жизнью, да и всякого переделает она, кто там проживет годика полтора. Жалко, что у нас не ссылают туда на исправление всех этих юношей, членов организаций и адов. Там волявольная и говорить и делать что угодно; в Соединенных Штатах едва ли такая свобода, как в Добрудже; пусть бы они попрактиковались там в пропаганде, хоть даже и революции, и в заведении артелей, — ручаюсь за их радикальное излечение от недуга переделки человеческих обществ по кабинетным рецептам. Добруджа хоть кого вылечит от febris revolutionaris.

*

На этом я мог бы и кончить этот отдел, но будет нелишним рассказать кое-какие подробности о Добрудже и о сложившихся в ней отношениях. Это пояснит многие обстоятельства моей тамошней жизни, а может быть, расположит правительство обратить внимание на эту Задунайскую Русь, которая может одинаково быть и полезна и вредна нам в политическом отношении. Я буду, по возможности, краток и опущу все лишние подробности, чтобы резче выставить то, что действительно заслуживает внимания.

Я сказал, что меня и паша и русские приняли очень хорошо и что я делал все возможное для блага последних, а между тем, я не могу похвастаться, чтобы русские дорожили мной и относились ко мне с особенным сочувствием. Теперь другое дело, — они сильно жалеют, что меня больше нет и что за них некому стоять, но тогда они не очень ценили мои труды, даже врагов я нажил между ними. Вина в этом моя. Будь я понаглее, да умей прижимать их в беде, у меня давным бы

давно и капитал составился, и я бы царьком был между ними; но я застенчив, жалостлив, уступчив, враг всяких перебранок и не могу, духу нехватит, принуждать должников моих платить мне свои долги или требовать условленного вознаграждения за труды. Говорят, что это слабость воли; сознаю, что я слаб, но как я ни силился, а переделать себя не могу. Из этого вышло очень плохо. По обычаю, имеющему силу закона, я пользовался за каждый доклад паше гонорарием в пять пиастров (тридцать копеек серебром) с просителя, что могло бы доставлять мне средним числом рубля полтора дохода в день, а с этим можно было бы хорошо жить в Тульче. Но требовать этой платы с каждого мужика или бабы у меня духу нехватало, и они привыкли пользоваться мною даром, а известно, что если сам не ценишь своих трудов, то их и другие не ценят. Другое, я все дела их кончал проворно, не запугивал их, не заставлял кланяться мне по несколько дней, не доводил их до процессов, которые им же дорого бы стоили, а это опять-таки побудило их смотреть на мои услуги очень легко, благо разом кончал и не вводил ни в хлопоты, ни в издержки; стало быть, заключали они, и дела-то наши пустяковые, если их можно так скоро вершить. Доходы мои поэтому сводились на весьма малое: кто хотел платить, тот платил, до и то большею частью не деньгами, а курами, поросятами, серной, рыбой и т. п...

Моя беспристрастность не позволяла мне пристать к какой-нибудь партии, держать руку одних против других или помогать им «проучить» своих противников. Прекращая несправедливые иски в зародыше, я навлек на себя немилость всяких сутяжников; а старосты, у которых я невольно отбивал доходы, были моими заклятыми врагами. Я, как собака в басне, сена не ел и другим не давал. К этому, у меня были постоянные столкновения с представителями других народностей, с болгарским, с греческим, еврейским; адвокаты, наживавшиеся интригами, возненавидели меня, губернский землемер (тапуджи) злился, что я мешаю ему грабить руснаков; раздаватель паспортов (тескереджи) был недоволен, что я принуждаю его брать пошлины не выше таксы,— словом, я у всех был бельмом на глазу. К этому надо прибавить, что поляки (агент Messagéric Жуковский и секретарь французского консульства Ворона-Воронич, не считая других) были насмерть обижены моим значением в крае, который они привыкли считать своим достоянием. Французский консул, «естественный защитник и покровитель всех угнетенных и преследуемых русским варварством», уже прямо считал меня агентом и шпионом русского правительства. Владыка Аркадий с Гончаровым считали меня турецким шпионом и из себя выходили, что я забрал в руки их прежнюю власть над старообрядцами и не даю им теснить раздорников, тогда как до меня турецкое правительство давало им на это полное право; оно не знало, что липованы состоят из разных сект, и потому силой заставляло их подчиняться «липованскому епископу». Ко всему этому, руснаки, бежавшие в Турцию по большей части от своих панов, разом объявили, что я хочу пановать над ними, потому что я пан, да еще фармазон. Что такое значит фармазон, никто из них не знал, но ужас к фармазонству так велик в Добрудже, что пришлось наконец сделать смешным это слово. «Эй, ты, фармазонище, поди сюда!» — перекликались мы с братом на улицах, и руснаки замолчали. Не перечить всем этим смешным рассказам и предположениям на наш счет, а они тогда сильно досадовали и мешали сделать что-нибудь путное, — на сходку боялись являться, ни на какое полезное дело нельзя было их согласить, а уж как я бился, чтоб русские крепче держались друг за друга! Не знаю, как идет в России сельское самоуправление и самосуд, но в Добрудже, кроме вреда, я от них ни-

чего не видел. Лет еще с двадцать такой анархии и апатии к общественным интересам, и руснаки положительно одичают. И теперь ими как угодно помыкают греки, молдаване, евреи, а чем дальше, еще хуже станет. Малорусское племя, кажется, вовсе не способно ни к организации, ни к самоохранению. У старообрядцев немножко получше идет, потому что у них умы привыкли работать хоть над догматикой, да, сверх того, они в сношениях с своими единоверцами в России, что очень благотворительно действует на их умственное развитие. «Русский человек», т. е. пришелец из России, там всегда в чести, и в чести совершенно заслуженной, потому что он всегда развитее и отесанней тамошнего уроженца.

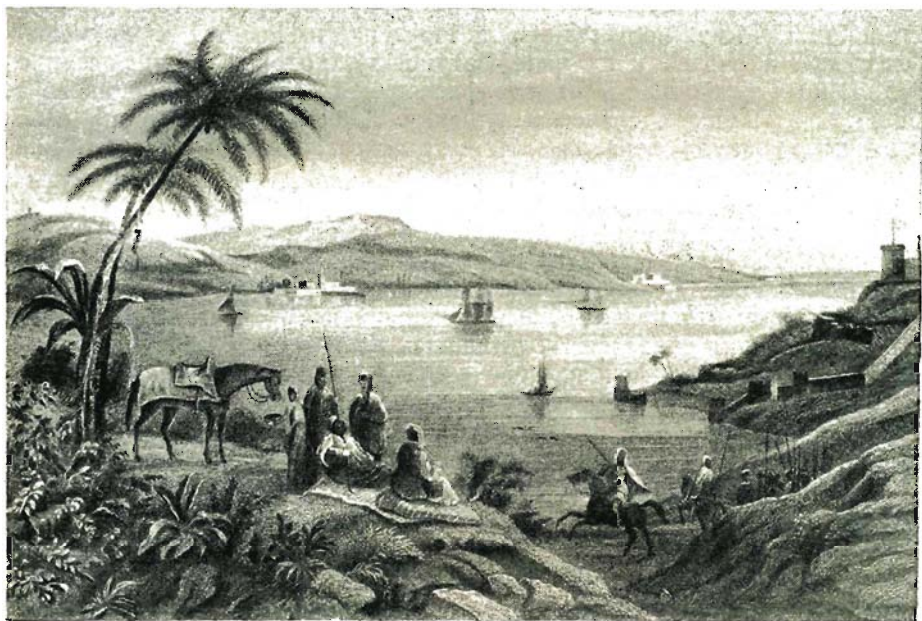
Другой мой неприятель, мягко, вежливо, но очень чувствительно меня допекавший, был миссионер американского епископального методистского согласия, Феодор Иванович Флокен. Флокен — сын баварского подданного, доктора Флокена, живущего в колонии Гросслибентале*. Воспитывался он в одесской гимназии, по в 1847/48 г., когда ему нужно было явиться в Баварию, чтобы отслужить свой урок в войске, он, вместо того, чтобы сделаться русским подданным, предпочел уехать в Америку, что все же не так унижительно для русского немца. В Америке был он и машинистом, и конторщиком, и еще не знаю чем, а кончил тем, что сделался пастором. Когда в Болгарии поляки с французами стали вводить унию, американцы вздумали открыть в ней проповедь протестантства, точно для этой бедной народности недоставало еще религиозного разъединения. Флокен поехал в Варну, где выучился по-болгарски; при знании русского языка это было ему не очень трудно. Но в Варне проповедь не пошла, он перебрался в Тульчу, где столько русских и где, главное дело, есть сорок дворов молокан, большей частью тамбовцев. На них он и налег, да налег в такое время, когда у них выходил великий скандал.

В 1861 г.** явился в Тульчу великий «настоятель» «духовного христианства» Иван Кондратьич. Учение его сходствовало несколько с методизмом; он тоже признавал, что дух святой нисходит на избранные личности, почитает их и делает их почти непричастными греху. Красноречивый, ловкий, начитанный, Иван Кондратьич организовал в одно целое всех молокан, распадавшихся на кружки, разнившиеся между собою в мелочах, подружился с тогдашним американским консулом в Тульче, Грином (Green), чуть-чуть не сделал всех молокан американскими подданными и поехал в Царегород хлопотать у английского, американского и прусского посланников заступничества за молокан в России, которых там преследуют. А заступничество это возможно на тех же основаниях, на которых эти державы требуют свободы вероисповедания для протестантов у Испании. Посланникам очень понравился Иван Кондратьич, расспросили они его об верованиях «духовных христиан», убедились в тождестве их с протестантскими и обещали ему помощь. Он возвратился в Тульчу, упоенный своими успехами, и еще решительней стал учить о благодати духа святого, которая делала его непричастным греху. «Я духом скопец, — проповедывал он, — благодать освобождает меня от похоти плоти и освящает меня так, так руководит мной, что я даже грешить не могу». И вдруг, к величайшему соблазну и позору целомудренной, непьющей, даже «красным словом» не бранящейся молоканской общины, забеременела дочь богатейшего тульчанского молокана, купца Владимира Михайловича Шлюхина, горячего последователя Ивана Кондратьича,

* Под Одессой. [Примечание Кельсиева.]

** Зачеркнуто: если не ошибаюсь.

который у него же в доме и жил!!! Скандал вышел на всю Тульчу, Аккерман и Одессу. Девушку поколотили и проворно обвенчали с одним приказчиком ее отца, а скопец по духу скрылся в Россию, куда-то на Волгу, где снова его признали великим учителем церкви. Последние слухи об нем, слухи достоверные, говорят, что он признал себя Христом и выбрал себе двенадцать ангелов-хранителей из девушек, с которыми вседу разъезжает, днюет и ночует. В Тульче произошел раскол: одна часть молокан, под предводительством купца Алексея Васильевича Никитина и настоятеля (пастора) Семена Федорова, объявила себя «постоянными», т. е. буквально следующими учению Семена Матвеева Уклеина, русского Лютера, основателя молоканства в последних годах царствования Екатерины II, а другая, под руковод-



БОСФОР

Гравюра

Музей изобразительных искусств. Москва

ством настоятеля Ивана Ивановича Л...* и того же купца Шлюхина, признала учение о благодати, введенное Иваном Кондратьичем. С этою последнею партией сблизился Флокен и стал вводить в нее методистские учения о необходимости крещения и причащения, о действии благодати и о церковном благочинии. Пропаганда, однако, плохо принималась: разница между молоканством и протестантством так же велика, как и между самими восточной и западной церквами, породившими эти секты. Не догмат разделяет, не** учения, но быт, практика, *manière d'être* препятствуют сближению и взаимному пониманию; русский крестьянин чужд немецкому, как русский купец чужд купцу-немцу; инстинктивное отвращение отталкивает друг от друга, и не одна сотня лет пройдет, пока все перемелется и мукой станет. Видя, что с молоканами ничего нельзя поделаться, Флокен пустился на обыкновенную уловку католических и протестантских иезуитов — завел шко-

* Пропуск в подлиннике.

** Зачеркнуто: отвлеченные.

лу, устроенную довольно прилично, где преподается не только история и география, но даже французский, английский и немецкий. Открыта она для всех желающих, без различия народностей и исповеданий, учение даровое, пропаганды в ней никакой не совершается, преподавание идет по-русски и по-немецки; учителем низшего класса приглашен помянутый Иван Иванович Л...*, человек очень влиятельный, потому что он и настоятель молоканский и член губернского совета. Дети молокан его «собрания» (согласия, церкви, кружка) все учатся у Флокена, и, когда выучатся, им будет предоставлено право съездить для окончания курса в Америку на счет методистской миссии. Таким образом, благодаря нашему небрежению и стеснению наших сектантов в России, русский раскол вынужден будет превратиться в иностранный, а с этим вместе пошатнется и политическое единство нашего народа. Мы уже хорошо знаем, какие плоды приносит нам тяготение наших католиков к Риму, протестантов к Пруссии и вообще к «немецкому отечеству», а евреев к их папе Ротшильду, который может, если ему угодно, потребовать от нас расширения прав своих единоверцев и покарать нас в случае ослушания. К чему же вовлечь себя в устранимые покуда неприятности с дружественными нам Соединенными Штатами?

В Тульче уже есть экземпляр русского методиста, Гаврило Васильевич Лебедь, уроженец Тамбовской губернии, бывший крепостной откупщика Рюмина; проходил на житейском поприще своем разные веры. Родился он** православным, сделался поповцем, а потом беспоповцем, потому что православные священники «от писания не сильны», потом молоканом сделался, начитавшись евангелия, и перешел в методизм за ласковое слово и за человеческое участие, оказанное ему Флокеном. Лавку ему Флокен устроил, дав ему, «как брату во Христе», кредит, поддержал его, в чем можно, даже французским подданным его сотворил; в Тульче французское консульство и в этом упражняется: человек двенадцать русских мужиков состоят в подданстве у Наполеона. Лебедь теперь уже и русским себя почти не считает. Про протестантов говорит мы, дни считает и праздники соблюдает по новому стилю, немцев и англичан русским предпочитает, — словом, настроился так, что, случись у нас война с теми или с другими, он не за нас будет молиться. И это совершенно: для массы религия — национальность; принятие католичества западным русским дворянством сделало его поляками, как обращение немца в старообрядчество или в скопчество, чему я знаю много примеров, делает его русским.

«Постоянные» молокане очень хорошо видят, чем кончится флокеново предприятие, и ничем защититься не могут. Завести свою школу, способную конкурировать с американскою, у них нет средств. Гимназия моя, которой они так сочувствовали, не удалась, и за одно намерение завести ее я навлек на себя немилость Флокена, который и то был зол на меня, что я не скрывал от молокан квакерских и гернгутерских догматов и текстов, на которых эти догматы основываются, что дало опору им против методистской пропаганды. Делал я это*** именно для поддержки молокан. У нас смотрят на это, может быть, иначе: бироновщина приучила нас благоговеть перед**** чужими выдумками в ущерб своим, но где же справедливость? Западное протестанство может у нас и кирпичи строить, и богослужение совершать публично, и последователи его принимаются в государственную службу, а

* Пропуск в подлиннике.

** Зачеркнуто: старообрядцем.

*** Зачеркнуто: единственно.

**** Зачеркнуто: всякими немецкими.

свое собственное молоканство топчется в грязь, обязано прятаться, и * это полупреследование доводит его в одну сторону до методизма, а в другую фанатизирует до прыгунства, хлыстовства, до Христов — Лукьянов Петровичей и Иванов Кондратьичей! Пьяница русский народ — очень жалко! Но уж если таков его норов, пусть же пьет он водку с своих винокурен, а не с чужих. Нельзя отнимать хлеба у детей и бросать его псам.

*

До двадцати тысяч дворов считается русского населения в Добрудже. Пользы от него России нет, а вред со временем может выйти. Положение его год от года становится хуже, — земли у него отняли, новые порядки его теснят, татары, ногайцы и черкесы тяготят его. Если б правительство позволило мне, я бы в один год передвинул эту массу русских людей на правый фланг Кавказа, который так нуждается именно в русском, даже в исключительно русском населении. Польза от этого переселения была бы тем значительнее, что тысяча до пяти дворов живут рыбным промыслом, и все — отличные моряки. В несколько лет у нас создалось бы естественным путем каботажное мореходство на Черном море, и русский флот был бы навсегда обеспечен хорошими матросами. Если же к этим двадцати тысячам (minimum) дворов взять еще тысячу дворов гуцулов, этих русских горцев из Галичины или из Буковины, которые чуть с голоду не мрут под гнетом податей и евреев, они на вершинах Кавказа завели бы тонкорунное овцеводство, составляющее их главный промысел в Карпатах. Содействие правительства переселению турецких русских ограничилось бы только назначением военных судов для перевоза их из Кюстенджи и из Сулина в порты правого фланга, в закупке для них ** скота, потому что им *** выгодней будет купить его у правительства, чем у барышников, а свой придется продать в Добрудже; потом в закупке для них виноградных лоз, фруктовых деревьев, в устройении, на всякий случай, складов хлеба и т. п. Затем, мировые учреждения, исправники и прочие власти **** должны быть введены на общих положениях империи, но — *conditio sine qua non* — там надо допустить публичное совершение обрядов, словом, всю ту религиозную свободу, которою они пользуются теперь. И правительство может допустить это смело, вреда от этого не выйдет ⁵, если оно, в условиях приема их в Россию, обяжет их заводить школы и посылать в них всех детей, без исключения. Школы ослабят значение раскола, а что не ослабнет, то волей-неволей примет безвредные формы.

За двадцать тысяч дворов для Кавказа я могу смело поручиться, а это составит до ста станиц или сел, считая по двести дворов на село. Если ж и этого не будет достаточно, можно будет из Молдавии двинуть такую же, если не большую, массу старообрядцев, можно из Добруджи до пятнадцати тысяч дворов молдаван взять, — они охотно пойдут (только расселять их надо между русскими). Болгар можно будет ⁶ иметь такую же цифру, если не больше: теперь, когда европейская Турция пылает в восстании, переселенцев найдется мало-мало до ста тысяч семей, считая, разумеется, и молдаванских. Начать приготовления нужно с осени, пока не начали еще сеять озими: за

* Зачеркнуто: запрещение проповеди.

** Зачеркнуто: рабочего.

*** Зачеркнуто: дешевле.

**** Зачеркнуто: могут.

⁵ Зачеркнуто: особенно.

⁶ Зачеркнуто: взять.

зиму желание переселяться на Кавказ (и в Крым) дойдет до мании, и трудно будет не отыскивать, а удерживать охотников. Народ же пойдет хороший, с деньгами, хозяева; только из особого снисхождения можно будет принимать людей, которые, садясь на пароход, не представят, что у них есть с собою не менее ста рублей серебром звонкой монетой. Бродяг, бурлаков брать, разумеется, не стоит, разве в самом ограниченном количестве. Правительство, разумеется, не откажет дать переселенцам амнистию во всех преступлениях, которые они или отцы их совершили до выселения в Турцию и в Молдавию.

Чем проще и короче будут написаны правила для переселенцев и чем меньше формальностей потребуются от них при вступлении на пароходы и на берег, тем лучше будет — спокойней и дешевле — для правительства и для них. Места для сел они сами выберут и сами же разобьются на сельские общества; неудачи в этом деле не должны падать на правительство, деятельность которого на все первое время должна свестись на мировое судопроизводство и на обыкновенный полицейский надзор. Иначе неизбежно выйдет путаница между начальством, привыкшим к мертвящему формализму, и поселенцами, освоившимися только с простотой турецких порядков. Неудача заселения Крыма турецкими русскими и болгарами именно оттого и произошла, и потому Крым пользуется у них крайне дурной репутацией.

*

Переписка моя с Герценом оборвалась во время расстройства моей общины¹⁹⁴. Мне так горько стало, что даже делиться своим горем не хотелось. Вся эта переписка сводилась на то, что Герцен и Огарев убеждали меня не покидать старого знамени и упрекали за малодушие, но я не находил в их письмах серьезных возражений на мои сомнения и потому не мог притти к старой вере. Да если б я и пришел к ней каким-нибудь путем, все равно ничего нельзя было бы сделать. Они не верили в это; я звал их хоть посмотреть наш край, но они слишком европейские люди, слишком русские баричи, чтобы заглядывать куда-нибудь, кроме Италии, Франции, Рейна и прочих проторенных мест. Я же совсем другое. Еще с детства вдался я в изучение всего неизвестного, в китайский и прочие восточные языки, потом в раскол, тогда никому почти неизвестный; страсть к необыкновенному увлекла меня в Россию и в Турцию. Я первый из русских побывал у малоазийских некрасовцев, первый отважился поселиться в Добрудже, первый рискнул объездить Галичину. Книга и кабинетная тишина не удовлетворяют меня, мне нужно стать лицом к лицу с фактом во что бы то ни стало, иначе я никогда не умею успокоить своих сомнений; я слишком добросовестен, чтобы изучить дело понаслышке, и эта добросовестность убедила меня, что теоретики и кабинетные люди, при всем их желании делать добро, ничего никогда не сделают, потому что они не знают материала, из которого хотят строить. Если бы каждый кабинетный реформатор, нигилист, социалист, революционер решился расстаться на время с удобствами и удовольствиями спокойной жизни, а забрался бы в эти неведомые миру страны, бродил бы пешком от села к селу, ночуя в чистом поле, с кем попало, не разбирая, надежный или ненадежный товарищ встретился; разъезжал бы по тому же Дунаю на рыбацкой лодке в обществе раскольничьих монахов, которые его заставляли самого бы грести и держали бы за шиворот в бурю, на стрелке прижатого ко дну лодки Михаила Семеновича, который, не умея ни грести, ни править, ни плавать, во все мешался и чуть-чуть не опрокидывал челнок, в полной уверенности, что десять лет пехотной службы делают человека на все годным; если бы, вместо прений с товарищами, каждый

забирался бы в среду скопцов, молокан, цыган, в села уходил бы искать правды, с простонародьем чернорабочим знакомился бы в больших городах Европы, посещал бы не только Вену, но и Пряшов (Epreis)¹⁹⁵, не только Берлин, но и Ухту с ее отцом Павлом, — иначе смотрел бы он на людей и иначе бы понимал, что возможно сделать для них и что невозможно. Вот в этом-то и виноват Герцен, Огарев и за ними все прочие русские эмигранты, не решавшиеся заглянуть в пустыню, а загляни они, она бы хорошо заплатила им за их посещение, — она бы переродила их. Теперь —

Еще одно, последнее, сказанье,
и «Исповедь» окончена моя.

*

В предыдущем отделе я опустил два обстоятельства:

1. Я писал письмо к епископу Кириллу, приглашая его перейти в старообрядчество. Я слышал, что ему грозит извержение из сана, и потому предлагал ему устроить церковь для «раздорников». Ответа я не получил. Письмо это было писано в Цареграде, когда я, видя, что наше дело падает, хватался в отчаянии за всевозможные меры, чтоб поддержать его; сверх того, мне хотелось устройством хоть какой-нибудь церкви вывести беглопоповщину из ее глубокого нравственного падения¹⁹⁶.

2. В то же время я поместил известное письмо в «Courrier d'Orient»¹⁹⁷. Оно тоже было следствием отчаяния.

Привожу эти обстоятельства здесь, боясь, что опущение их в третьем отделе будет сочтено умышленным. Цареградские дела мои шли так бессвязно, и так влияло на нас наше падение, что систематическое изложение их было мне решительно невозможно, а без системы пропуски неизбежны.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ *

ОБРАЩЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Галац мы перебрались в апреле 1865 г., думая прожить там не более двух недель и пуститься в Париж. Грек, обещавший ссудить триста рублей, уезжал на время в Одессу; пришлось его ждать; а когда он воротился, пришлось еще ждать, потому что у него дела как-то запутались и не было свободных денег. Прошел месяц, он начал жаться, конфузиться, просил подождать, поискать других средств, — словом, раздумал и, как все неоткровенные, слабохарактерные люди, предпочитал водить меня за нос, вместо того, чтоб объяснить прямо. Я долго подавлял в себе сомнение, но наконец страшная истина обнаружилась, — поездка в Европу оказалась невозможной.

Опять, как в Цареграде, бросился я искать хоть какой-нибудь работы, и опять, куда я ни обращался, все было напрасно. Обещаний давали пропасть, каждый сочувствовал моей крайности, но работа легко не отыскивается. А, между тем, здоровье жены моей все слабо да слабо после тульчанских несчастий; а сын мой хирел с каждым днем, — он родился от чахоточной матери. Чахотка была наследственной болезнью моей жены, но туберкулы до Тульчи ничем не обнаруживали своего присутствия, и она жила бы до сих пор, если б не этот ряд неудач и потерь, сокрушивших ее здоровье.

Приходилось плохо — хуже, чем в Тульче; май и июнь я еще кое-как пережил, занимая то у того, то у другого копеечные суммы, но так

* На первой странице помета карандашом: «Препроводить в комиссию. 15 июля».

жить было невозможно: надо было решиться, и я решился. Верстах в трех от Галаца проводилось шоссе в Букарешт; за битые щебня платили два рубля пятьдесят копеек серебром с кубического метра. Сербь-каменщики выбивали в день по метру, поляки-эмигранты — солдаты, чинсвники, студенты, офицеры, помещики — выбивали, кто наловчился, полметра. Пошел и я. На небе не было ни облачка, солнце жгло, пыль висела в воздухе, слезы крупными каплями падали на камень и тут же высыхали, ладони стирались в кровь, — более четверти метра не набил я...

Дня через три мне нашлось место. Подрядчики и смотрители работ при шоссе рекомендовали меня в контролеры подрядчику при мощении двух галацких улиц — *Calea Fecuciuului* и *Strada Pontu Vecchiu*. Должность моя состояла в счете возов песку и камня, доставляемых на место работ, и за это назначено мне было восемь червонцев (двадцать четыре рубля) в месяц. С раннего утра до заката солнца должен я был стоять на улице, считать возы, наблюдать, чтобы они были хорошо нагружены, и, в случае спора, перемеривать их четверником (*banita*), а так как извозчикам нельзя было поручить этой операции, потому что много зависит от того, как насыпан четверик, то сплошь и рядом приходилось работать самому. Но я был рад этой работе, — она думать мне не давала; физическая усталость все же легче нравственной; по крайней мере, я приходил домой изнуренный и спал ночь, как убитый.

Через неделю после того, как я стал контролером, сын у меня умер; здоровье жены стало еще хуже, так хуже, что нужно было пригласить доктора, а на доктора нужны средства! Как мне ни больно было, как ни возмущала меня мысль, но пришлось согласиться на поступление ее в госпиталь. Не желаю я ни одному семейному человеку испытать, что значит отдавать кого-нибудь из своей семьи в больницу: нет ничего унижительней, как не быть в состоянии помогать своим: в лицо никому взглянуть не смеешь, сказать об этом совестишься, точно преступление совершал, точно какое подлое дело сделал! Городской доктор и его подлекарь были мои знакомые и устроили все, как можно было лучше, даже позволили ей держать при себе нашу дочку, девочку лет пяти, красавицу собой, умную и добрую, как ее мать. Одна она у нас и оставалась, об ней об одной мы и мечтали. Все любили этого * ребенка, к которому перешло и мощное сложение, и несокрушимое здоровье моего отца. Горько мне было, я усердней взялся за работу. Подрядчик Фламм разорялся, бестолково распорядясь в начале предприятия, и терял голову; я один пользовался его доверием, что не украду ни копейки, и он взвалил на меня управление работами. Хлопот стало больше, но зато и легче стало на душе, да, кстати, и жена начала быстро оправляться, так что можно было надеяться на ее скорое выздоровление, а между тем, завелось у меня много знакомств, и мне стали делать разные выгодные предложения, между прочим, быть редактором закладывавшегося тогда «*Jurnalul din Galati*», что меня очень соблазняло и что мне могло дать средства на приличную жизнь в Галаце. Словом, все пошло лучше, если б только не досадовали остановка работ, вследствие расстроенных дел Фламма, да холера, так испугавшая наших мостовщиков-сербов, что они побежали из Молдавии. Холера их, впрочем, сильно перебирала по свойственной простонародью неосторожности: лучший наш мастер в промежутки между пароксизмами ел арбузы, а другой — купаться ходил в Дунай, чтоб остановить рвоту и корчи, и оба умерли у меня на руках. Но мое

* Зачеркнуто: здорового.

присутствие между ними, мои советы, доверие, которым я у них пользовался, все-таки помогло делу, — они стали разборчивей в пище, приняли предложенные им мною меры предосторожности и опять сформировались в артели. Работы начались, холера слабела, здоровье жены поправлялось.

Было холодное осеннее утро. Я вышел на работы, как вдруг один молдаван сказал мне, что меня ищут, что в гошпитале кто-то у меня умер. Как сумасшедший, бросился я, думая, что с женой что-нибудь случилось. Я вбежал к ней; она сидела в слезах: «Василий Иванович, Малуши (так мы дочку звали) у нас нет! Она уж в мертвецкой!». Я



КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Акварель Джиганти

Эрмитаж, Ленинград

зашатался, — удар был слишком неожидан, еще вчера моя девочка была здорова.

Она и спать легла здоровая. Часов в девять вечера она расплакалась и стала жаловаться: «Мама, мама! У меня ротик болит!». Рвота пошла, корчи, — в пять часов утра ее уже не стало, несмотря ни на какие пособия медиков. Посмертное вскрытие показало, что смерть произошла от холеры. Кроме бешенства и проклятий, у меня на сердце ничего не было. Железное здоровье, ум, характер, красота моего ребенка приучили меня даже мечты о будущем моем соединять с нею; ее воспитанию жизнь я хотел посвятить; я на нее, как на каменную гору, считал; она одна виделась мне впереди моим другом, моей Антигоной, и все разбилось в одну ночь.

Через несколько недель и жена моя умерла, завещая мне ехать на Запад, — она верила в мой ум и в мой талант. Ее смерть Малуши убила... Она умерла на моих руках. Я сам снес труп этой святой женщины

в мертвецкую, сам в гроб положил, сам в могилу опустил¹⁹⁸. Я не плакал; злорадство какое-то овладело моей душой; мне приятно было иметь новое доказательство, что в мире нет ничего прочного, что все труды и привязанности человека ничего не стоят в этом безначальном и бесконечном океане времени, пространства и свойства. Все суета сует, все преходящее — и люди, и идеи, и человечество, и сам шар земной. Все это вечный kaleidoscope непонятных нам сил и целей, если есть какие-нибудь цели в этой природе, загадочной, беспощадной, в этом вечном сарказме над всем святым, что только таится в груди человеческой. А вечер, когда я ее хоронил, был так тих, запад горел зарей, восковая свеча, воткнутая могильщиками в землю, горела, не колыхаясь, и Дунай сверкал под горой. А я был один, один в целом мире, всем чужой и всему чуждый, вольный, как птица, и не знающий, куда волю девать, что с жизнью делать. Давиться не стоило того, потому что бежать было не от чего; но и жить было не для чего, потому что не к чему было стремиться. Ни веры в душе, ни идеала, ни мечты о будущем, ни даже сожаления о прошедшем не было во мне, пока я помогал пьяным могильщикам засыпать этот уже последний гроб. Я был зверь, а не человек; мне было все равно, что делать и как делать, только бы с голоду не умереть, а для этого даже и трудов больших не надо: фунта два хлеба в день совершенно довольно и заработать их нехитро. И я спустился в потемневший город, импровизируя страшную песню, песню отчаяния, которую я пел целую эту зиму 1865/66 г. По привычке я пошел на другой день опять на работы — мерить песок, считать квадратные сажени мостовой и слушать болтовню каменщиков-сербов и извозчиков-молдаван.

Дела Фламма шли плохо. Он ввязался во множество разных спекуляций, и неудача одной губила другую. В отчаянии он хотел бросить подряд и уехать в Индию искать счастья. Почти силой я заставил его не терять духа, кончить во что бы то ни стало мошение улиц, чтобы спасти кредит и добрую славу. Время было позднее, сербы спешили домой, перевозка песку затруднялась распутицей; Фламм, потеряв голову, сбивал рабочих бестолковыми приказами. Мы с ним спорили, даже бранились, даже чуть не подрались раз, а все-таки я настоял на своем, — против его воли сделал нужные запасы песку и камня и кончил работу до зимы. Фламм с ума сходил от радости. Кредит его восстановился, когда увидели, что он — надежный человек и что даже в убыток себе исполняет чему обязался, и предложили ему новый подряд, зная, что у него нет ни копейки. Мы уже мечтали с ним работать сообща, как вдруг он объявил, что нам нужно прекратить всякие сношения. Наш генеральный консул в Букареште, барон Оффенберг, узнав, что я в Галаце, объявил Фламму, что если он будет держать при себе такого scélérat, как я, то он порвет с ним всякие сношения и вынужден будет отказать ему даже в паспорте в Россию, буде таковой Фламму потребуется. Грустно нам было расстаться. Я привык к своему взыскательному хозяину, который мне нравился своей кипучей предприимчивостью, а он дорожил мною, как человеком, не имеющим даже поводов быть корыстным и жалеть свою жизнь или здоровье для чего бы то ни было. Апатия была во мне безграничная, целей в жизни никаких, а привычка к Фламму и необходимость вести какую-нибудь деятельную жизнь, чтоб забыться в ней, делали меня полезным работником.

Мы расстались. Искать новых занятий было и бесполезно, после угрозы Оффенберга и приданного им мне эпитета, да и лень было. Кто привык трудиться для семейства, тот не понимает личной нужды: одна голова не бедна. Я повел праздную жизнь, дела не делал, от

дела не бегал. Случалось достать какую-нибудь работу, перевод, счет, я работал; не случалось, я не искал. Предложил мне один беглый русский половой пироги вместе с ним печь на продажу, и мы пекли; запил сн и бросил дело, и я бросил. Даже квартиры не было у меня постоянной, ночевал, где попало — в корчме на лавке, у скопцов в бане или на мельнице, у приятеля на голом полу, в трактире на биллиарде, не умывался по целым неделям, белье менял чуть не раз в месяц, да и менять нечего было, — у меня все разокрали. Словом, я стал и по теории и на практике Диогеном, и это диогенство было моим единственным тогда принципом. Я все презирал — и мир, и людей, их стремления, верования, условия общежития; я публику при них составлял: смотрел, что они делают, как радуются и горюют, а сам принимал не больше участия, как зритель, в том, что происходит на сцене. Если я не пал, если разврат и порок не коснулись меня в эту зиму, я обязан моим покойникам. Каждую ночь снились они мне; я хоть во сне жил в их святом кругу, толковал с братом, с женой и с сестрой (умершей в Москве в 1862 г.; я ее очень любил, мы выросли вместе), с Малушей играл, и остался чист, как при них, хотя кругом меня все было падшее и растленное.

Так и весна настала. Грязный, оборванный шлялся я по Галацу, а деревья зеленели, и птицы тянулись вереницами на север. Я все смотрел на птиц, прислушивался к их голосам, и меня стало тянуть куда-то. Куда деваться? Я и сам сначала не знал, но жена завещала мне ехать на Запад, отдаться перу и науке. Думал я, думал, откладывал со дня на день, наконец пошел на пристань. Серб, капитан одного буксирного парохода, отходившего на другой день в Базиаш¹⁹⁹, обещал дать мне место даром. Я собрал свои статьи, завернул их в старенькое пальто и явился на пароход; больше у меня вещей и не было. Поплыли мы; денег у меня было всего с полтинник; пароход шел тихо, таща против течения две, а иногда три баржи; есть было нечего, кроме сухих запасов, которые я закупил на дорогу; кельнеры приглашали за свой стол. В Оршове, на австрийской границе, мой капитан передал меня другому, шедшему до Пешта; кельнеры шепнули и там кельнерам, и я опять был сыт. Но, к ужасу моему, на пароходе этом ехал мой знакомый цареградский банкир Pervilegio, я стал от него прятаться. Мне не хотелось, чтоб он, выдавший меня в хороших обстоятельствах, узнал о моей нищете, да и боялся я, что, назвав меня по имени и сболтнув, что я эмигрант, навлечет на меня арест, а арест этот повел бы к выдаче меня в Россию, где меня ничего хорошего, разумеется, не ожидало. На пароходе было пропасть русских. Один инженерный полковник, услышав, что я разговариваю по-сербски с матросами, заговорил со мною по-русски. Я выдал себя за студента-этнографа, возвращающегося из Турции в Европу для окончания своих филологических занятий и для приведения в порядок своих исследований по славянской мифологии. Было уже совершенно темно, когда мы разговаривали на палубе с полковником, очень довольным, что во втором классе нашелся наконец человек, с которым можно слово сказать, а он знал только по-русски, прочие же русские — генерал Свечин с Кавказа, дочь графа Коцебу из Одессы, доктор Вагнер тоже из Одессы, какой-то помещик-меломан Криворотов и еще какие-то — ехали все в первом. Мы стояли и разговаривали, мне тоже было отрадно поговорить с русским не из простонародья.

— Mais oui! C'est vous enfin, monsieur Janni, positivement c'est votre voix!.. — раздалось за мною. Меня передернуло, — я попался.

— Taisez-vous, Alphonse, — сказал я, сжимая руку Pervilegio. — Не говорите никому, кто я и как вы меня знаете, мы в Австрии.

Альфонс поклялся всеми богами. Я рассказал ему все, что со мной было и что еду сам не знаю куда на Запад заняться филологическими науками, так как, кроме науки, у меня нет никаких интересов в жизни. Альфонс назвал меня сумасшедшим.

— Наука и литература плохо кормят, — сказал он, — а деньги — первое дело. Воротитесь в Цареград, я вам дам сейчас же место у меня в конторе в десять лир (шестьдесят рублей) в месяц; вот вам задаток, а за дорогу я плачу.

— Спасибо, Альфонс, — отвечал я, — но мне силы нет видеть этот спящий Восток, я до ненависти дохожу к нему за отсутствие в нем всякой умственной жизни. Мне наука нужна, если и она меня не спасет, я погиб окончательно. Я хочу мыслить, я хочу добиться до разрешения некоторых вопросов по мифологии, археологии и истории славянства. Я рад, что хоть это может еще занимать ум мой, и я ни за что, ни за какие блага не откажусь от науки. Путешествие мое — отчаяннейший риск, оно вам безумием кажется, но мне надо душу свою спасти, мне свежий воздух нужен, вопросов гибель у меня в уме, а на всем Востоке, от Галаца до Цареграда, мне никто на них не ответит, и никто не сумеет подметить ошибку в моих выводах. Я бегу от сна, от невежества, от застоя — бегу наудалую, очертя голову, но мне необходимо добраться до людей, которые поймут, что у меня наболело на душе, откуда я взял мои страшные отрицания, почему я дошел до моего диогенства. Мне надо высказаться, выпориться, — я нравственно болен; мой ум расстроен, сердце разбито, я слышу в себе болезнь, но не могу остановить ее развития. Я — диалектик, мыслитель, мне нужно сразиться с равными мне, а равных мне на Востоке нет. Я титанов вызываю на бой, а на Востоке одни пигмеи, да обезьяны...

Альфонс плохо меня понял, но ему жалко меня было. Карьера философа, ученого и литератора, которую я себе избрал, была ему не по сердцу, — он слышал, что, она не кормит.

— Послушайте, monsieur Janni (я знал ваше настоящее имя, только теперь не помню), тогда вот как сделайте. Воротитесь в Цареград, год-два побудьте на конторе, заработайте денег и поезжайте на Запад...

— Лучше в Дунай брошусь, под колеса парохода, — отрезал я. — Мне, Альфонс, нет другого выхода, кроме этого сумасшедшего путешествия. Я не поляю, чтоб удовлетворяться фразами, и не кабинетный человек, чтобы успокаиваться на теориях, выработанных в четырех углах. Вопросы и сомнения мои могут разрешиться только в столкновении с жизнью, а жизни на Востоке нет. Да, наконец, я — вольная птица, сам себе барин; если я и пропаду, крепко обо мне никто плакать не будет, да и мысль о гибели меня не страшит, мне терять на свете ничего не осталось. Но если уж погибать, так погибать прилично, не в Цареграде; на людях и смерть красна.

Альфонс не унылся. Он составил против меня заговор и познакомил меня с русскими из первого класса. Они очень удивлялись, как это ученый путешествует не на казенный счет, и убеждали меня послушаться Альфонса или воротиться в Россию. Я отвечал, что без диссертации не явлюсь домой, а что добиться значения славянских мифов и истории славянских богов я могу только в Вене, где пропасть славян и где всего удобней можно изучить славянские предания. Мысль остановиться именно в Вене* пришла мне только по дороге. В Галаце у меня не было никаких определенных планов.

Со мной спорили, не соглашались, но заинтересовались мной. Я назвал себя Ивановым-Желудковым: на паспорте у меня было написано

* Зачеркнуто: и заняться специально мифологией.

Vasilii Ivanoff, но как Иванов фамилия, не внушающая доверия к человеку в исключительном положении, потому что ее надевает на себя каждый, кто не найдет себе придумать себе имени повероятнее, что я замечал в Добрудже и в Молдавии над бродягами, то я прилепил к ней фамилию моей матери, которая была из Желудковых. «Иванов-Желудков» именно по странности своей обеспечивало меня от всяких подозрений, а когда в Вене, в Галичине, у словаков я рассказывал, что я по происхождению старообрядец или хлыст, и рассказывал это с мельчайшими подробностями, то сомнений в моей личности окончательно не могло возникнуть. Это расчет, вынесенный мною из трудной жизни.

Между тем, участие, которое принял во мне Первиледжио, и его готовность помочь мне возбудили во мне мысль попросить у него в заем рублей с пятьдесят, чтобы хоть кистом сделать себе приличный. Покуда я колебался и затруднялся, капитан парохода объявил мне от имени русских пассажиров первого класса, что они просят принять меня сделанную ими для меня складчину. Положение мое вышло крайне неловкое, я отказывался, на меня наступили, потребовали, чтоб я принял деньги во имя самой науки, которой себя посвящаю, и я должен был согласиться, скрепя сердце и дав себе слово отдать впоследствии эти деньги (рублей около восьмидесяти) первым нуждающимся, что уже и сделано. Сверх этого, капитан взялся устроить для меня даровой проезд до Вены. В Пеште я расстался с русскими, пересел на другой пароход, а через неделю уже посещал лекции славянского языка, санскрита и зенда в Венском университете, а свободное от них время проводил в императорской королевской библиотеке, изучая славянские сказки, песни, древнюю историю славянства и народные обычаи. Месяца в два мне удалось проверить мои прежние выводы и убедиться, что открытый мною метод может повести к колоссальным результатам, что есть возможность определить домашний и политический быт и верования славян в VII, VIII и IX вв., а равно и указать на связь нашу с Индией в какие-то, до сих пор неизвестные мне, времена. По крайней мере, я нашел в Ведах и в Пуранах прямые указания, что санскриты знали о нашем существовании на северо-запад от Индии и что были очень высокого мнения о нашей образованности. Затем я невольно пришел к заключению, что предания и сказания наши древнее германских и сохранились в более первобытной чистоте; что сказки, которые у нас каждый ребенок знает, суть отрывки из древней, всем индоевропейцам общей, поэмы о сотворении мира, которая даже у санскритов и греков не сохранилась в такой первобытной форме, как у нас. В связи с этими исследованиями, я занимался сравнением славянских наречий и быта отдельных племен, что дало мне возможность разъяснить их древнюю историю и указать на происхождение каждого. Так, я имею теперь положительные данные, что мы, великоруссы, вовсе не приходим от финнов и татар, как утверждают поляки, и что в быте нашем татарщина не оставила никаких резких следов, а что, напротив того, нигде славянство не сохранилось в такой чистоте, как у нас, о чем и думаю написать серьезное исследование в ответ Духинскому²⁰⁰, Мицкевичу²⁰¹, Henri Martin²⁰², Viquesnel²⁰³ и прочим шарлатанам науки.

Но занятия в библиотеке и в кабинете были недостаточны. Я хорошо знал быт южных славян, болгар и сербов, а равно и соседних с ними румунов и греков. Надо было ознакомиться и с западными славянами; я начал с словаков. Коротенькая моя заметка об них, с указанием на мой метод, помещена в «Русском Вестнике» прошлого года, под названием. «Словацкие села под Пресбургом»²⁰⁴. Для таких же

исследований я предпринял трудную, а для меня даже и опасную, поездку по Австрии и начал с Галичины для изучения тамошних русских, а затем думал забраться в Угорщину, в Семиградье, Банат, Воеводину, Хорватию, Истрию, Далмацию, или же в Чехию и Моравию и потом в Саксонию и Пруссию для посещения лужицких сербов, мазуров и кашубов.

Поводы к этой поездке были такого рода. Одним из первых моих шагов в Вене было вступление в Славянский клуб (Slovanská Beseda), где каждый вечер собираются проживающие в Вене славяне, преимущественно чехи, где поляков никогда не бывает и куда русские путешественники даже и заглядывать не изволят. Там можно читать все славянские газеты, а также «Московские Ведомости», «Инвалид», «Голос», «Петербургский Листок» и т. п. Я вошел в «Беседу» смиренным студентом, познакомился кой с кем из членов, преимущественно из галицких русских, и очень не понравился им. Мои «беспристрастные» суждения о поляках и о малоруссах сильно их рассердили, так что они стали упрекать меня в украинофильстве и в полонофильстве. Я спорил, говоря, что каждая народность должна иметь права на независимое существование, развивать свой язык, жить по своим обычаям, — короче, я говорил то же самое, что проповедывала наша литература в 1862 г., когда я, с отъездом моим в Цареград, перестал следить за нею. Галичане и русские угры держались другого мнения. Русское государство, говорили они, вырабатывает язык и право, обязательные для всего славянства, а тем более для русских племен. Оно одно представляет реальную силу славянства, и как всякие швабы, фризцы, тирольцы стремятся к слитию с Пруссией, создавшейся на границах германского мира, так и славяне не могут не тянуть к России, возникшей на крайнем рубеже славянства. В этом одно их спасение от ненавистного славянскому духу германизма, и потому всякое слово против расширения языка, права и границ России — измена славянству, а поляки и украинофилы — преступники против него, так как они стремятся к сепаратизму. Взгляд этот разделяли все славяне, даже и партизаны Австрии, мечтавшие о славяно-мадьярско-румынской дунайской федерации, т. е. о распадении славянского мира на две группы: на русскую и на австро-турецкую. И я не мог не признать, что доводы их верны, а как только я сделал эту уступку, так и перестали быть мне чуждыми дела человеческие: это был шаг первый. Туман стал рассеиваться, повязка спала с глаз.

Другой шаг я сделал, научившись у них глубоко уважать наше правительство и гордиться им, хотя первые уроки в этом я взял еще в Тульче у беглых и в Галаце у скопцов. Не знает наше правительство, как его любят и ценят за границей, как даже отвергаемые им люди не могут без слез говорить об нем! С каким волнением читал я в Галаце о смерти старшего сына государя; я понимал, что государь должен был почувствовать, и его горе примирило меня с ним, но потом мои собственные беды и апатия, в которую я впал, как-то затерли это впечатление. В Пеште я узнал о выстреле 4 апреля²⁰⁵, он произвел на меня мрачное впечатление. Я сразу понял, что это могло быть делом какого-нибудь безумца или фанатика, а никак не партии, но я испугался за Россию, которой грозила страшная реакция. Испуг этот действовал на меня целебно. Адресы читал я с сочувствием²⁰⁶, и вдруг вместо реакции явился гласный суд²⁰⁷: славяне поздравляли меня. За гласным судом приехало американское посольство²⁰⁸; я стал бороться с собой, боясь что «снизойду» до * уважения к правитель-

* Зачеркнуто: любви.

ству. Война началась²⁰⁹; я сравнивал Петербург в Крымскую войну с Веной в эту семинедельную и понял разницу между живой и здоровой Россией и умирающей Австрией; я написал об этом в «Голос»²¹⁰.

Чем я больше читал газеты, чем ближе сходиллся с славянами и чем глубже вдавался в изучение славянства, тем сильнее и сильнее развивалось во мне примирение с жизнью:

Я сжигал все, чему поклонялся,
И склонялся пред всем, что сожжет²¹¹.

Каждые пустяки, каждая мелочь возбуждали во мне любовь к России и к нашему правительству, которое то и дело сыпало реформы за реформой. Точно праздник какой-то шел*, — не кончились еще торжества американцам, начались приготовления к свадьбе цесаревича²¹². В Вене хлопотали о собрании костюмов для выставки, меня из Москвы Попов²¹³ просил указать Демидову, откуда и как достать костюмы некрасовцев, и приглашал меня, как этнографа Иванова-Желудкова, побывать у кашубов, мазуров, силезцев и лужичан. Обычное право славянское стал я изучать; один дубровницкий (Ragusa) серб, Божиич²¹⁴, занимался сравнением славянских обычаев; я ему сообщил пропасть сведений о русских юридических воззрениях, и мы оба пришли к убеждению, что у нас, у великоруссов, славянское право сохранилось в первобытной чистоте, так что минорат уцелел только у нас, и т. п. Исследования наши напечатаны по-сербски в загребском (Agram) журнале «Knj evnik»²¹⁵; они опять так заставили меня гордиться, что я русский, а в Галаце я недавно проповедывал, как немец: ubi bene ibi patria!..

Переписку, завязавшуюся у меня с Герценом тотчас по приезде в Вену, я прекратил. В последних письмах своих он очень ** негодовал на «этот несчастный выстрел», который, по его мнению, оттягивал созвание земского собора, предлагал мне довольно выгодные условия за сотрудничество в «Колоколе» и в «Полярной Звезде». Он по письмам моим заметил, что у меня слог несколько выработался, и хотел войти со мною в полемику²¹⁶... Но уж было поздно, — блудный сын находил дом отчий. Я отказался и от сотрудничества, и от получения «Колокола», и от переписки, под предлогом опасности со стороны австрийской полиции, а в сущности для того, чтоб спокойнее обсуживать наедине возникшие во мне чувства и мысли. С тех пор, как я остался один, я отвык делиться с людьми своими мыслями и замыслами, я весь ушел в самого себя.

В Вене же я и работать начал. Повестей своих и «Черных дум» я не послал в Россию — и мода на произведения в этом роде прошла, да и я сам не был отрицателем. Я написал на пробу «Русское село в Малой Азии» и «Словацкие села под Пресбургом». Катков отвечал, что ждет от меня еще статей. Но сношения с «Русским Вестником» были затруднительны: писаря редакции отвечали как-то бестолково, неаккуратно; я написал корреспонденцию Краевскому, мы с ним мигом сошлись; он предложил мне даже передовые статьи посылать, что я и делал; и, таким образом, имея в месяц до двухсот, а если захочу, то и до пятисот рублей дохода***, я не только вышел из нищеты, но мог даже жить с некоторою роскошью.

* Зачеркнуто: в России.

** Зачеркнуто: жалел.

*** Эта «Исповедь» составит пятнадцать печатных листов «Русского Вестника», который меньше сорока восьми рублей серебром за лист не платит. Начал я ее 13 июня, а кончу послезавтра — 11 июля. Если б она назначалась для печати, она принесла бы мне за месяц работы почти семьсот пятьдесят рублей серебром. [Примечание Кельсиева.]

Одно меня мучило — двусмысленность моего положения. Славяне просили меня не только писать за них, но даже и хлопотать, и мне постоянно нужно было лгать и отделяться от них, что было отвратительно. С правительством я совершенно примирился и несколько раз порывался просить у государя помилованья, но меня удерживал польский вопрос. Что мне ни говорили галичане, какие ужасы они ни рассказывали про поляков, мне все как-то не верилось, потому что между эмигрантами я много слышался о любви народа к шляхте, об участии мужиков в повстанье и никак не мог согласить их рассказов с известиями наших газет и с тем, что слышал от галичан. Если эмигранты были правы, если Польша возможна и может быть безвредна для нашего Западного края, тогда наше правительство, разумеется, неправое, и тогда примирение мое с ним было бы невозможно: нельзя же было б обманывать его насчет своего образа мнений. Долго я ломал голову над этой дилеммой, пока не решился исполнить просьбу моих приятелей галичан — объездить и описать их край. Предприятие было трудное, они сами этого не скрывали: в Австрии каждый русский, хоть бы и с турецким паспортом, принимается за правительственного агента и подстрекателя, а в Галичине и без того вся власть в польских руках, русских оттуда попросту выгоняют, а в Венгрии даже и колотят, чему я примеры знаю; наши же посланники не сходят с высоты своего величия для защиты чести русского паспорта. Мне же грозила опасность быть узанным и выданным в Россию, но надо было уяснить себе правду о поляках и по возможности помочь галичанам изданием книги об них. Дело предстояло честное, и стыдно было бы не ходить в лес из боязни волков. Я поехал, рассчитывая пробыть до рождества в Галичине (Г а л и ц и я* в Испании, а в Австрии Г а л и ч и н а), оттуда объехать славян в Пруссии и в Саксонии, в Лейпциге напечатать мою предполагаемую книгу и, если выводы из моих наблюдений оправдают действия правительства, поднести ее государю с просьбою о забвении старого. О том, что я эмигрант, никто, разумеется, в Австрии не знал; как и в Галаце, никто не знал, куда именно я уехал, а, сверх того, я распустил слух о своей смерти в Джуджеве. Выдавал я себя за раскольника, некрасовца по происхождению, путешественника по страсти и ученого по призванию. Неприятно было морочить честных людей, но иначе ничего узнать нельзя было, да и скажи я им, что был когда-то самым деятельным из всех врагов русского правительства, они бы **, не говоря худого слова, скрутили мне руки и препроводили меня к начальству для выдачи, хоть бы следствием этой выдачи была моя казнь. Я славян хорошо знаю; они вовсе не фразу говорят, что истинных друзей нашего правительства и *** лучших русских патриотов надо между ними искать; в ущельях Татров и на берегах Адриатики. Их нет в русской службе, а они были бы в сто раз надежнее и полезнее немцев.

Итак, второй раз в жизни пришлось мне переродиться. Цареград, бывшая столица восточной Римской империи, заставила меня покинуть борьбу против правительства; Вена, бывшая столица западной Римской империи, сделала меня бойцом за него. Как одиночество в Галаце ввело меня в апатию и вынудило к отчаянному бегству в Вену, чтобы спасти себя наукой, так в той же Молдавии, ровно через год после этого бегства, такое же одиночество привело меня к возвращению в Петербург, с просьбою о дозволении мне быть полезным России.

* Зачеркнуто: как у нас пишут.

** Зачеркнуто: сейчас.

*** Зачеркнуто: настоящих.

Еще сомнения были на душе, когда я очутился в Кракове. Там я прожил день, мне хотелось взглянуть на этот город, и я пошел осматривать древние костелы. В соборе, где венчались на царство короли, я просидел часа с два; тени прошлого Польши мелькали передо мною. Самозванец и Марина, Скарга и Потей, Баторий и Понятовский²¹⁷ бывали здесь, — неужели же Польша в самом деле умерла? Что-то торжественное было на душе, как-то невольно закрадывалось в душу благоговение к этой, некогда блестящей, цивилизации, совестно становилось думать, что она так же пала, как Египет, Ассирия, Рим... Я выходил из собора...

— A pan nie chce popatrzyc sklep? — обозвал меня сторож.

— Pokaz, — отвечал я машинально, весь погруженный в думы.

Он зажег свечку, поднял люк, и мы спустились. У стены стояла гробница, и на ней крупными буквами было высечено одно слово, — это слово было Kościusko.

У меня колена вздрогнули, сердце похолодело, — я этого не ожидал. Я опустился на помост перед гробницей и зарыдал, как женщина: «Костюшко, Костюшко! Что, если и ты так же был неправ, как я в былое время? Что, если ты понапрасну рисковал собой и другими? Если и ты верил в возможность невозможного? Я должен буду идти против твоих, если уверюсь в эту поездку, что они неправы и что идеалы, за которые они лучшую кровь свою льют, неосуществимы! Ты был честный человек, ты поймешь меня, и ты сам благословишь меня на честное дело!..» И я почувствовал, выходя из собора, что у меня камень свалился с совести. Мне стало легко добиваться страшной правды.

Путешествие мое почти все напечатано в «Голосе»²¹⁸, остается,



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ» НА РОМАН А. Ф. ПИСЕМСКОГО «ВЗБАЛАМУЧЕННОЕ МОРЕ»

Главы XVI—XIX шестой части романа посвящены сношениям его героя Бакланова с лондонскими эмигрантами

Русскій Вѣстникъ. — Г — да, вы ѣдете за границу, на морскія грязи — напрасно! — Въ нашемъ «Взбаламученномъ морѣ» грязь не хуже заграничной. — пожалуйста!

может, прибавить листа с три печатных, чтобы издать его отдельной книгой, — из него видно, к чему я пришел. Здесь же следует только рассказать, как и за что граф Голуховский²¹⁹ счел меня русским агентом и выпроводил меня в Молдавию, а польские газеты сбились с толку в предположениях на мой счет.

В Галичине заведен порядок, что на Краковской и на Львовской станции железной дороги у незнакомых полиции личностей спрашивают паспорта. Голуховский сделал распоряжение, чтобы сельские войты (старосты) задерживали всех сомнительных людей и представляли их в станы (Bezirksamt). Распоряжения эти вынуждены были жалобами нашего правительства, что Галичина становится притоном эмигрантов и агитаторов. Надо было успокоить нас и не вводить в хлопоты Вену; надо было сделать вид, что в Галичине все тихо, прилично, что сами польские администраторы не только не покровительствуют эмигрантам, но даже выдают их России. Приведенными мерами эта цель вполне достигается, и комедия разыгрывается к общему удовольствию и русских, и немцев, и поляков. Беспаспортных или запасшихся неправильными паспортами эмигрантов из простонародья, дезертиров, канцелярских служителей и прочую мелкую пешку хватают, арестуют и выдают. Ее никому не жалко, потому что она вечно служит орудием, и убыли в ней никогда не будет. Теперь восстания нет и не предвидится даже, рядовой бесполезен. Он за одно обречен на гибель, — не загородил собою русские штыки от предводителей восстания, то пусть снесет за их спокойствие каторгу или ссылку, служа декорацией их закулисной работе. Все политические партии вынуждены приносить такие гекатомбы правосудию, которое и удовлетворяется обыкновенно этим bydlem, принимая его за настоящих деятелей. С них снимают показания, удивляются их необыкновенным похождениям и изуверству*: сведения их о главных деятелях, собранные ими понаслышке, так как их никогда не посвящают в тайны, принимаются за чистую монету; следственные комиссии составляют отчеты, публицисты делают выводы, публика обморочена, внимание ее отведено в сторону, а настоящая интрига ведется своим чередом под шумок неведомо где, кем и для чего. И все это без особых усилий и ухищрений, одной выдачей властям всех недостаточно ловких, чтоб отвертеться от них, а кто не умеет отвертеться, тот значит не способен и, стало-быть, не стоит сожаления. Пускай хоть раскаивается он под арестом, — ведь, он все равно ничего серьезного не может показать, и чем искренней будет его покаяние, тем больше он отведет глаза правительству, сам искренно принимая за деятелей людей, которые даже и доверием не пользуются.

Чарторыйский, Мерославский, Босав, Лангевич²²⁰ и прочие вожаки никогда не будут выданы, потому что они сумеют не навлечь на себя подозрения полиции, а если и попадутся ей какими-нибудь судьбами, — на грех мастера нет, — то или проведут ее, или замнут дело при помощи разных влиятельных лиц. Как же правды добиваться? — спросят меня, и как узнать, что затевают поляки? На это, отвечу я, надо, во-первых, чтоб у правительства было побольше друзей, а во-вторых, поменьше врагов, — иначе оно опять сядет в такой же просяк, как в 1862 г. Все в его руках, все оно может сделать, была бы только охота да ловкие агенты; в противном случае, поляки устроят ему нечто похуже повстанья.

В Кракове меня на станции остановил полицейский комиссар и потребовал у меня паспорт. Я отдал; он велел мне зайти к нему в

* Зачеркнуто: рассказы.

контору, куда я и явился, когда разошлась публика, спрятав, разумеется, рекомендательные письма в такое место, где их нашли бы не ранее, как года через два, через три, если б даже и нашли. Узнав, что я намерен пробыть в Кракове сутки, комиссар дал мне карточку и велел явиться в полицию за паспортом. В полиции, после тысячи извинений, спросили, кто я, откуда, зачем, женат, холост, на чей счет еду, где родился, где живу, где бывал и пр. и пр., так что составил обо мне огромный протокол. Мне отдали паспорт и сказали, что препятствий к моему путешествию по Галичине быть не может.

В Перемышле меня не тревожили. Во Львове пригласили в полицию только через две недели по приезде и сделали тот же допрос, с тем же разрешением ездить, где хочу, для археологических исследований, что я исполнил.

В конце октября я отправился в Карпаты, — мне хотелось видеть очень любопытное русское племя гуцулов, которое по своему типу, костюму и по образу жизни так разнится от всех прочих русских племен, что заслуживает особого изучения. До сих пор никто еще не описал этих загадочных «руснаков», а изучение их пролило бы много света на историю Восточной Европы во II и III вв. по Р. Х. Мне очень хотелось собрать их предания и поверья. В Коломые также паспорта не спросили, и я поехал в местечко Печенежин, при подошве Карпат, куда у меня было рекомендательное письмо к священнику Петрушевичу, брату знаменитого историка²²¹, и тоже ученому. Он не пустил меня ехать далее в тот день, заставил ночевать у себя, что и мне и ему наделало пропасть неприятностей впоследствии, и отпустил в горы на другой день только после обеда, дав мне письмо к священнику в одном селе, часах в четырех от Печенежина. Дорога была худа, ночь захватила нас в горах, и извозчик мой объявил, что надо будет заночевать у попадьи села Акрешоры. Я отказался, — муж ее недели две тому умер, и неловко было проситься на ночлег в незнакомый дом, да еще в такое время. В корчму не пустили, я заехал к одному мужику. Утром явился войт и потребовал паспорт. Паспорт написан был по-французски, в селе прочесть никто не мог. Попадья, к которой он обратился, объявила его французским... «Як же вы, пане, кажете що вы сте з Туретчины, а пашпорт ваш хранцузской? — усомнился пан войт. — Та, чего же вы, пане, хочете ту, в наших горах, чого вы сте приехали до нас?»

Что было отвечать безграмотному властелину гор? Я стал толковать о костюмах, о древностях, он не поверил: «Як же то бути може, щоб вы с такого далека только попатрити (посмотреть) на нас ехали?» — и решил, что пошлет за жандармами. Жандармы явились, начались те же допросы, то же непонимание научных интересов, и наконец решили осмотреть мои вещи. Ящик с фотографическим аппаратом привел их в ужас, бинокль тоже. «Дивитесь! Дивитесь, добры люди! — кричали они в ужасе, — та пан е инжинир, наши горы мерити и описувати приехал! От и машина инжинирска! От и труба, котра за двадцать миль все покаже! Та вы, пане, шпег (шпион)! Ой, повесят же вас, пане! повесят!». Все были бледны, бабы чуть не плакали, мужики готовы были исколотить меня на закуску перед петлей. Надо было все присутствие духа, чтоб сдерживать ошеломленную толпу. Войт и жандармы были в восторге, что поймали такого необыкновенного преступника, и с рвением рассматривали мои книги, рукописи, перья, чернильницу, конверты, зубочистку, гребень, белье, платье; в горах было чрезвычайно любопытно видеть все эти диковины, даже употребления которых они не могли объяснить. А без жандармов мне плохо бы пришлось, и я поблагодарил бога, что в Австрии в каждой

волости они есть, — с солдатом все лучше дело иметь, чем с мужиками. Решено было представить меня в стан, и я покатил с гор, везя с собой двух жандармов, штыки которых великолепно блистали на солнце.

Становой (Bezirksvorsteher) растерялся и начал тоже пересматривать мои бумаги, книги и вещи; операция продолжалась часа с два. Затем начался протокол, составлявшийся часа четыре.

На каждую старуху бывает проруха. Собирая материалы для моей книги о Галичине, я набрал много русских стихотворений против поляков и, как на грех, одно из них, на польском языке, написано было против Голуховского, и становой приложил его к делу, — ему нужно было отличиться. Шестьсот гульденов жалованья человеку, у которого шесть дочерей и который вдобавок немец, хоть кого заставят кланяться. Весь мой протокол составил он в польском духе: галицкие и сербские книги напечатаны стали у него «московитскими буквами», и на это обстоятельство он налег очень усердно, равно как и на письма и на рукописи на «московитском» языке неизвестного содержания. Точно так же пачка конвертов, перья, бумага, краски, фотографический аппарат получили под его пером какое-то мрачное значение, и порадовался я не на шутку, что со мной не было ни револьвера, ни стилета. Это было бы уже явной уликой моей злоумышленности. Загладив таким образом вину своего немецкого происхождения перед Голуховским, он стал снимать с меня показание, кто я, где родился, женился и т. д. Я показал то же, что в Кракове и во Львове.

Я — некрасовец, родился в Петербурге, учился у домашних учителей, посещал петербургский университет, поехал за границу во время войны, потому что не хотел делаться русским подданным, воротился в Россию после Парижского мира, женился, опять поехал путешествовать, бывал в Англии и во Франции, Турцию посетил, в Добрудже жил, овдовел, поехал в Вену, изучаю археологию в Галичине.

— Да какая ж тут археология? — допытывался Етмар. — Археологию изучают в Италии, в Шварцвальде, а не у нас...

Пришлось объяснить, почему галицкие древности важны для истории восточной церкви и для определения древнего быта славян.

— На чей счет вы ездите?

— На свой собственный.

— Где ваше состояние?

— В Петербурге, в акциях и в государственных бумагах.

— Где эти бумаги?

— Не возить же их с собой; они у моего поверенного, у одного купца, который ведет мои дела и высылает мне нужные суммы по востребованию.

— Как зовут его?

— Андрей Александрович Краевский, живет на Литейной, в собственном доме, за номером 38.

— Велико ли у вас состояние?

— Сто тысяч рублей серебром..., — брякнул я.

— Mein Gott! Mein Gott! — бедный Етмар только руками всплеснул.

Протокол кончился. С величайшими извинениями и с сожалениями препроводили меня к канцелярскому сторожу, у которого я поместился в квартире. Етмар охал, пенял, зачем я, ночуя в Печенежине, не прописал у него паспорта, что предотвратило бы все беспокойства и четырехчасовое составление моего протокола, а равно и поездку его завтра в Коломыю. Вина в непрописке была собственно не моя, а гостеприимного священника Петрушевича, но дело было сделано, скан-

дал арестования моего был так велик, что Етмар не вправе был не задерживать меня *unter Aufsicht*, а не *unter Arrest*, как он утешал меня.

Насчет Краевского и мнимого капитала у меня был расчет довольно верный. Я писал ему, с какими трудностями сопряжена моя поездка и что ареста мне не миновать ни в каком случае. Весть об этом аресте, рассчитывая я, хорошо зная польские и немецкие нравы, не может не дойти до него через газеты прежде, чем ему сделают запрос, потому что дело пойдет через множество инстанций. Вины за мной нет, пропаганды я в Австрии не делал, стало-быть задержание мое будет непродолжительно и нестрого. Время, во всяком случае, я выиграю, а это даст мне возможность черкнуть две строки в Петербург или бежать. Если ж бы ни то, ни другое не удалось, и меня выдали бы головою в Россию, с которой я тогда уже вполне примирился, так как хорошо изучил поляков, я бы в этом же III Отделении написал бы, не задумываясь, такую же полную и чистосердечную исповедь, а затем судьбу свою предоставил бы на волю божию, стараясь уходить себя чем-нибудь, чтоб не мучиться понапрасну в каторге или не умирать со скуки в ссылке.

На другой же день местные власти стали мне делать визиты с оправданиями и соболезнованиями. Мои сто тысяч рублей серебром подействовали так на них, что захотя я поручить любому из них бросить письмо на почту, он бы за счастье почел оказать мне эту услугу. А Етмара в Коломые распустили за неполноту показания, заставили его допросить войта, жандармов, мужиков, у меня узнать, какое именно ехидство разумно я под коварным названием филологии и археологии и еще какой-то подобный вздор. Дело же обо мне было немедленно отправлено Голуховскому. На четвертый день пришло телеграфическое предписание из Львова выслать меня из Австрии, как человека, путешествующего без определенной цели (*ohne Zweck*) и без визированного паспорта. Высылку эту произвести на мой собственный счет и непременно через Синёвцы (*Mihaleni*) в Молдавию. Как я после узнал, уже в Яссах, меня во Львове сочли за русского агента, умышленно снабженного турецким паспортом, чтобы отвести глаза полякам; а выслали меня именно в Молдавию и именно на мой счет в пику русскому правительству. Я принял это решение с радостью, хотя и показал себя недовольным, обещал возвратиться в Печенежин по разъяснении дела, — что, если буду помилован, и исполню, — и отправился в Коломыю, *unter Aufsicht* (*doch nicht unter Arrest*) того же канцелярского сторожа.

Ohne Zweck und ohne Visa! — это была вопиющая несправедливость. По какому праву ученую поездку считать бесцельною? Да, наконец, разве допускает австрийское законодательство воспреещение путешествия для собственного удовольствия, без всякой определенной цели? Разве Австрия замкнута для иностранцев, как Китай? Я должен был молчать, потому что протест мой мог или погубить меня, или, что еще хуже, оправдать Голуховского, но зачем же посольство наше в Вене не настоит, чтобы русским можно было *ohne Zweck* путешествовать по Австрии? Преследование русских — оскорбление нашему правительству и всему народу; неуважение к русскому паспорту австрийских властей — неуважение к выдающим этот паспорт.

Наше правительство слишком скромно и уступчиво, оттого с ним и не церемонятся.

Ohne Visa — даже нелепость. Я приехал в Австрию с визированным паспортом, но как ему вышел срок, то я переменял его в турецком посольстве, и, разумеется, мой новый паспорт не мог быть визирован: в Австрии австрийских консулов не водится. В посольстве мне

сказали, что его нигде не нужно прописывать, то же я слышал в краковской и в львовской полиции, стало-быть, что же приходится думать о галицких порядках и о польских администраторах?

Денег у меня было очень мало. Я ждал высылки из редакции, когда меня арестовали, и принужден был продать в Коломые часы, а в Чернівцах шубу на поездку и на содержание себя с провожатыми сторожами. В Чернівцах начальник полиции пришел в негодование, что меня везут на мой счет, спросил у моего провожатого, не * готтентоты ли управляют Галичиной, и отправил меня на обывательских. В первой же волости пришлось заночевать, потому что обывательских как-то налицо не было. Ночевать пришлось в сенах арестантской, — пьяный войт перевел меня ночью в арестантскую, где я и проспал на одних нарах с каким-то конокрадом и в компании крыс. Это побудило меня ехать всю дорогу на свой счет, во избежание ненужных остановок, и таким образом я добрался до Синёвец. Там подивились моей истории, пожалели меня и пропустили в Молдавию, где я уж был и в безопасности и почти дома. 7 ноября 1866 г. я приехал в Яссы, где и прожил безвыездно до самого возвращения в Россию, 19 мая, когда я с полной воли перешел unter Arrest.

Целую зиму обдумывал я этот шаг и только по зрелом размышлении решился сделать его.

Невольное переселение в Яссы меня радовало отчасти. Была зима, время неудобное для этнографических поездок; все равно нужно было где-нибудь дожидаться весны и заняться приведением в порядок массы накопившихся сведений и наблюдений. Кроме того, и сама Молдавия имела для меня интерес в научном и в политическом отношении. Изучение ее этнографии и древностей необходимо для пояснения многих темных вопросов в истории славянства, а соседство ее с Россией возлагает на нас обязанность следить за ее общественным настроением: к нам она тянет, к Франции или к Австрии. Тишина и непривлекательность яесской жизни, казалось, гарантировали мне успешное окончание моего «Путешествия по Галичине» и опровержения учений Духинского, имеющих такое колоссальное влияние на действия против нас поляков и на отношения к нам Западной Европы. Вступить в борьбу с ним я чувствовал себя в силах, благодаря моему близкому знакомству с славянским бытом, языками, преданиями, летописями, а также и знанию восточных языков и цивилизаций, сект, вер, физического отличия урало-алтайского племени от индо-европейского и т. д. Ответ мой я издал бы, как и «Путешествие по Галичине», на русском, польском и французском языках. «Путешествие» нанесло бы удар польской практике, «Ответ» — их теориям, а как то и другое вышло бы из-под пера человека, хорошо им известного и пользующегося их уважением, то и не преминуло бы произвести на них должное ** впечатление.

Усердно принялся я за работу, но работа шла плохо, перо валилось из рук, мысли и слова не клеились, — тяжелые думы засели в уме моем и так завладели им, что писать не стало возможности...

Прав ли я, честно ли я поступаю, что остаюсь эмигрантом безо всякого повода, когда мои убеждения ни на волос не расходятся с правительственными? Имею ли я право писать под чужим именем и ослаблять тем самым значение всего, что я пишу, когда открытое, гласное заявление моего обращения придало бы *** вес защищаемому мною русскому делу?

* Зачеркнуто: вандалы.

** Зачеркнуто: влияние.

*** Зачеркнуто: серьезный.

Опальный, я могу писать только намеками, недомолвками, я должен прятаться за свои строки, я не смею сказать всей правды, чтобы не избаловать себя, а сказать можно и должно многое. Простой рассказ о моих прежних крамольных делах многих направит на путь, многих спасет от увлечений и ошибок, а богатый запас сведений и опыт, вынесенные мною из моей скитальческой жизни, сделавшись достоянием всего читающего мира, разве не послужат к общему благу русских да и тех же самых поляков? Я, некогда один из светочей и надежд этой оппозиционной молодежи, деятельнейший и отважнейший из русских эмигрантов, разве не отрезвлю я моих товарищей и поклонников открытым обличением наших утопий? Не страх, не личная выгода, не * нужда привела меня к отречению от моей прошлой жизни: лета, опыт, наука обратили меня, и мне одинаково знакомы доводы как правительственной партии, так и революционной. Кто ж из русских публицистов может сравняться со мной в борьбе с утопиями и с поляками? Кто из них знает этот мир не понаслышке, не по догадкам, не по натянутым выводам из арестантских показаний? У кого из них есть инстинкт отличать возможные заговоры от невозможных, исполнимые предприятия от неисполнимых? Выступление мое в битву под моим собственным именем, без необходимости умалчивать и скрывать подробности дела, принесло бы неоспоримую пользу и правительству и обществу.

Мало этого. Самый факт моего покаяния и обращения нанес бы чувствительный удар нашим. Вздогнули старообрядцы при вести о переходе в православие моего друга, владыки Пафнутия, вздогнут и издатели «Колокола», нигилисты, революционеры, поляки от моего возвращения в лоно исторической русской жизни. Пример Пафнутия нашел подражателей, мой не замедлит их вызвать. Пафнутий и я, мы — страшные противники наших бывших друзей и учителей, мы силы их знаем, их приемы, и мыщцы наши приучены владеть их оружием. В клубах, в гостиных, на публичных чтениях мог бы я вести борьбу; студенческие квартиры не замкнулись бы передо мною; и ни одно «тайное» общество не сложилось бы втайне от меня. Год-два жизни в Петербурге и в Москве помогли бы мне создать кружок ловких бойцов против утопий, я передал бы им свои приемы, опыт, инстинкт и застраховал бы общество от новых увлечений и ошибок созданием в нем же самом поколения людей, знающих дело и умеющих пользоваться этим знанием для ** блага России.

По славянским и по румынским делам могу я быть полезен: частный человек может сделать много такого, что невозможно дипломату или вообще официальному лицу; но опять-таки, чтобы и на этом поприще служить России, необходимо быть в мире с правительством и пользоваться некоторым его доверием. У эмигранта же руки на все хорошее связаны, — кто войдет в серьезные переговоры с изгнанником?

Ясно было, что ни долг, ни честь не позволяют вести прежнюю жизнь, что надо во что бы [то] ни стало выйти из фальшивого положения, но как это сделать? И начались для меня новые мучения, отбившие меня от работы, от еды и от сна, доведшие до сильного раздражения нервов и чуть-чуть не до нервной горячки.

Как сделать? Как добиться, чтобы на меня посмотрели иначе, чтобы забыли мое прошлое, оправдать или извинить которое могу только тем, что не был связан присягою государю?

* Зачеркнуто: бедность.

** Зачеркнуто: внутреннего.

Писание у меня не шло, как я себя ни принуждал. Статьи мои выходили бледны, вялы, перо не двигалось по бумаге, — меня давила мысль, что мне нельзя всего высказать, как бы хотелось, потому что я — псевдоним. Страх преследовал меня, что, узнай как-нибудь правительство, кто такой так горячо пишет за галичан, галицкое дело потеряет его доверие; достаточно моего участия, чтобы скомпрометировать в его глазах самое благое начинание. Ложь для меня невыносима.

Как сделать?

Обыкновенно люди в моем положении входят в переговоры с правительством и выторговывают у него прощение. Это, пожалуй, самый благоразумный путь, но он был мне не по душе. Русские так не делают, конституции противны нашей натуре, — у нас или все, или ничего, мы середины не любим. Да и совестно было идти на переговоры с государем, к которому я со дня на день сильнее и сильнее привязывался. То он в маскараде для кандиотов участвует, и греки мне на шею бросаются за то только, что я его «подданный» (а мне это, как нож по сердцу: я стыжусь признаться им, что я в опале). То читаю в газетах, как его в театрах приветствуют, как он участвовал в бале на Неве; наконец, когда опять настала весна и когда опять птицы потянулись вереницами и стали звать меня за собой на север, он славян принимает!.. Терпения у меня не стало: весело за Россию было, а за себя тоска грызла. Да и что выхлопотал бы я переговорами? Точно так же нужно бы было написать исповедь и отправиться затем в моральную каторгу ссылки, в физическую — сибирских заводов, что, в сущности, сводится на одно и то же, так что даже сказать трудно, которая легче. Сверх того, ни частные, ни правительственные лица никогда не могут ни уважать виновного, примирившегося с ними на условиях, ни питать доверия к нему. Худой мир лучше доброй ссоры, говорит пословица, но я, по несчастию, принадлежу к тому разряду широких натур, которые не любят ни давать, ни принимать наполовину. Полупрощение, полудоверие, полунаказание для меня * хуже открытой опалы, а именно такое-то двусмысленное положение и ожидало меня, если б я стал переписываться из-за границы и извиняться наполовину. Стало-быть, оставалось одно: повести дело на чистоту, сдатьсь безусловно на суд и на милость. По крайней мере, тогда был бы один конец, правительство не могло бы заподозрить в неискренности человека, отдавшего ему в залог самую свою свободу. Или пан или пропал, смелым бог владеет.

Лет шесть тому назад Погодин предсказывал **, что рано или поздно Герцен, как настоящий русский человек, явится с повинной. Так все русские бродяги и преступники делают, писал он, погуляют, пошалают, да вдруг ни с того, ни с сего явятся к становому и бухнут ему в ноги. Тогда я смеялся над этим, а теперь пришлось не на шутку обдумывать, как и куда понести свою повинную голову.

Первый план мой был следующий. Поеду в Россию, проживу неделю-другую в Москве, осматрю этнографическую выставку, которая меня сильно интересовала, как специалиста, и поеду в Петербург. В Петербурге подкараулю государя где-нибудь на прогулке и всенародно бухну ему в ноги, называя себя и прося помилования; или же, если его почему-нибудь не будет в Петербурге, явлюсь к шефу жандармов и попрошу арестовать меня. Этот способ очень мне нравился, потому что мне хотелось как можно торжественней заявить государю

* Зачеркнуто: немисливо.

** Зачеркнуто: Герцену.

словной сдаче, которая меня самого страшила, я ему не заикнулся. Мы условились, что письмо это я принесу ему в среду, 16 мая.

Не хитрое дело, кажется, написать письмо, но я даже за перо взяться не мог. Сомнения и колебания еще сильнее пошли после разговора с ним. Переписка бы завязалась, дело бы затянулось, и как еще примут в Петербурге... Всю среду я пролежал на боку; даже сходить извиниться в своей неаккуратности не мог, даже физически и нравственно обессилел.

Четверг прошел точно в таком же оцепенении; я даже не помню, что я делал и где был в четверг.

В пятницу утром я пошел посоветоваться с моим большим приятелем, Константином Степановым*, скопцом, городским извозчиком в Яссах. Крепко я люблю этого истинно религиозного человека, безукоризненно честного и чистого. Несмотря на его малограмотность, как-то легко становится в его присутствии; сердечной теплотой дышит его каждое слово, и он резко отличается этим от прочих поклонников искупителя Петра Федорыча Христа — анпиратора. Мы познакомились и подружились еще в Галаце, где он мне много сообщил сведений о своей секте. В Яссах то у меня, то у него изучал я их верования, за что должен был сообщать ему, что делает государь и как его любит народ. Он горд государем, горд успехами России в его царствование, горд, что славяне, заходившие при нем ко мне, так благоговели перед Россией, — короче, мы с ним сошлись на общих глубоких привязанностях. Он один знал, что я хочу воротиться, но я не заводил с ним разговора, каким образом хочу это сделать. В пятницу Константин Степанович стал мне необходим.

Он мыл коляску, когда я вошел во двор.

— Вот в Скуляны собираюсь, одного боярина везу, — сказал он. Я воскрес: энергия моя возвратилась.

— А далеко до Скулян? — спросил я.

— Недалече — верст с двадцать.

— Константин Степанович, я с вами поеду на козлах.

— Что ж, мне веселей будет сидеть. Посмотреть, что ли, хотите на русскую землю?

— Хочу сдать... —

— Доброе дело сделаете, бог вас за это не оставит...

Но тут я вспомнил, что нельзя же выезжать из Ясс, не покончив всяких счетов и прочих мелочей. Скопец ехал сейчас же и не мог меня ждать; мы условились совершить поездку на другой день, в субботу.

Точно камень у меня с сердца свалился. Легко, весело, в отличнейшем расположении духа провел я день, улаживая дела, не объясняя, впрочем, никому, что я затеваю, и ни с кем не прощаясь, во избежание лишних сцен, которых вообще не могу терпеть. Намекал только, что через несколько дней еду в Париж на выставку и что жду куда кое-каких писем, которые меня одни и задерживают.

Утром в субботу, 19 мая, я проснулся совершенно довольный, что наконец покончил с своими колебаниями, взял с собой «Сравнительную грамматику славянских наречий» Миклошича, изучение которой сократило бы время моего заключения, два платка, две пары носок, два ковра, годные заменить постель в тюрьме, а все остальное — чемодан, платье и т. п. — оставил на попечение моего камердинера, честного и преданного мне молдавана, позволив ему распорядиться этим хламом

* Настоящее его имя в моей записной книжке; редкий русский живет в Молдавии под своим именем, а он за веру бежал. [Примечание Кельсиева.]

по усмотрению, если через три месяца не получит обо мне известий. Брать платье и белье с собой я считал лишним, предполагая, по моему незнанию внутренних порядков России, что меня немедленно закуют и облачат в арестантское платье, — стало-быть нечего понапрасну отдавать свой гардероб на съедение моли и сырости. Димитраки бережет его лучше; если я буду помилован, он привезет его в Петербург; если придется погибнуть, пусть он в нем щеголяет. Я был доволен его службой, и не грешно сделать маленький подарок честному парню.

Напились я чаю у скопца, закусили мы на дороге, помолились; я стал на колени, он благословил меня образом Николая-чудотворца, обнялись, поцеловались и отправились. Из Ясс я вышел пешком, как гуляющий, чтобы не спросили паспорта, — дорога вела на Скуляны, а паспорт мой не был визирован в нашем консульстве, в которое я так и не заходил с середины.

Через час езды Константин Степаныч указал мне серенькую полосу земли на горизонте: «Россия!». Мы оба перекрестились, стало еще светлей на душе. Мне вспомнилась ночь, когда я уходил из Вержболова в Эйдкунен и думал, когда-то судьба приведет опять увидеть землю русскую.

Скоро и Скуляны показались. Я вошел к караульному офицеру и показал мой паспорт.

— Но вас не пустят в Россию без визы, — сказал он.

— С стороны молдавского закона нет препятствий? — спросил я.

— О нет, мы — свободный народ, но в Россию вас не пустят...

— Если только за этим дело стоит, то пустят. Мне всего часов на шесть нужно, у меня там приятели есть...

— Извольте, я подпишу, — и он сделал какую-то надпись.

Я выпил рюмку водки для храбрости, обнялся с Константином Степанычем, поручив ему сообщить консулу о моем поступке, и стал на паром. Через две минуты я уже был на русской стороне Прута.

— Пас! паспорт! — сказал мне досмотрщик. — Нельзя, извольте назад, визы нет.

— Знаю, что нет, господин офицер, — я совершенно сбился при виде пальто и кепи с кокардой, — но управляющий таможей — мой хороший знакомый, дайте мне написать ему несколько слов, и он меня пустит.

— Нельзя-с, у нас закон.

— Да полноте, офицер, я тут же подожду.

Польстила ему, должно-быть, моя ошибка, но он позволил, и меня провели в какую-то канцелярию, где сидел другой досмотрщик. Я махнул, по обещанию, платком скопцу, думая, что все кончено. На клочке бумаги я написал управляющему таможей:

Милостивый государь,

Сергей Григорьевич,

Неосужденный государственный преступник Василий Иванов Кельсиев сдается в руки правительства и просит вас принять меры к его арестованию.

В. К.

Затем я отдал эту записку солдату и принялся за то, что вчера полученные номера «Голоса». Дело было сделано, и я был спокоен как нельзя более. Тысячу раз я замечал, что с первым решительным шагом колебания и беспокойства исчезают и заменяются каким-то даже довольством.

Прошло с полчаса, пока вернулся солдат, схватил мои вещи и пригласил меня на паром. Он не посмел сказать управляющему, что

я в России, и мне пришлось переправиться опять в Молдавию, чтобы не выдать его перед его начальством. Нечего было делать, я воротился на молдавский берег и стал дожидаться управляющего; но молдавский сержант потребовал, чтобы я шел опять в караульную.

— Я говорил, что вас не пустят, — начал офицер, — вы мне не поверили; поезжайте в Яссы: здесь вы ничего не дождетесь, да и ждать нельзя...

— Сейчас пустят, господин офицер; солдат, которого я послал с запиской, перепутал дело. Дайте мне подождать с четверть часа, и если мне откажут, чего я не могу даже представить себе, то я сам сообщу вам об этом.

Офицер согласился, и я опять стал у парома с моим скопцом. С русского берега спустился штатский и военный. Я немедленно переправился к ним.

— Вы писали ко мне записку? — спросил штатский.

— Я — и покорнейше прошу арестовать меня.

— Да в чем же вы себя обвиняете?..

— Эмигрант, политический преступник, у меня пропасть вин.

— Странно. Что ж вас побуждает сдаться?

— Раскаяние и желание загладить прошлое.

— Что же тут делать? — спросил себя вслух военный, становой пристав Папандопуло.

Им обоим было крайне неловко.

— Исполняйте долг ваш — зовите кузнеца... — отвечал я, вполне уверенный, что меня ждут кандалы.

— О нет! Зачем же! Странно. Но если вы приняли такое прекрасное решение, с которым вас только поздравить можно, то пожалуйста...

На горе стояла бричка. Я еще раз махнул платком моему другу; и мы покатили в таможенную. Там я продиктовал одно показание, в стану — другое, поподробнее. Позвали двух понятых из крестьян, обыскали меня, отобрали карманный нож, ножницы для ногтей и спички, затем становой, голова, калараш (род сторожа) и я — мы покатили в Бельцы к исправнику. Нечего и говорить, что со мной обошлись, как я и не ожидал, — гуманно, мягко, дружески, стараясь успокоить меня. В Бельцах исправник Леонарди оставил меня в собственной квартире, — было поздно ехать в Кишинев. Со всех сторон сыпались приветствия и ободрения.

Но я не в силах был ехать на другой день. Моральное потрясение выказалось бессонной ночью и сильной нервической дрожью, — я насилу мог говорить... К вечеру, впрочем, все прошло, и в понедельник утром я отправился под конвоем канцелярского Малкоча и пожарного солдата в Кишинев.

Приехали мы часов в одиннадцать ночи прямо к губернатору г. Антоновичу. Он тоже обошелся со мной приветливо, расспросил кратко о моем прошлом и о поводах к возвращению и обещал завтра же писать в Одессу. Я пришел в ужас.

— Так вы не завтра же отправите меня в Петербург?

— Без предписания [генерал] губернатора я ничего не могу сделать.

— Но вы можете же телеграфировать в III Отделение?

— Не могу... — он удивлялся моему неведению русских порядков и удивлялся различию их от турецких.

— Но неужели же дело пойдет по инстанциям? Тогда мне придется загоститься в Кишиневе, а мне хотелось бы скорей в III Отделение; я именно на то и рассчитывал, что там мое дело пойдет без проволочек и что там его всего лучше поймут...

— Ничего нельзя мне без генерал-губернатора. Мне жалко вас от души, тем более, что не знаю даже, куда деть вас на время...

— В острог, куда же больше! Только сделайте мне снисхождение, генерал, позвольте написать письмо графу Шувалову, чтобы он не оставлял меня здесь.

— Прекрасно сделаете, я велю дать вам бумагу и перьев. Полицеймейстер отвез меня в полицию, дал мне ужинать, и я переночевал в дежурной. На другой день, во вторник 22 мая, меня перевели в секретную тюремного замка и не только курить не дали, но даже грамматику не дали читать — я и до сих пор без нее, и мне без книг и без пера хуже, чем без пищи. В среду я написал письмо графу, а в четверг 24-го мне объявили, что министр внутренних дел вытребовав меня телеграфическою депешою в Петербург, — я даже прискочил от радости.

Вечером того же дня я отправился на почтовых, под конвоем двух жандармов, проехал Белоруссию, по тамошним костюмам проверял дорожной мнение Шафарика о выходе оттуда сербов и нашел его вполне верным. В субботу 2 мая²²² прибыл в III Отделение и 13 июня представился комиссии.

12 июня 1867 г.

*

Исповедь моя кончена, прибавить к ней нечего. Я не скрыл ни одного моего проступка, не смягчил фактов, я объяснил все, что было. Если правительство сомневается в моей искренности, проверка моих показаний докажет, что я писал правду.

Моя прошлая жизнь теперь известна правительству, равно и мои мнения и взгляды, — я ничего не утаил и показал ему себя без маски, таким, каким сделала меня моя странная жизнь. Я объяснил ему мотивы всех моих поступков, я сделал критику их и указал, чем хочу и могу загладить увлечения моего прошлого.

Государь, нравственными страданиями и дорогими мне потерями искупил я все, что предпринимал против вас, — я страшно наказан; у меня теперь одно стремление — посвятить жизнь мою и силы мои вам, посвятить их всецело на службу России. Не оттолкните же, государь, от ступеней престола вашего некогда крамольного, а теперь искренно преданного вам подданного и прикажите мне быть вам полезным. Как стрелец с плахой на шее, так я с повинной головой вам сдался. Повинную голову меч не сечет, — дайте же мне возможность отслужить вам за ваше помилование.

В надежде на вашу милость, государь, преступный Кельсиев ждет покорно своего приговора.

Среда 12 мая* 1867 г.

[ОТВЕТЫ КЕЛЬСИЕВА НА ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ]

1867 г. июля 24-го дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии государственный преступник Василий Иванов Кельсиев на предложенные ему вопросы объяснял:

Вопрос 1:

В первом отделе вашей «Исповеди» (стр. 7) встречается следующее заявление: «сочинения и прокламации самих деятелей оппозиции также не заслуживают доверия, это я уж по личному опыту знаю. Когда мне пришлось сделаться агитатором, как это расскажу впоследствии, я сплошь и рядом должен был привирать о располагаемых мною средствах; я должен был, как ни было мне противно, туманить глаза людей, на которых приходилось действовать, преувеличенными рассказами о силе и значении нашей партии в России».

* Исправлено карандашом: «июня».

Не найдя в последующих отделах вашей исповеди разъяснения вышеприведенного заявления, высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам восполнить этот пробел с возможною подробностью.

Ответ.

Агитатором в полном значении этого слова я сделался только с приезда в Лондон Пафнутия и был им до половины лета 1863 г., когда я бросил всякого рода пропаганду и старания заводить с кем бы то ни было политические связи.

То, что я назвал «привирашем о наших средствах», значит собственноручное превеличение их, невольное пускание пыли в глаза выражениями «мы», «наши связи», «наше значение», «наше влияние». Делалось это не из желания обмануть, а искренно думалось, что мы и действительно много значили, и хотелось возвысить наше значение в мнении других. Мы верили сами в правоту нашего дела, и нам казалось, что мы не одни его ведем. Каждый намек на сочувствие казался нам полным согласием с нами. Так думают и поступают все партии на свете. Рассказ о моей агитаторской деятельности изложен во II и III отделе моей «Исповеди».

21 июля 1867 г.

Вопрос 2.

В первом отделе своей «Исповеди» (стр. 6), вы, между прочим, говорите: «Кто только ни перебивал при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики, студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился... Являлись дамы с дочерьми и сыновьями, просили написать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах».

Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам поименовать всех известных вам лиц, посетивших Герцена в бытность вашу в Лондоне, с обстоятельным изложением о заявлениях и суждениях каждого из них.

Ответ.

Точно водопад лился — одно лицо сменялось другим, так что нет возможности припомнить десятой части всех, кто перебивал, а тем более, кто что говорил. Лица позначительней и позамечательней выдались с Герценом глаз на глаз, и о том, что они бывали, я знаю только с его слов. Имена у нас вообще опускались в разговоре, мы обходились вообще без них, и вопрос, как зовут гостя, нам всегда казался неприличным. Я обращал преимущественно внимание на литераторов, но заявлений и суждений их не могу привести уже и потому только, что в пять лет не мог не позабыть их, а, сверх того, в гостях, где человек пять или шесть посторонних, никто не высказывал явно, что думает. Приезжали большею частью вовсе не заговоры делать, а посмотреть на издателей «Колокола». Знаменитости всегда влекут к себе публику. К Гарибальди многие едут, но не всякий готов идти за ним или служить его делу. Сколько помню, приведу список бывавших, но он будет во всяком случае не полн:

Писемский, Скарятин, Потехин, Островский, Горбунов, Цвет, Альбертини, Перец, Сухомлинов, Тургенев, Толстой (Тульский), Кусаков, Ковальский, оба Серно-Соловьевичи, Михайлов, Гербель, Жемчужников, Лугинин, г-жа Пасек, Казаков, Дубовицкий, Боборыкин, Обручев, Сераковский (1860 г.), Ничипоренко, Боткины, Белохостов, Владимир-Трувелер, Ветoshников, Богатырев, Смирнов, Сорокин-Щербина²²³.

Из них Цвет и г-жа Пасек сильно настаивали на катковских взглядах и нарочно приезжали в Лондон, чтоб отклонить Герцена от его пути.

Сераковский²²⁴ только и толковал, что об уничтожении телесного наказания; ничто не подавало повода думать, что он сделается доводцем.

Лугинин проповедывал конституцию и защищал права дворянства. Дубровский²²⁵ и еще юношей с десять держались мнений «Молодой России» и просили разрешения на каракозовский подвиг; им это было запрещено. Знаю только имя Дубовицкого, потому что я с ним возился; других унял сам Герцен. Такие господа стали появляться только с 1861 г.

Кавказских генералов было человек пять; лица помню, но имен не знаю.

Запасник, финансист²²⁶. Он много спорил с Огаревым по выкупному вопросу и по устройству банков.

Тургенев, Писемский, Островский и вообще все литераторы более или менее склоняли Герцена быть умереннее в его нападениях на них. Еще в 1860 г. не раз слышалось, что он забыл Россию и не понимает русских отношений, в 1861 г. это уже перешло в упреки, а [в] 1862 г. даже в укоры. Литераторы бывали у Герцена, как у собрата по журналистике, но мне не раз казалось, что одна из главных побудительных причин их посещений была та же, что вообще у всех его гостей, так быстро сменявшихся, что даже и заметить их было невозможно, — страх быть осмеянными. Приговор «Колокола», при тогдашней цензуре и при невозможности возражать ему, не выдавая себя в получении его, был безапелляционным. Всякий искал случая задобрить его издателей.

Граф Толстой говорил только о педагогии. Он заводил школу в своем имении²²⁷.

Владимиров, Ветошников, Трувелер и множество подобных им молодых людей ничем себя не заявляли. Больше молчали и слушали.

Вообще надо сказать, что ни имена не произносились, ни особенных заявлений не делалось. Разговор сводился на анекдоты из литературной жизни, на отвлеченные споры о теориях. Герцен — отличный рассказчик, его слушали. Собрания у него ничем не отличались от бывающих у каждого литератора; если кто и задумывал что, то при третьем не высказывал. Сам Герцен и Огарев вообще тяготились этими посещениями и не раз жаловались, что они наводят на них скуку, не принося ни малейшей пользы. Оказалось даже, что они вред им приносили: нельзя было одинаково занимать и выслушивать каждого приезжего, а приезжие этим обижались, и неудовольствие их накапливалось. Я думаю, что это обстоятельство много помогло Каткову низвергнуть издателей «Колокола» с их пьедестала. Личные неудовольствия, оскорбленные самолюбия — верный залог в перемене убеждений, а не раз, выходя от Герцена, приезжие роптали на холодность его приема.

В доказательство, что на этих вечерах ничего особенного не говорилось и нельзя было узнать, кто что думает или делает, приведу только то, что я решительно не ожидал, чтобы Михайлов стал печатать прокламации или чтобы Трувелер стал раздавать матросам «Что нужно народу?». Владимиров сослан за сношения с Лондоном; для меня загадка, какие мог он иметь сношения и с кем. Обручев и Николай Серно-Соловьевич тоже ничем не выдавались, и только теперь я узнал, что последний был «постоянным корреспондентом» «Колокола».

То же надо сказать о «красных». Много было юношей с трескучими фразами, но от них ничего нельзя было услышать, кроме теорий, а как я теории-то знал лучше их, то меня вовсе не занимало их собеседничество. Один такой — имени его не помню — был в Лондоне во время моей поездки в Петербург и упрекал Герцена, что он держит лакея, а Бакунина, что он поздно встает, что, дескать, революционерам неприлично²²⁸. Дубовицкий, вольнослушатель Харьковского университе-

та, явился под именем Семенова (или Симонова), целый вечер преследовал Герцена просьбой дать ему случай поговорить наедине, а меня мучил своим сочувствием и восторгами перед Фурье. «Будьте отец родной, — сказал мне Герцен, усталый от гостей, — допросите этого дурака, что ему нужно; вероятно, какой-нибудь нелепый проект хочет предложить; у меня и так голова кругом идет от этих недоносков». Я зазвал его к себе; оказалось, что он как-то несчастно влюблен, жизнь не мила, хочет пожертвовать собою на благо общее и приехал нарочно, чтоб предложить свои услуги... Я его начал урезонивать, успокаивать, сказал, что это вовсе не входит в программу, — словом, говорил все, что только может притти в голову при подобном нелепом разговоре. А говорить с ним было дело нелегкое, — он был непроходимо глуп, многоречив и охотник рисоваться. От фразы своей он не хотел отступить и, думаю, из ложного *point d'honneur* не отступился бы и от затеи. Чтобы не раздражить зверя, что всего опасней, — бранью, резкостью, запрещением можно заставить человека поставить на своем, как и принято в иезуитской системе, — я пошел на хитрость и дал ему слово, что когда будет нужно, то мы ни к кому, кроме его, не обратимся. Это ему польстило, он сказал, что теперь имеет цель в жизни и будет дорожить ею, и уехал. Герцен жаловался, что к нему много являлось таких молодцов, но, как он отбояривался от них, не знаю. Ему, впрочем, можно было прямо ругать их, — ему верили и полагались вполне на его приговор, но кто именно делал ему предложения подобного рода, я не спрашивал. Кстати, повешенный в Варшаве наборщик нашей типографии Абихт²²⁹ тоже затевал это и храбрился не раз, но колебался между нашим государем и Наполеоном. Бомбы и яды какие-то он изучал... Вообще, мы знали, что все это — фраза, хвастовня, желание порисоваться, и не относились серьезно к этим господам, в полной уверенности, что из десяти тысяч крикунов ни один ничего не предпримет, а тем более никто не отважится предпринять без нашего одобрения, которого мы никогда бы не дали²³⁰. Нас считали агитаторами, ждали всего от нас, и потому никто ничего не хотел предпринять.

Больше мне нечего ответить на этот вопрос. Если еще припомню какие-нибудь имена, я их сообщу после. Крупных же фактов или замечательных фраз, суждений, заявлений, таких, чтобы врезались в память, не было.

Подчеркнутые слова «при мне» я написал в смысле «в мою бытность в Лондоне», а вовсе не «в моем присутствии».

24 июля 1867 г.

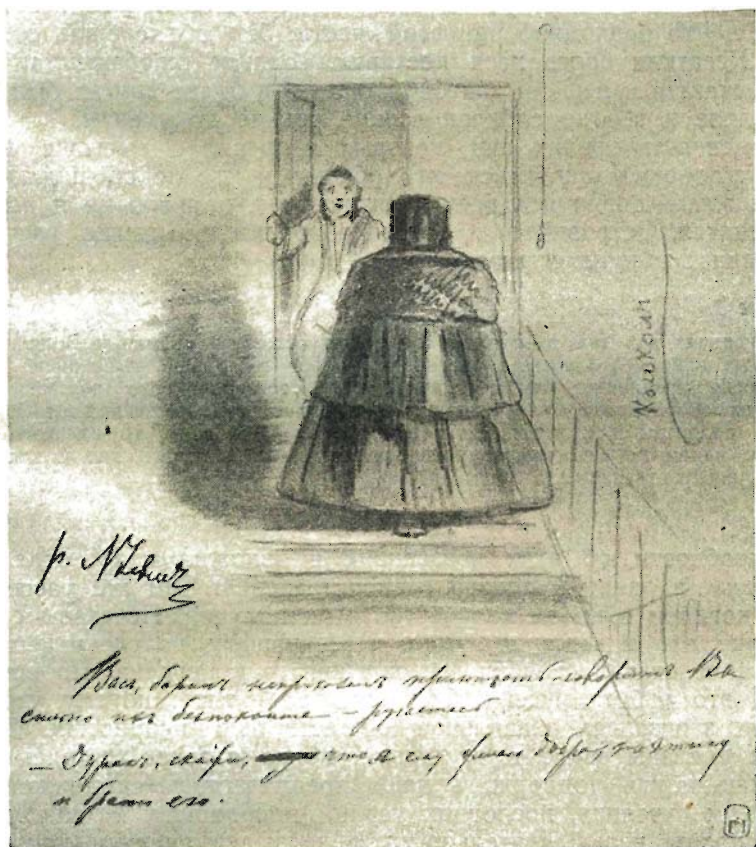
Вопрос 3.

В первом же отделе вашей «Исповеди» встречаются следующие заявления: на 6-й странице: «Печатать всего, что присылалось или что сообщалось, не было возможности: «Колокол» должен бы был принять размеры «Times'a...» На 3-й странице: «Изредка я составлял для «Колокола» экстракты из процессов, неправильно решенных в России, и вообще разные маленькие извлечения из больших дел... Рукописей и дел привозилось и присылалось в Лондон несметное множество — одних нефранкированных писем получал Герцен шиллингов на десять в день, и у него положительно не было возможности самому перечитывать всю эту груду бумаг, приходивших в его руки...». Далее вы говорите, что Герцен передал вам огромный тюк рукописей, из которого вышло четыре изданных вами тома «Сборника правительственных распоряжений о раскольниках».

Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить, из каких процессов и дел вы составляли экстракты и извлечения для «Колокола». Кто именно доставлял Герцену все эти сведения и кто были постоянными его корреспондентами в России и других местах? Кем присланы были рукописи о раскольниках? Неизвестны ли вам также и случайные корреспонденты Герцена? Каким путем и по какому адресу пересылалась Герцену корреспонденция?

Ответ.

Сколько мне известно, постоянных корреспондентов у Герцена не было. Сведения доставлял ему каждый, интересовавшийся «Колоколом» и желавший его поддержки. Письма и статьи вывозились отъезжавшими за границу и сдавались на почту в Берлине, в Дрездене, в Штеттине на адрес Трюбнера, Тхоржевского и одного дрезденского банкира, приятеля Герцена, которого имя теперь не припомню. Кто именно писал и посылал статьи, Герцен никогда не говорил, а приличие не позволяло его об этом спрашивать, да и надобности в этом



РУССКИЕ ОТКЛИКИ НА ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

Карикатура Н. Иевлева для «Искры», запрещенная цензурой

Русский музей, Ленинград

не было. Сам я ни с кем в России не переписывался до своей поездки и потому всегда сторонился от вмешательства в это дело, которому пособить ничем не мог. Правильной почты и корреспонденции не было, сношения шли исключительно через приезжих, и все сосредоточивалось в руках Герцена.

24 июля 1867 г.

Вопрос 4.

На 16-й странице первого отдела своей «Исповеди» вы говорите, что каждого приезжего вы расспрашивали о сектантах и каждого просили собирать и высылать вам материалы. «Материалы, действительно стали присылаться я...».

Дополните это заявление поименованием лиц, которых вы просили о высылке вам материалов относительно раскола, а равно и тех, которые их доставили.

Ответ.

И на этот вопрос не сумею дать полного показания, какого бы хотел, потому что приезжих было слишком много, и нет возможности припомнить, с кем именно я говорил. Предлагаемого мною мерой мало кто интересовался, а к сердцу ее никто близко не принимал, равно как никто не мог мне ничего сообщить о сектантах за целые два года моих расспросов. Материалы стали высылаться потому, что в России узнали о «Сборнике» и потому, что разнесся слух о запросе на них, но кто их высылал, я не знаю: все посылки шли к Герцену, спрашивать его, от кого он получает, было неприлично, он мне просто передавал все, что приходило по этой части, без объяснений, от кого и откуда. Касаткин более всех доставил, если не ошибаюсь, но и того не могу сказать наверно: как библиофил, он более других был сведущ в этом деле и заодно собирал всякие редкие документы.

Поименовать прочих лиц, которых я просил о высылке, не могу, потому что боюсь ошибиться, кто обещал и кто не обещал. Кажется, все обещали, — тогда все всему сочувствовали, а просил я всех.

Помнится, Островского я особенно просил о высылке, рассчитывая на его связи с купечеством...

24 июля 1867 г.

Вопрос 5.

Предъявляя вам два экземпляра воззвания общества «Земли и Воля» к офицерам русских войск от комитета русских офицеров в Польше, высочайше учрежденная комиссия предлагает вам объяснить, кем составлено это воззвание и кем сделаны на обороте каждого экземпляра надписи с обращением к кавказским офицерам, солдатам и казакам. Если надписи сделаны вами, то изложите, откуда, когда и в каком количестве получили эти воззвания, а также, где и каким путем они были распространяемы.

Ответ.

Подробности об этих воззваниях я изложил в IV отделе моей «Исповеди», а равно и способ распространения. Там же рассказываю, откуда, когда и в каком количестве я их получил. Печатаны они были в Лондоне, это я вижу по бумаге и по шрифту, но где и кем составлялись, я не считал себя вправе спрашивать у Герцена. По всей вероятности, это работа русских офицеров в Польше, потому что у них у первых завязалось правильное общество по инициативе Потемби. Надписи сделаны мною в то время, когда я уже хватался за все, чтобы как-нибудь поддержать наше предполагавшееся движение. Это было время отчаяния, последних усилий, породивших во мне сомнение в самой пользе нашей деятельности. Я делал эти надписи, как в бреду, агитаторствуя по привычке, а не по убеждению.

1867 г. июля 31-го дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии государственный преступник Василий Иванов Кельсиев на предложенные ему вопросы объяснил:

Вопрос 1.

В дополнение и разъяснение 2-го пункта показаний от 24 сего июля, высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить:

Как имя и отчество вольнослушателя Харьковского университета Дубовицкого, откуда он родом, кто его родные, каких он лет и какие его приметы?

В котором году и с какою целью Дубовицкий приезжал в Лондон? С кем он там жил?

Каким образом он познакомился с Герценом и вами, часто ли вы с ним встречались, где именно и о чем говорили? Кто, кроме вас и Герцена, был еще знаком с Дубовицким?

По какому случаю вам известно, что Дубовицкий приезжал в Лондон под именем Семенова или Симонова? Для какой цели он переименовал свою фамилию? На чье имя и откуда был выдан ему заграничный паспорт?

Когда и по какому поводу у него родилась мысль о царевубийстве? Какими способами и где он предполагал привести этот замысел в исполнение?

Не было ли у Дубовицкого сообщников этого злоумышления и кто они?

В чем заключался подробный разговор ваш с Дубовицким в тот вечер, когда вы зазвали его, по просьбе Герцена, к себе? В какой форме он высказывал свою готовность на царевубийство?

Видели ли вы тех юношей, которых, по словам вашим, было до десяти человек и которые, подобно Дубовицкому, предлагали посягнуть на царевубийство? Кто эти юноши, какого они звания или сословия, когда и зачем приезжали в Лондон, долго ли прожили в нем, и часто ли бывали у Герцена? Были ли эти юноши знакомы с Дубовицким и какие имели с ним сношения?

Когда именно и в каких выражениях Герцен жаловался, что к нему много являлось таких молодцов? Были ли эти последние те же юноши или же другие личности?

Долго ли Дубовицкий пробыл в Лондоне, когда и куда из него выехал и не известно ли вам, где он теперь находится?

Сверх того, комиссия, имея в виду, что по вашему заявлению подобные Дубовицкому личности стали являться в Лондон только с 1861 г., обязывает вас показать: часто ли являлись такие личности как в 1861 г., так и в последующих годах; к какому они принадлежали сословию и чем было вызвано такое явление?

Ответ.

Помню только, что он, кажется, был рязанским уроженцем. Лет ему было около двадцати пяти, худой, высокий, говорил нараспев, вяло и бестолково. Примет его описать не сумею, но могу указать на одного жандарма, имеющего поразительное с ним сходство. Волоса темные, реденькие, веки треугольником.

Весной 1862 г., перед открытием лондонской всемирной выставки, приезжал один и жил, сколько знаю, один.

Я сидел у Герцена и что-то читал, гостей было много. Мне нездоровилось, — я тогда мигренем страдал и как-то не обращал внимания ни на что, что кругом происходило.

— Вы это меня одного оставили занимать гостей? — сказал Герцен. — Допеку же я вас; тут есть какой-то дурачок, который со мной секретничать хочет...

Он вышел в гостиную, — я в кабинете сидел, — и привел ко мне высокого, тощего господина с длинными волосами.

— Я обещал господину Семенову познакомить его с вами, — усадил его подле меня на кушетку и ушел.

Пришлось занимать Семенова. Он вздыхал, охал, ораторствовал что-то о судьбах человечества и расспрашивал о наших лондонских взглядах на систему Фурье. Скука была с ним смертная; он говорил много, бестолково, тянул слова и ни до какого конца не доходил. Я несколько раз порывался уйти от него, он не отставал, — он привязчив, как муха, это вернейшая его примета, — и все намекал, что он хочет просить у Герцена совета в каком-то важном деле. Я попробовал сбрызнуть его Герценом.

— Господин Семенов хочет вам что-то сообщить, Александр Иванович, — сказал я, когда Герцен проходил мимо нас.

— Батюшка мой, Семенов, — сказал Герцен, — извините меня, ни секунды времени нет, и завтра целый день по горло занят. Вот вы Кельсиеву сообщите, что нужно, это наш человек...

И он ушел, довольный своей проделкой, и подсмеивался надо мной целый вечер.

— Как жалко, — тянул Семенов, — что Искандеру нет времени, мне так хотелось бы открыть ему душу, я так несчастлив в жизни, мне хотелось бы кончить с собою, меня ничто не влечет, все мне чуждо, мое сердце разбито. Все так пошло, мелко. Развитому человеку жить нельзя... Я хотел бы спросить его совета, его благословения на решительный шаг.

— Вы самоубийство затеваете? Вперед вам скажу, что Герцен ничего не сумеет вам посоветовать...

— Да, да, почти что самоубийство, но, впрочем, видя его полное доверие к вам, Василий Иванович, и успев в это короткое время вполне оценить ваш ум, ваше сердце и ваш характер, я решаюсь обратиться к вам за помощью. Я вас крепко полюбил, вполне сошелся с вами, — и т. д. и т. д. до бесконечности, ничего не объясняя, ни к чему не приходя, а упражняясь только в сердечных излияниях.

Уже на улице, садясь в кабриолет, он объявил мне, что завтра откроет, что у него на душе; я должен был пригласить его к себе.

Он явился часа в четыре пополудни и просидел у меня до семи. Вошел он как-то торжественно, сбросил «инвернес» и объявил, что, ценя мою дружбу и т. д. и т. д., — он страшный говорун, — он решился признать, что его зовут Дубовицким (или Дубровицким), что он из предосторожности назвался Семеновым, что эта предосторожность может рекомендовать его за надежного человека. Пошел, пошел рассказывать о какой-то любви, как его оценить не хотели, как друзья ему изменяли, — и все это убийственно длинно, скучно, фразисто, так что голову ломило от слушания его. Наконец, я не выдержал:

— Жалко мне вас, — сказал я, — тем более жалко, что не знаю, чем вам помочь и что вам посоветовать.

Он стал рассыпаться в изъявлении дружбы, благодарности, преданности, говорил, что начинает мириться с жизнью, потому что нашел любящее сердце, живую душу и т. д. на эту тему.

— Но вы говорите, что на что-то решились.

— Да, мой друг, открою вам свой замысел, я решился нанести удар злу в самом его корне, пожертвовать собой для человечества, для этого несчастного и ничтожного человечества, не стоящего нас с вами. Один удар, только один, и завтра же вспыхнет революция, и громкая песнь свободы раздастся в порабожденной доселе России...

Меня покорило.

— Вы это как же? Насчет государя?

— Жертвую собой. Я погибну для блага людей...

— Погибнете, но блага людям не принесете, вас народ в клочья разорвет, а за вами и всех, кто не мужик. В России теперь все, худо ли, хорошо ли, а есть прогресс, а тогда выйдет или страшная правительственная реакция, или, что еще хуже, простая пугачевщина. Наш государь все же не худой человек и далеко не ретроград. Реформы совершаются не по-нашему, не так проворно и не так последовательно, как бы мы хотели, но все-таки совершаются, и все-таки спасибо ему за инициативу: без него и того бы не было. Убить его не трудно, но трудно судить, каков будет его наследник. Революции не выйдет никакой, потому что ей и выходить не из чего, но очень вероятно, что народ не простит этого дела образованным классам, на которых давно зол и в которых не разбирает ни правых, ни виноватых, ни друзей, ни врагов... — и т. п., все, что говорится при обсуждении этого рода затей.

Дубовицкий спорил, фразерствовал и рисовался своей отвагой. Что было делать? Назвать его дураком и указать ему дверь было опасно. Он был крайне самолюбив, а самолюбивого человека стоит только задеть, чтобы он на стену полез. Он бы с досады привел в исполнение свой дикий замысел.

Дать знать в посольство или в Петербург также нельзя было. По его скрытности видно было, что он болтун, — только болтуны откровенничают с большими приступами, — вероятно было, что он не мне первому рисовался в своей затее, что он многим другим хвастал ею. Арест и всякого рода преследование его за страсть рисоваться окружили бы его ореолом мученика, возбудили бы толки и повели бы

к пропаганде его затеи, а тогда это было небезопасно. В 1861—1862 гг. движение, начавшееся с Крымской войны, шло в гору и в гору, с каждым днем красней, нелепей, уродливей, принимая характер «Молодой России». Стоило одного из таких красных погубить за фразы, чтоб натолкнуть десятки на совершение злодеяния, тем более, что авторитет Герцена начинал уже упадать, стало-быть, некому становилось сдерживать этих господ.

Сообразив все это, а тем более характер моего гостя, я ударился в такое же фразерство, сентиментальничанье, заявления дружбы, сочувствия и выиграл, что было нужно. Он не озлился, самолюбие его не было оскорблено, предложение не было объявлено бессмысленным. Его оценили, ему высказали участие к его бедам и к его «благородным порывам». Мы напились чаю и расстались нежными друзьями, давши слово друг другу, что если придет время и явится надобность, то никто другой, как Дубовицкий, не пожнет лавра спасителя отечества и человечества.

Хорошо ли я сделал, что именно этим, а не другим способом отвлел от государя руку этого безумца, судить не мне; но вот уж пять лет, что об нем не слышно, и значит мой труд не пропал попусту, а тем более, если и он, как большая часть тогдашних фразеров, одумался, покаяться и стал снова полезен в своем кружке.

В Лондоне он не долго пробыл, что-то с неделю, и уехал опять. Кажется, прямо в Россию. Сообщников у него не было, по крайней мере, не видно, чтоб были, и, вообще, сколько мне известно, таких предложений никто не делал сообща. Герцен смеялся над такими господами, и только по его презрительным отзывам об них знаю я, что и к нему являлись с такими предложениями, но кто именно, а его не спрашивал, потому что у нас всякие вопросы считались неприличными, а следовательно ничего не могу сказать о сословиях. Судя по общему характеру того времени, лица эти не могли быть в сообщничестве между собою и должны были быть из студентов.

Более не нахожу, что сказать на этот вопрос.

31 июля 1867 г.

Вопрос 2.

Объясните возможно подробнее, каким образом вы добыли себе паспорт на имя турецко-подданного Василия Яни и кто вам способствовал в этом? Какие приготовительные меры предшествовали вашей поездке в Россию, с кем вы советовались об этом и на какие средства совершили поездку? Кому в России было известно о предпринятой вами поездке?

Ответ:

Объяснения, подробнее сделанного в моей «Исповеди», дать не могу, потому что к нему прибавить нечего.

31 июля 1867 г.

Вопрос 3.

При личных объяснениях в комиссии, вы, между прочим, заявили, что в настоящее время в Львове существует «Народовый жонд». Комиссия предлагает вам дать подробнейшее объяснение о составе, целях и деятельности «Жонда», а равно о связях и сношениях его вообще и с царством польским в особенности.

Ответ:

Сколько знаю о галицких русских, президент «Жонда» во Львове—Пятковский (Piatkowski), фабрикант медных и жестяных изделий. В его руках сосредоточиваются все революционные силы и замыслы поляков. Уважением пользуется он огромным. Граф Голуховский, по приезде в октябре 1866 г. на наместничество, сделал ему немедленный визит. Состав «Жонда» мне неизвестен, и я не думаю, чтоб он был правильно организован, но наверное знаю, что в него входит ре-

дакция «Gazety Narodowej» (Добрянский и Костецкий), которая и служит органом «Жонда» и Голуховского. Лично знаю я двух членов этой партии — Робельницкого и Михайловского, с которыми виделся в Яссах в декабре 1866 г. Кто Робельницкий, мне неизвестно, а Михайловский — уроженец юго-западных губерний, студент Киевского университета, повстанец; во Львове он живет под чужим именем, но под каким, не знаю. Познакомился я с ним еще в 1864 г. в Галаце, где он был с прочими эмигрантами этих губерний.

От них и преимущественно от галицких русских, также из польских газет, я знаю, что «Жонд» сильно хлопотал о назначении Голуховского в наместники через Сапегу и Романа (?) * Чарторийского (рыженький, невысокий, лет тридцати пяти), бывших в тесных связях с венским двором. Задача его — образовать из Галичины такое же независимое королевство, как Венгрия, а затем, короновав императора Франца-Иосифа в Кракове, заявить его историческое право на Подолье, поднять новое восстание в пользу искреннего присоединения всех земель королевства польского к Австрии. Тогда Австрия стала бы федеративным государством поляков, малоруссов, венгров, чехов, румынов, болгар и сербов и спаслась бы от нас. Так и было до последнего времени, когда венгры начали предъявлять свое историческое право на Галичину и Подолье, что очень испугало и обидело поляков, а Бейст²³¹ сверх того почему-то топил их в своей Передливани. Теперь все их надежды снова возлагаются на Наполеона.

В Вене, впрочем, очень популярна мысль о восстановлении Польши под габсбургским скипетром, как и в Берлине — о присоединении к Пруссии левого берега Вислы. У поляков в эмиграции развивается чувство мести к нам, и они хоть погибнуть готовы, чтобы расплатиться с нами; в Галичине же и в Познани желали бы такого отторжения этой части нашего государства, чтобы укрепить свои силы за границей. Отдай мы часть Польши тем или другим, поляки подымут на нас Австрию или Пруссию, — они рассчитывают, что если Пруссия завладеет всей Польшей, то она не откажет им в автономии, а, кроме автономии, они ни о чем не мечтают. Сверх того, теория Духинского, как она ни нелепа, нашла себе сильную поддержку и у них, и у французов, а эта теория проповедует любовь к немцам, и они радуются, что большинство покупателей их имений на прусской границе — немцы и что господствующий элемент в администрации царства — тоже немцы. «Благо не москали, — говорят они, — немцы — все-таки европейцы, и мы по опыту знаем, как легко можно их полячить. На них прикрикни, сами конфедератки наденут (как теперь в Галичине) и даже фамилии свои изменят на местные, как в Венгрии (Schwarz — Feheté) или в Хорватии (Tischler — Teslar), в Чехии (Rieger — Riegr), и из них выходят лучшие патриоты. Евреи, и без того лгущие ко всему немецкому и враждебные всему славянскому, точно того же хотят; доказательство — австрийская журналистика, которая вся в руках евреев, распространение немецкого языка в нашем западном крае: Ковно — немецкий город. Сами немцы не прочь от содействия полякам: это и Бисмарк и Бейст торжественно заявляли в камерах, а Nationalverein, кстати, не знает, куда девать свои силы и чем заняться; со скуки он теперь раскидывает свою сеть в Дании, которая уже поплатилась за покровительство ему Шлезвиг-Голштейном, в Голландии, где вся торговля и финансы в руках евреев и немцев, и, как ходят слухи, у нас, в Прибалтийском и в Западном крае. Так, по крайней мере, толкуют между собой поляки в эмиграции, так славяне расска-

* Так в подлиннике.

зывают, пеняя на нашу оплошность, так галицкие и угорские русские говорят, и так же объясняют наши газеты упадок финансов зависимости от берлинской биржи. Все это я слышу уже четвертый год от Иордана, от Чарторыйских, от Робельницкого и Михайловского, от моих знакомых славян и галицких русских, которые, зная, что я публицист, просили меня Христом-богом обратить внимание правительства на эту грозящую опасность, которую они возводят на степень заговора. Указывать по именам, от кого я это слышал, было бы и невозможно, потому что в Австрии или в эмиграции каждый об этом вслух говорит, — это не тайна; и бесполезно, и даже вредно, писать имена людей, преданность которых нашему правительству может погубить их и которые могут быть нам полезны сообщением множества * важных сведений. Удерживаю я их имена за собою не из прихоти и не из упрямства, но потому, что люди эти побоятся войти в сношения с правительством, а чиновников его русского происхождения, с русскими именами или православной веры, между ними нет; путешественники же наши не посещают этих глухих сторон, боясь неприятностей от поляков, мадьяров и немцев; до меня никто не объезжал Галичины, а в Угорскую Русь, куда я рассчитывал съездить нынешним летом, я не попал, предпочтя воротиться в Россию и просить позволения быть ей полезным. В Вене у нас также нет ни одного лица, пользующегося доверием, кроме русского священника отца Михаила Раевского, который мог бы сообщить бездну полезных сведений о славянах и о немцах, но он не сообщит ничего, потому что боится, что потеряет место. Одно верно, что интрига существует, что узел ее во Львове, а разветвления идут от Парижа до Петербурга. Нить к ней покуда у меня в руках, и я надеюсь, что мне не поставят в вину мое упорство сохранить ее у себя; я могу вверить ее только человеку, за которого совесть моя будет спокойна, что он ее не упустит, а сумеет так же ловко воспользоваться, как я. Молчание же мое о моих собственных связях и агентах нисколько не может мешать правительству раскрыть дело и проследить его — я уверен, что Погодин, Ламанский²³², князь Черкасский²³³, профессор Попов, Аксаков и все прочие так называемые славянофилы знают не менее меня и точно так же получают сведения из верных источников, лучшего же они ничего не желают, как сообщать их правительству. Я отличаюсь от них только тем, что могу получить сведения от самих поляков, чему, как я уже изъяснял комиссии, мое возвращение не воспрепятствует. Я всегда откровенно говорил им, что думаю, и, если захочу поехать хоть во Львов, они меня примут, как старого приятеля, хорошего человека, но только тронувшегося в уме во всем, что касается русского правительства (zwariowat na Moskwie).

Два-три сообщения я мог бы теперь прибавить, но весьма уважительные причины, которые объяснить пока не могу, побуждают меня отложить их до решения моей участи, какая бы она ни была. Только по произнесении надо мною приговора я сообщу комиссии несколько фактов, которые мне кажутся немаловажными. Лично они меня не касаются, промедление сообщением их не будет вредно, а моя полная откровенность по всем другим вопросам может служить порукою, что я горячо желаю доставить правительству средства бороться с его врагами и что не утаиваю их от него. Уже самое это показание не преминет навлечь на меня нерасположение многих из окружающих государя инородцев и, весьма вероятно, дурно повлияет на мою будущность, а я писал его, вполне сознавая, чем я рискую, удовлетворяя требова-

* Зачеркнуто: полезных.

нию быть откровенным: я наживаю себе личных врагов в правительстве, а их у меня еще не было до сегодняшнего дня; я рискую шансами на помилование, на возможность немедленно стать полезным. Последнюю надежду ставлю на карту. Как же еще быть искреннее?

Зная поляков лучше, чем русских, я должен сказать, что только два средства вижу к подавлению раз навсегда этой неурядицы: присоединение к нам Галичины, так, чтоб в Австрии ни клочка польских земель не оставалось, и возвращение эмиграции без требования с нее присяги и с полным прощением даже жандармов-вешателей.

1. Когда в Австрии не будет поляков, тогда разрешится сам собой вопрос на Западном крае, — Русь станет Русью и найдет себе крепкую поддержку в галицкой интеллигенции, а поляки перестанут мечтать о праве хозяйничать в ней. Голуховские же в шестидесяти верстах от нашей границы станут положительно невозможны.

2. Возвращение эмиграции безопасно, — что они могут теперь сделать нам? Они разорены, измучены, им покою хочется, и они сами проклинаят восстание, хоть храбрятся и петушатся попрежнему. Воротясь домой (только не в Западный край), они волей-неволей сделаются мирными гражданами и поймут, что так как плетью обуха не перешибешь, то выгодней вести себя так же мирно в России, как до сих пор, с 1848 г., вели себя в Австрии. Заграничной пропаганды тогда не будет, а она больше всего сбивала их с толку, а предполагаемое основание в Варшаве всеславянского университета окончательно переменит их образ мыслей. Если же дастся им к этому та свобода слова, которой они теперь пользуются в Австрии, что будет совершенно безопасно при отсутствии польского элемента за границей, и хоть тень автономии, они сами поймут, что без России им было бы плохо, потому что на Западный край рассчитывать нечего, а без него нельзя и мечтать о самостоятельном государстве. Присяги не нужно требовать; практической пользы она не приносит, как это и доказало повстанье, а примириться с правительством и возвратиться мешает; поляки — фразеры, придиры, кричат об убеждениях, о долге отечеству и т. п. и останутся за границей, что именно для нас вредно. Пусть все, без исключения, воротятся. Пусть государь даст амнистию даже неполитическим преступникам: не стоит труда разбирать, кто за что бежал. Все прошлое покрыто манифестом, все чисты, все правы, но кто затем попадется, пусть не пеняет.

Этой мерой, я уверен, правительство покончит польский вопрос. Если б можно и от Пруссии присоединить Познань, еще бы лучше было, а поляки благодарны были бы государю, уничтожившему раздел Польши, за Западным краем они бы не погнались. Короняжи вовсе им не дорожат.

31 июля 1867 г.

Вопрос 4.

Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить все, что известно вам о выделке и сбыте русских фальшивых кредитных билетов за границей, а равно о лицах, занимающихся этим предметом, и о связях их с Россией.

Ответ:

Польская эмиграция, состоящая преимущественно из недоучившейся молодежи и из ремесленного сословия, плохо понимает финансовые вопросы и интересы своей собственной родины, а потому очень склонна к выдумке разных нелепых планов против правительства. За границей, где она брошена на произвол судьбы и оторвана от всякой почвы, не имея связей ни с своим купечеством, ни с помещиками, она

с большим сочувствием относится к мысли о расстройстве наших финансов выпуском фальшивых бумажек. Рассказывают, что лучше всех делает их Франковский где-то в Бельгии и что вся первая контрибуция была заплачена этими произведениями его мануфактуры.

На Западе действительно сильно понравилась мысль об искусственном расстройстве наших финансов, и немецкие газеты громко ликовали, что мы вынуждены были продать за бесценок Америку, что



РУССКИЕ ОТКЛИКИ НА ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

Карикатура Н. Степанова для «Искры», запрещенная цензурой

Русский музей, Ленинград

продаем железную дорогу в Москву, и ждут, что мы продадим часть Царства Польского Пруссии, т. е. дадим тамошним полякам все удобства вести против нас пропаганду под эгидой Пруссии.

Нельзя предположить, чтобы не было связи между систематическим покровительством французских и бельгийских судов нашим монетчикам, постоянно увеличивающейся зависимостью нашей от берлинской биржи и контрдействиями в Париже продаже железной дороги. Если же сопоставить эти обстоятельства с изложенными в предыдущем ответе о взаимности действий и целей «Жонда» с Nationalverein'ом, то придется невольно притти к заключению, что заговор действительно существует, что коноводы его принадлежат к числу высокопоставленных лиц при западных кабинетах. За разгадкой этого

дела проще всего обратиться к австрийским славянам и русским, — они много света могут пролить на заграничные интриги против нас и ловчее, чем кто-либо, будут сыщиками. Относительно действий в России этого предполагаемого заговора никто столько не поможет правительству, как молоканы, субботники и скопцы. Первых считают большими друзьями всего протестантского и еврейского, а последние имеют своих собственных царей, — стало-быть, им легче доверяться, чем кому другому, а они, кстати, очень привычны к ведению всякого рода секретных дел; патриотизм же их не может подлежать сомнению. Сколько мне известно, за границей у нас нет сыщиков из средних сословий, а те, на кого указывает общее мнение эмигрантов, — лица крайне неспособные и более компрометирующие правительство, чем служащие ему*.

* * *

Само собой разумеется, что подобные сыщики по делам, изложенным в этих двух показаниях, должны быть совершенно независимы от наших посольств, консульств и местных властей в России, которым даже и знать не следует их; и что всякое снабжение их письменными инструкциями и полномочиями только повредит делу.

Не буду я заподозрен в злом умысле, если сделаю следующее замечание?

Политических преступников у нас ссылают в Сибирь или в каторгу, т. е. делают их только безвредными. Мне давно кажется, что, будь они изгоняемы из России за границу, они были бы ей полезны. Умных и способных людей между ними много, вся их вина в том, что они зафантазировались, зарпортовались и затеяли ерунду. Перемена местности уже сама собой подействует благотворительно, а если изгнание будет продолжаться до тех пор, пока осужденный не заявит себя полезным России, чего-нибудь не сделает для правительства, то девять десятых из них вылечились бы от заблуждений. Турция, Румыния, Австрия, Восточная Пруссия могли бы быть превосходными местами для такой ссылки. Там революционеры наши отлично бы изучили народ, увидели бы слабые стороны наших порядков, озлились бы, что так легко делать нам зло, наследили бы на множество отношений, которыми мы можем воспользоваться, завели бы полезные связи и воротились бы в Россию полезными деятелями, чего именно у нас недостает. Всякий нигилизм и революционерство разлетятся в месяц от жизни между западными славянами, и все симпатии к полякам лопнут. В Турции, в Молдавии и в Восточной Пруссии можно отлично изучить хоть еврейский вопрос, контрабанду и настроение тамошних масс и правительств в отношении к нам. Разумеется, в такую ссылку можно посылать только умнейших из преступников (Чернышевского, Серно-Соловьевича, Обручева и подобных им) и никоим образом поляков. В ссылке им следует предоставить полную свободу переезжать с места на место в пределах государства или провинции, в которую они сосланы, а злоупотребление этим правом для ведения какой-либо пропаганды или самовольное переселение в другую страну наказывать вечным изгнанием. Хуже и страшней этого наказания нет.

* В Молдавии, в Добрудже, в Вене, во Львове я знаю несколько человек, готовых служить правительству, но не через посредство представителей нашей дипломатии, а через III Отделение собственной его императорского величества канцелярии или через другое подобное учреждение. [Примечание Кельснева.]

Вопрос 5.

1 августа 1867 г.

В IV отделе своей «Исповеди» (стр. 81) вы говорите: «Уверенный в своих способностях, я писал письма в разные редакции и старым знакомым, спрашивая, не возмут ли моих статей, и никто не отвечал».

В какие редакции, когда и к кому из старых знакомых вы обращались с просьбою о напечатании ваших статей?

Ответ.

В «Современник», в «Отечественные Записки», Кожанчикову, Д. В. Аверкиеву, моему школьному товарищу²³⁴.

1 августа 1867 г.

Вопрос 6.

В IV же отделе своей «Исповеди» (стр. 81) вы говорите: «Наконец, схать и потому стало еще необходимым, что меня начали уже заметно теснить в Тульче, где мое пребывание и деятельность многим не приходилась по вкусу; пашу стали заметно вооружать против меня, а в Цареграде выхлопотали секретное предписание о непозволении мне завести гимназию».

Кто и по какому поводу теснил вас в Тульче, кому ваша деятельность пришлось не по вкусу, в чем состояла эта деятельность, кто и с какою целью вооружал против вас пашу и кто выхлопотал секретное предписание Порты о недозволении вам открыть гимназию?

Ответ.

К объяснению, сделанному в «Исповеди» и в вопросе № 6, не нахожу что прибавить.

1 августа 1867 г.

Вопрос 7.

Далее, в том же IV отделе «Исповеди» (стр. 81) вы продолжаете: «Был у меня один знакомый купец, в Галаце, грек, с которым мы были приятелями и которому раз я помог в одном его деле с турецкими таможенными; я обратился к нему с просьбой дать мне в долг триста рублей на год, чтоб досхать с семейством до Парижа» и т. д.

Кто этот грек-купец и в чем заключалась оказанная ему вами услуга?

Ответ.

Барба-Яни, торгующий хлебом и рыбой. У него есть свои «кирганы» в плавнях. Таможенные наложили секвестр на соль, объявляя ее контрабандой, — им хотелось собрать с него на «рамазан». Барба-Яни, человек застенчивый и не знающий по-турецки, обратился ко мне; я объяснил наше дело, показал ему накладные, и секвестр был снят.

1 августа 1867 г.

Вопрос 8.

В IV же отделе своей «Исповеди» (стр. 82) вы заявили, что «поляки — Жуковский, агент Messagérie, секретарь французского консульства Ворона-Воронич, не считая других, были насмерть обижены моим значением в крае [Добрудже]...».

Объясните, что за личности Жуковский и Ворона-Воронич, и если они эмигранты, то откуда они родом, когда и по какому случаю оставили Россию и при чем содействии заняли означенные места? Кого именно вы разумеете под словами «не считая других»? В каких отношениях вы были с иностранными агентами и консулами в Тульче, не исключая и русского?

Ответ.

Майор Жуковский и полковник Ворона-Воронич — эмигранты 1832 г., оба из юго-западных губерний. В Тульче поселились еще до Крымской войны и заняли свои места во французской службе, как все поляки-эмигранты. Я в «Исповеди» своей объяснил их отношения к французам. Жуковский и Воронич — люди, впрочем, смирные и безобидные, мало во что мешаются, оба они — большие старики, и им не до интриг. На меня только косо они смотрели за то, что я в один день *veni, vidi, vici* всех русских выходцев, а они предполагали, себя

уверяли, что они руководят ими, хоть ничего для них не делали. Это простые, бесхитростные старики, зажившиеся в провинции, в глуши и составляющие ее аристократию, за неимением другой.

Английский консул оставил Тульчу вскоре по моем приезде, так что между им и мною не могло даже сложиться каких-либо отношений. Об австрийском я в «Исповеди» сказал, что он не согласился визировать мой паспорт, — стало-быть, отношений тоже не было, кроме взаимных поклонов при встрече. Он же, кстати — серб (Вискович), а довольно быть врагом или считаться врагом нашего правительства, чтобы навлечь на себя личную ненависть каждого серба, даже католика.

С французским консулом было иначе. Он сначала очень лестно об нас отзывался, но, когда мы с братом решили раз навсегда не мешать в наши дела иностранцев и инородцев, он стал дуться и выдавать меня за агента русского правительства. На Востоке, кто не ищет покровительства французских консулов, естественных покровителей всех угнетенных и защитников их от русских интриг, иначе и не называется, как русским агентом.

С нашим вице-консулом, Александром Николаевичем Кудрявцевым, я познакомился вскоре по его приезде в Тульчу, летом 1864 г. Он отказал почему-то в визе паспорта одному русскому, помнится, за молоканство, а мне любопытно было посмотреть, каков мой официальный враг, и я отправился к нему объясниться в качестве казак-баши. Он очень удивился, увидев во мне не мужика; я ему сообщил, кто я, и он, оправившись от удивления, начал советовать мне возвратиться в Россию, просить помилования, предлагал писать обо мне в Петербург. Вообще, он был очень гуманен со мной и делал все зависящее от него, чтобы убедить меня просить амнистии, но я упирался, соблюдая честь знамени, в которое хоть и потерял уже веру, да и озлоблен я был против всего. Тогда Кудрявцев повел дело иначе, — он стал убеждать меня оставить Тульчу, говорил, что в Европе мне больше простора, что там я писать могу, заниматься своей мифологией и т. п., — словом, ему было не понутру мое пребывание в Добрудже, а тем более мое влияние на дела. Бывал я у него раз с пять. Это очень способный человек и даже при мне сумел заслужить общее уважение в Тульче, — русские любят его за то, что он ходит в церковь и соблюдает царские дни, что им льстит, напоминая Россию.

«Не считая других» — разных стряпчих, ходатаев по делам, общественных старост, сутяг и т. п. личностей, неизбежных в маленьком городе.

1 августа 1867 г.

Вопрос 9.

В постскрипуме к IV отделу своей «Исповеди» вы говорите, что писали к епископу Кириллу, приглашая его перейти в старообрядчество, и что в то же время поместили известное письмо в «Courrier d'Orient».

Объясните, когда именно и по какому случаю вы обратились с письмом к епископу Кириллу и кто он такой? В чем заключалось письмо ваше, помещенное в названной газете, и когда оно было напечатано?

Ответ.

Кажется, летом 1863 г. Он был послан святейшим синодом в Иерусалим начальником русской миссии. Сношений ни до того, ни после того я с ним не имел, а обратился к нему потому, что слышал что-то о его ссоре с правительством и думал воспользоваться ею.

Письмом моим, помещенным в «Courrier d'Orient», я высказывал сочувствие полякам. Тогда мне казалось, что дело их правое и исполнимое. Кроме заявления сочувствия и пожелания успеха, ободрений,

в этом письме ничего не было. Я помянул об нем во избежание упреков, что утаиваю что-нибудь из своих поступков.

Епископа Кирилла уже на свете нет, он умер в Казани этой зимой.

3 августа 1867 г.

Вопрос I.

В V отделе своей «Исповеди» (стр. 80), говоря о том, что эмигранты занимались в Галаце битьем камня для шоссе, вы, между прочим, отозвались: «сербско-каменщики выбивали в день по метру, поляки-эмигранты — солдаты, чины, студенты, офицеры и помещики — выбивали, кто наловчился, полметра».

Комиссия предлагает вам поименовать всех известных вам эмигрантов по каждой из упомянутых категорий, занимавшихся битьем камня для шоссе, и вместе с тем изложить подробности о них.

Кто именно бил камень, трудно теперь припомнить; почти все, о которых я буду говорить, за исключением Вылежинского и Шица, вынуждены были приняться за эту работу. Я постараюсь указать на главнейших из эмигрантов и на тех, с которыми я был короче знаком. Все они были из юго-западных губерний.

Адам Вылежинский, помещик, кажется, Бердичевского уезда, богатый человек, лет 45, *bon vivant*, охотник, салонный господин, поэт, аристократ, считался главой выходцев и был «батькой-атаманом украинских казаков», имевших несколько стычек с нашими войсками, в особенности, помню, под Радзивиловом. Он, как и все прочие, был сильно увлечен украинофильством и казацкими преданиями, не терпел кровных поляков, хлопотал больше о равенстве по идеалу, завещанному Хмельницким, а за это навлек на себя недоверие и гонение «национального правительства» («Жонд народовый»), которое велело ему удалиться с своими казаками в Австрию и отстраняло его от участия в повстанье. Из долгих и дружеских разговоров с Вылежинским я пришел к убеждению, что не вспыхни демонстраций, вызвавших повстанье, украинофильское учение довело бы до окончательного разрыва между нашим юго-западным дворянством и Польшей. Оно благотворительно на них действовало, заставляя любить все русское (хоть и малорусское), с его преданиями, песнями, языком и ненавистью к ляхам. Еще бы несколько лет этого движения, и они даже и с нами, великоруссами, помирились бы. Католицизм служил, по их собственному мнению, поводом к их разладу с нами, но они надеялись выхлопотать у правительства разрешение восстановить для них унию, т.-е. превратить тамошние костелы в церкви, чтобы сблизиться с народом даже обрядом богослужения и окончательно забыть польский язык. Одни из них хотели унии с задней мыслью — распространить ее и на крестьян, другие же хотели введения ее только для того, чтобы не резко перейти в православие, чтобы не заслужить названия ренегатов. Указываю на это обстоятельство с покорнейшей просьбой обратить на него внимание. Унией они ополячились, унией же мы и расползались их можем, что нам даст огромную массу образованных русских дворян в юго-западном крае и положит конец навеки польским увлечениям. Правительство же русское имеет полное право заменить латинское богослужение славянским, не насилуя ничьей совести, так как Рим позволяет переходы с обряда на обряд, считая формы делом второстепенной важности. Уния, принятая сначала неискренно, с умыслом втянуть в нее крестьян, все-таки выучит тамошних католиков нашим молитвам, текстам священного писания и отец * церкви, пристрастит к нашему богослужению и затем так же легко исчезнет по первому указу, как исчезло у крестьян в прошлое царствование. Как поляки поступали, так и нам надо поступать; что им

* Так в подлиннике.

помогало, то и нам поможет лучше всяких насильственных продаж имений и затруднений вступать в коронную службу. Настоящие поляки, из Царства, знают эту опасность для них унии и очень боятся, что мы догадаемся заменить ею католичество в Западном крае. Я бы попросил правительство обратиться к г. Головацкому, ныне находящемуся в Москве, который, как сам униатский священник и как человек глубоко преданный России и коротко знающий поляков, лучше меня может указать, что следует сделать и как следует сделать. Он разделяет мой взгляд на унию; мы с ним еще во Львове об этом говорили, так как мне любопытно было узнать от тамошних русских, насколько осуществим этот проект наших украинофилов-католиков. В Галичине, при польском гонении, крестьяне и мещане католики делаются униатами, т.е. русскими. Я знаю там одного священника, имя которого не считаю себя вправе писать, который чудеса делает над обращением мазуров в русских. Если б его водворить в Камешце или в Житомире, он лет в десять один-одинехонек сотни дворян-католиков сделал бы русскими. В Россию же он поехал бы с радостью, да и указал бы правительству, кого еще можно пригласить из подобных ему людей, способных на это дело.

Вылежинский жил в Галаце широко, как все эмигранты на первых порах, держал что-то с десятков собак, с пятью не то секретарей или есаулов, купил дом, завел экипажи для извозничьего промысла, но был слишком барин, чтобы что-нибудь удалось, так что он совершенно разорился и теперь живет где-то в Галичине простым лесничим у одного магната.

Шиц (Альфред), лет 35—40, тоже богатый помещик, добрый малый, кутила, пользовался уважением тоже, потому что у него водились кой-какие деньги. Теперь он в Париже. Про него, как и про всех остальных, даже и сказать нечего, — до того незамечательные личности.

Васицкий, недоучившийся студент (киевский, как и прочие), лет 25. Франт, давал какие-то уроки, ничего толком не зная, ни даже арифметики; по словам товарищей, дрался отлично в повстанье.

Голайховский, лет 20, какой-то чиновник или писарь. Теперь кузнец.

Поплавский, жандарм-вешатель. Кроткий и чрезвычайно добрый малый, но неразвитый. Не помню, кто он был в России, а теперь он служит ломовым извозчиком у какого-то боярина и сделался совершенным молдаваном; кажется, скоро и по-польски забудет. С ним есть брат, которого я, впрочем, не видал, какой-то полоумный, как говорят.

Северин Кульчицкий, в повстанье не участвовал, а был замешан в развоз или в рассылку писем и прочей корреспонденции. Святей, благородней, безукоризненней и чище этого человека я не встречал. Родись он несколькими веками раньше, из него бы вышел Кузьма Бессеребренник или Сергей Радонежский, — святость жизни и непоколебимость убеждения. На беду его, он родился поляком и католиком; он во имя Польши наложил на себя долг — нести нужду в эмиграции и чуть с голоду не умирает. Я его встретил нынешнюю зиму в Яссах; у него страшная чахотка. Воспитывался он в одесском лицее, знает много языков, очень не глуп и погиб за фантазии с полной верой, что исполнил свой долг. С ним брат, по рассказам тоже оригинал, но тот кончал хуже. Отлично образованный инженерный капитан, он не сумел или не захотел ни за что взяться; был одно время ломовым извозчиком, а теперь держит у какого-то боярина (кажется у Муруди) корчму в селе; связался с простой бабой, таскавшейся до сих пор по казармам, где ей щеку разрубили; привязался к ней до отупения; она его сплавляет... Страшно даже подумать об этих двух молодых людях.

Ореховский (Orzechowski), лет 35. Был посессором, а теперь фельдшером сделался; он когда-то готовился в медики.

Серковский, лет 25, уланский офицер. Не мудрствуя лукаво, он с первого же дня принялся за черную работу, — камни бил, кули таскал, был извозчиком.

Парницкий (Parznicki), студент, лет 25, брат подававшего в 1856 г. жалобу государю на содержание студентов в медико-хирургической академии и сосланного в Финляндию²³⁵. Православный, но сильно ополоченный. Телеграфные столбы ставил.

Розенберг, лесничий; тоже столбы ставил. Умер от холеры в 1865 г. Был добрый и честный малый.

Кульчицкий, фотографом из чиновников сделался. Больше ничего нельзя про него сказать.

Петрушевский, лет 25, чиновник. Вялая, бесхарактерная и грязноватая личность. В 1865 г. он с голоду просил русского консула выхлопотать ему право возвратиться в Россию. Ему пришло позволение, но с ссылкой на два года во внутренние губернии. Ссылке он был рад, потому что в ней все же лучше, чем в эмиграции, но не воротился, потому что не было у него приличного костюма, — ему хотелось явиться во фраке и в белых перчатках, произвести эффект интересного политического преступника! По-французски даже для этого начал учиться! В 1866 г. он был где-то в молдавской Бессарабии и держал там кондитерскую; деньги он доставал от интересовавшихся им женщин.

Станкевич, о котором у меня говорится в «Исповеди». Он теперь телеграфистом в Малой Азии.

..... * лет 25, киевский студент. Телеграфист в Галаце.

Серко (псевдоним), доводца, полковник и нечто в роде Кречинского. Был когда-то сослан в Оренбург, прощен, предводительствовал отрядом, бежал за границу и сделался в Галаце курьером (рассыльным) при французском консульстве. Получив это место, он съездил в Польшу (уже французским подданным), женился там и привез жену-красавицу в Галац, где обходился с нею так, что я в гостях у него не мог бывать из сострадания к этой несчастной 19-летней женщине. Вечно пускался в аферы и сделался управителем какого-то имения в Молдавии.

Домбровский, Быхацкий, Куликовский и еще какие-то уже окончательно незаметные личности, составлявшие двор и свиту батьки-атamana Вылежинского.

Наконец, множество, человек до пятидесяти, разных солдат, ремесленников, даже один крестьянин (но только один), у которых даже фамилий не было, а звались просто Адольфами, Казимирами, Феликсами, Янами и т. д. и т. д.

Заклячая это показание, еще раз убедительно прошу не оставить без внимания мысль об унии и прилагаю сюда краткий проект, что и как следует сделать для создания православного дворянства, так необходимого для нас в Западном крае.

*

В 1864 г. эмигранты живо еще помнили Россию и дружески к ней относились. На повстанье смотрели, как на революцию, на дело домашнее, на случай показать свою удаль. В 1866 г., оторванные от всякой почвы, поставленные вне практической деятельности и замкнутые в свои кружки, они стали ожесточаться против всего русского, а на

* Пропуск в подлиннике.

беду их наши представители за границей теснят их, русские же путешественники от них сторонятся, а русская печать на них клеветает, т.-е. все их отталкивает от желания примириться с нами и заставляет поддерживать Францию, Австрию и даже Турцию. Если б наше правительство разрешило им всем, без исключения даже вешателей, кинжалщиков и монетчиков, возвратиться в Польшу, не требуя никаких от них обещаний и формальностей, и обнадежило бы их, что оно будет стараться присоединить к России польские владения Австрии и Пруссии, людей вернопопавшей им ему не найти.

Сознательные и бессознательные агенты *Drang nach Osten Verein*'а подают правительству мысль об уступке Польши Пруссии. Если даже и имеет правительство право отторгать от России наше государственное достояние, что весьма сомнительно, и тогда отдача Польши Пруссии будет великим злом. Короли польские, Гогенцоллерны, не преминут заявить свое право на все земли до Двины и Диспра, сами эмигранты будут их об этом молить, как теперь они молят наш царствующий дом, своих королей польских, уничтожить раздел их королевства присоединением к России Познани и Галиции.

Уния в западных губерниях положит конец притязаниям на них короны Пястов, которая сведется тогда на земли, заселенные мазурами, а поляки достаточно умны, чтобы понять невозможность существования государства в восемь миллионов жителей, без моря, без естественных границ, в соседстве германской и всероссийской империи. Половина прав, данных Финляндии, удовлетворит их, честолюбие понудит их создать из России государство всеславянское. Они сами указывают нам на эту политику, они повстанья делают потому, что мы ей не следуем...

Пусть только правительство разрешит нашей печати и своим агентам сообщить полякам, что оно в принципе разделяет их стремление уничтожить раздел короны Пястов, и польский вопрос будет кончен. Восторг радости и заявления глубочайшей любви посыплются от эмигрантов. *Vive la Pologne!* — они будут кричать, но уже не с укором «дарю польскому». Александра Благословенного они именно за то и любили, что ждали от него уничтожения раздела. Александр Освободитель, следуя национальной русской и польской политике, разрубил гордиев узел польского вопроса. Одно слово, одно сожаление в «*Journal de St.-Petersbourg*» о разделе Польши — и новый алмаз в его славной короне, и нет более опасности России и всему славянству от *Drang nach Osten*!!!

Пусть и этих врагов государь сделает своими друзьями, — Чарторыйский, Замойский, Иорданы, Браницкий, Босак лучше ничего не желали и не желают. «*Czas*» будет на стороне государя, провозгласившего, что вся Русь должна быть русской, а вся Польша польской под его славянским скипетром. Славянство благословит его и еще более к нему привяжется, убедаясь, что он будет так же верен короне Вячеслава и святого Стефана, как венцу Мономахов и Пястов, что он ревниво собирает их земли.

3 августа 1867 г.

Вопрос 2.

В том же V отделе «Исповеди» (стр. 91) вы говорите, что русский генеральный консул в Букареште, барон Оффенберг, узнав, что вы в Галаце, объявил подрядчику, мостовщику Фламму, у которого вы состояли на службе контролером, что если он будет держать при себе такого злодея (*scélérat*), как вы, то он, барон Оффенберг, порвет с Фламмом всякие сношения и вынужден будет отказать ему в паспорте в Россию, буде таковой ему понадобится.

Объясните, какое влияние имел барон Оффенберг на Фламма и какие сношения он грозил порвать с ним.

Ответ.

Дипломатические агенты вообще не любят, чтоб кто-либо из их знакомых сближался с врагом правительства и прибегал бы к их услугам. Явный приятель эмигранта на их глаза сам чуть не эмигрант: они смотрят на это, как на личное оскорбление, как на неуважение к их званию.

Сношения барона Оффенберга с Фламмом были прежде всего просто приятельские. Но Оффенберг мог ему сильно повредить, потому что он один из членов европейской дунайской комиссии, а Фламм, вечно спекулирующий, берет у нее подряды на поставку камня.

*

Говоря о наших дипломатических агентах в Соединенных княжествах, считаю себя обязанным упомянуть, что молдаване очень обвиняют их в неблюдении русских интересов, в бездействии и в робости. В Молдавии есть огромная и сильная партия сепаратистов, предводимая боярами Роснованом, Муруди и Лацеско (он же издатель газеты «Moldova», органа этой партии). Они добиваются автономической самостоятельности Молдавии и негодуют на интриги, деспотизм и политическую безнравственность валахов, которыми теперь поработщены. Мечтают они о присоединении Молдавии к нам на правах Финляндии, что дало бы нам устье Дуная и географически сблизило бы с болгарями. Зная коротко молдавское простонародье и средний класс, я могу прибавить, что *suffrage universel* был бы решительно в нашу пользу. «Мы понять не можем, — говорил мне Лацеско, — чего спит ваше правительство и каких неспособных или враждебных ему людей посылает оно нам сюда в консула. Французские и австрийские консула из кожи вон лезут привлечь нас на свою сторону, а мы сами к вам льнем, и ваши агенты даже разговаривать с нами боятся, не говоря уже дать нам какую поддержку или совет. Бестолковость вас политическая поразила, как в ваших западных губерниях, или же правду говорят, что *Drang nach Osten Verein* заставляет вас поддерживать здесь Гогенцоллернов? Будь мы к Австрии так расположены, как к вам, она давно бы нас поддержала и помогла бы устроить *suffrage universel*, да это, кажется, и будет, потому что наше доверие и уважение к вам начинают колебаться...».

Присоедини Россия к себе Молдавию, говорят они, Валахия должна была бы последовать ее примеру, а Трансильвания от них бы не отстала. Тогда под русским скипетром были бы все три румынские княжества, каждое с своим наместником. О конституции они не очень хлопочут, сознавая свою крайнюю политическую незрелость.

Есть ли на свете еще правительство, которое имело бы такое влияние, будущность, возможность бескровных завоеваний и представители которого так плохо бы ему служили, что даже наши русские сектанты в Молдавии смеются над ними и обижаются их нерадивостью к русским пользам?

Общий голос винит в этом инородческий состав министерства иностранных дел, враждебный всему восточному, православному и славянскому по семейным и кровным преданиям.

Надеюсь, что правительство оценит мою смелость говорить ему правду в такое для меня время, когда эта правда может нажить врагов моему помилованию. Но я вернулся для того, чтобы быть полезным, и, если мне не позволят далее трудиться для России, пусть хоть собранные уже мною сведения пойдут ей впрок. В Молдавии у меня устроена пропаганда присоединения к России. Я решил действовать

вать*, видя, что если не я, то никто не поддержит русских интересов. Славяне и наши сектанты в Молдавии проповедуют теперь средним и низшим классам о присоединении к России. Остановить теперь эту проповедь нельзя, да, кстати, она ни копейки не стоит нашим финансам. Год-два еще подождать, и Молдавия совершенно будет готова к подчинению себя государю без всяких с его стороны условий, особенно если правительство расположит ее к себе в ее борьбе с евреями, т.-е. с австрийцами и вообще с немцами.

*

Спешу оговорку сделать.

Вина не в личностях наших агентов, — о г. Корчевском, братьях Романенко никто худого не скажет, — а вина в том, что, по нашим порядкам, они чересчур связаны инструкциями, так что всякая самостоятельная деятельность для них невозможна. Руки им развязать надо и не столько требовать от них исполнения разных формальностей, сколько усиления во что бы то ни стало нашего влияния и доказательств, что действия их привлекают к нам симпатии масс.

Вопрос 3.

Кто тот серб, капитан буксирного парохода, который, как вы говорите в V отделе своей «Исповеди» (стр. 91) предложил вам даровое место на пароходе от Галаца до Бавнаша? Когда и по какому случаю вы с ним познакомились? Объясните также, какие свои статьи вы взяли тогда с собой?

Ответ.

Капитан Циоцович, парохода «Austria». Познакомился я с ним через Барба-Яни, а Барба-Яни был с ним знаком потому, что оба они знали русский язык, что в тех краях достаточно, чтобы сделать людей приятелями. Знакомство мое с ним началось вскоре по приезде моем в Галац. Разумеется, я не сообщал ему, что я эмигрант.

Статьи, которые я взял с собой, уничтожены в Вене, перед поездкой в Галичину, из опасности выдать себя и потому, что взгляд, выраженный в них мною, переменялся. Это был ряд философских этюдов — «Черные думы» и неоконченный философский роман «Гномы». Сверх того, были разные заметки о славянских божествах, о языке и т. п.

3 августа 1867 г.

Вопрос 4.

На 92-й и 93-й страницах V отдела «Исповеди» вы, между прочим, говорите: «На пароходе было пропасть русских». «Первиледжио составил против меня заговор и познакомил меня с русскими из первого класса. Они очень удивлялись, как это ученый путешествует не на казенный счет, и убеждали послушаться Альфонса Первиледжио», предлагавшего вам место в своей конторе, или воротиться в Россию. «Я назвал себя Ивановым-Желудковым...». Капитан парохода объявил мне от имени русских пассажиров первого класса, что они просят меня принять сделанную ими для меня складчину (рублей восемьдесят)... я отказывался, на меня наступили, потребовали, чтоб я принял деньги во имя самой науки, которой себя посвящаю...».

Комиссия предлагает вам поименовать всех русских пассажиров, с которыми вы познакомились во время плавания по Дунаю от Орсовы до Песта, а также объяснить, было ли им известно, что вы эмигрант, и почему они советовали вам возвратиться в Россию.

Ответ.

Кроме дочери г. Коцебу и генерала Свечина, был еще какой-то меломан г. Кривошеев (или Криворотов), д-р Вагнер из Одессы, какая-то г-жа Новикова и еще несколько дам и мужчин, имена которых я не полюбостыствовал узнать, избегая всякого сближения и всяких

* Зачеркнуто: один.

расспросов. Все они советовали мне возвратиться в Россию, потому что моя поездка казалась им безумием, или же поступить в контору Первиледжио. По тону их разговора со мной мне казалось, что Первиледжио не утерпел намекнуть им, что я замешан в политику, но спрашивать его или их было неудобно.

Возвратиться в Россию они мне советовали в смысле не продолжать рискованную поездку à la Ломоносов, воротиться домой, не ездить за границу.

3 августа 1867 г.

Вопрос 5.

На 95-й странице V отдела вашей «Исповеди» встречается следующее заявление: «русских оттуда [из Галичины] попросту выгоняют, а в Венгрии даже и колотят, чему я примеры знаю».

Комиссия обязывает вас привести все известные вам примеры подобных поступков с русскими подданными в Галичине и Венгрии.

Ответ.

Профессор Нил Попов и магистр Дювернуа²³⁶ были выгнаны из Венгрии. Один русский офицер, имени которого не упомяну, провел там несколько дней в сырой и грязной тюрьме, подвергаясь всякого рода угрозам и грубостям местных властей, по подозрению, что он — агент русского правительства. Недавно трое русских путешественников были арестованы и обысканы в Галичине. В Вене, где хорошо знают мадьярские и польские порядки, мне очень не советовали ехать в эти края, потому что я, хотя и турецкий подданный, а все же русский.

Более подробные сведения об оскорблениях, наносимых русскому имени в Австрии, правительство может получить от нашего посольства в Вене, в архиве которого должны же храниться жалобы ему наших путешественников. Французы и англичане удивляются этой терпеливости нашего правительства, а славяне объясняют ее личной антипатией нашего дипломатического корпуса ко всему славянскому.

*

Как нужно поступить для усиления нашего значения за границей, изложено у меня во II Приложении к моей «Исповеди», которое и присоединяю к этому показанию.

*

В Галичине есть русский консул в Бродях, но и тот не русский. Галичане крайне недовольны его бездеятельностью и невниманием к их положению.

*

Корреспондентам иностранных газет их посольства устраивают связи, представляют их ко двору и т. п., отчего иностранная печать так богата сведениями о заграничных делах. От нашего корреспондента русские посольства, как от чумы, откуриваются.

3 августа 1867 г.

Вопрос 6.

На 97-й странице того же V отдела вы рассказываете, что когда полицейский комиссар в Кракове потребовал вас в свою контору, то вы явились, спрятав предварительно рекомендательные письма в такое место, где их нашли бы не ранее, как года через два, через три, если бы даже и нашли.

К кому и от кого были эти письма? По какой причине и куда вы их спрятали?

Ответ.

От одного издателя сатирической газеты в Вене, г. Ливчака, к его брату, священнику униатской церкви в Кракове (а теперь в Холме), к г. Головацкому, к г. Бачинскому, директору галицкого рус-

ского театра, к г. Дедицкому, издателю «Слова», к каноникам Куземскому и Петрушевичу. Спрятаны они были мною в отхожем месте при станции.

3 августа 1867 г.

Вопрос 7.

На 104-й странице V отдела «Исповеди» вы, между прочим, говорите, что в Бельцах исправник Леонарди оставил вас в своей квартире, так как поздно уже было ехать в Кишинев, и что «со всех сторон сыпались приветствия и ободрения».

Объясните, в чем заключались приветствия и ободрения и кем они были заявлены?

Ответ.

Я был сильно изнурен и взволнован. Гости г. Леонарди, принимая мою взволнованность за страх, ободряли меня, уверяли, что добровольное возвращение в Россию заглаживает все мое прошлое, что правительство поступит со мною так же рыцарски, как я с ним, что мне не будет отказано в возможности быть полезным России в качестве публициста, что правительство наше бесконечно милостиво и благородно. Со всех сторон я слышал заявления доверия к правительству и сочувствия к государю, все хвалили мой поступок и мою решимость, но краткость пребывания в Бельцах не дала мне возможности сблизиться с тамошними жителями, постоянно бывающими у г. Леонарди, как у самого богатого тамошнего помещика и хлеботорговца. Более всего беседовал я у него с каким-то молдавским боярином, сильно интересовавшимся последними событиями в Яссах.

11 августа 1867 г.

Вопрос 1.

Как фамилия того нахичеванского купца-армянина, который, как говорите вы на 27-й странице II отдела своей «Исповеди», достал и выслал вам паспорт на имя турецко-подданного Василия Яни? По какому случаю вы с ним познакомились, когда и где просили его достать вам паспорт?

Ответ.

Обыкновенная армянская фамилия, что-то в роде Назарианц или Григорианц. Я его встретил у Трюбнера, куда он зашел, чтобы отыскать русских. Мне любопытно было потолковать с армянином об их делах, а ему хотелось душу отвести с русским и найти переводчика для его сношений в Сити. Мы провели целый день вместе, побывали в нескольких конторах, с которыми он хотел войти в сделку по торговле шелком, и я сильно ему понравился за мое сочувствие к восставлению в Турции армянской народности от Арарата до Средиземного моря. В этот день и в две недели, что он был в Лондоне, я не раз высказывал ему желание побывать в Азии, пожалел, что у меня нет паспорта, а он, как все его земляки, хвастался влиянием армян на дела мира сего, уверял меня в их всемогуществе и обещал достать мне через них паспорт.

Это было в начале 1861 года. Он уехал на Кавказ, я об нем позабыл, не придавая никакого веса его обещанию, как вдруг он снова появился в январе 1862 года и торжественно вручил мне паспорт.

Больше про него нечего сказать, — это простой торговец, ни приметами, ни развитием не отличающийся от всех прочих наших армян.

Звали его Давид Георгиевич или Георгий Давидович... Роста небольшого, плечистый, глазастый, лет 40 от роду.

11 августа 1867 г.

Вопрос 2.

На 27-й странице того же II отдела «Исповеди» вы заявили, что очень хорошо перезнакомились в Лондоне с представителями либеральной партии, но ни от них, ни от Герцена с Огаревым вы никак не могли добиться, чего именно нужно России. Комиссия предлагает вам поименовать этих представителей либеральной партии.

Ответ.

Представителями либеральной партии я называю наших лондонских посетителей; кого мог, я всех их поименовал, в одном из предшествовавших показаний.

11 августа 1867 г.

Вопрос 3.

На 33-й странице II отдела «Исповеди» вы говорите: «Кто у нас не думал в те времена о тайном обществе, лучшие умы трудились над этим, не мы же одни с Серно-Соловьевичем измышляли устав, — и все ничего не вышло. Кружки человека в десять, много в пятнадцать, возможны, и их было — да, я думаю, и теперь есть — множество».

Объясните: кто еще, кроме вас и Николая Серно-Соловьевича, трудился над уставом тайного общества, и из каких лиц состояли известные вам кружки.

Ответ.

Трудно теперь припомнить, кто именно высказывал эту потребность. Я говорил по впечатлению, оставленному во мне тем временем, когда каждый из бывавших у Герцена сожалел, что у нас нет тайного общества, когда я не слышал почти ни одного слова за правительство. Будь это исключительным явлением, я, разумеется, больше бы помнил, но оно было для меня таким же общим, как для живущего теперь в России патристические заключения, речи, адреса и т. п.

Говорил я с Обручевым, с Михайловым, с Касаткиным.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кельсиев обращается к гр. Шувалову Петру Андреевичу (1827—1889), назначенному в 1866 г. после покушения Каракозова, шефом жандармов и главным начальником III Отделения. На этом посту Шувалов оставался до 1873 г. Влиятельность Шувалова в самых высших сферах выразилась в кличке, данной ему Герценом — «Петр IV». Обращение писано в Кашеневской тюрьме.

² Здесь, как и в конце «Исповеди», Кельсиев ошибочно говорит о 19 мая. В действительности он явился на скулянскую таможню 20 мая, как об этом и сказано в «Пережитом и передуманном» (стр. 85). И в «Исповеди» и в «Пережитом и передуманном» Кельсиев называет днем своей сдачи субботу, но в 1867 г. суббота приходилась на 20-е число, а не на 19-е.

³ Ветошников Павел Александрович (род. около 1831 г.) — сын чиновника, учился в Петербургском коммерческом училище, где был товарищем Кельсиева. Служил в министерстве внутренних дел, затем, выйдя в отставку, поступил в торговый дом Фрум, Грегори и К^о. Весной 1862 г. был в Лондоне у Герцена, уезжая в Россию, взял для передачи письма от Герцена, Огарева, Бакунина и Кельсиева. Арестован в начале мая 1862 г. при возвращении из-за границы. Найденные при нем письма дали возможность привлечь к делу о сношениях с лондонскими пропагандистами целый ряд лиц. Ветошников по этому делу был приговорен к восьми годам каторги, с ходатайством о замене каторжных работ ссылкой на поселение в Сибирь. Ходатайство суда было удовлетворено. Найденные у Ветошникова пять писем Кельсиева (к Н. Ф. Петровскому, И. И. Шибаеву, Н. М. Владимирову, Н. А. Серно-Соловьевичу и О. М. Белозерскому) напечатаны в «Очерках освободительного движения шестидесятых годов» Мих. Лемке, стр. 29—39. Письма эти совсем не говорят о том, чтобы Кельсиев уже в 1862 г. был противником революции.

⁴ Русская этнографическая выставка была открыта 23 апреля 1867 г. в Москве, в здании манежа, и продолжалась до 18 июня. Она была связана со славянским съездом в Москве, происходившим 16—26 мая. На этом съезде, конечно, не было представителей Польши. Сведения о выставке и съезде, текст произносившихся речей и пр. можно найти в книге «Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 г.» (М., 1867). Герцен отозвался на эти официальные славянские торжества несколькими статьями в «Колоколе»: «Славянская агитация» (лист 241), «Этнографическая агитация в Москве» (лист 242), «Мазурка» (лист 243), «Из письма к М. Бакунину» (лист 244—245). Характерен отзыв Тургенева о московских проявлениях славянолюбия, данный им в письме к Герцену от 4 июня: «Представь себе, я даже радуюсь, что мой ограниченный западный Потугин [из романа «Дым». — М. К.] появился в самое время этой всеславянской пляски с присядкой, где Погодин так лихо вывертывает па с гармоникой под осеняющей десницей Филарета» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», с примечаниями М. Драгоманова, Женева, 1892 г., стр. 195).

⁵ Список статей Кельсиева см. в приложении.

⁶ Санфедисты — члены шаяк, организованных в Неаполе в первые годы XIX в. кардиналом Руффо. Они вербовались из невежественного населения деревень, проникнутого озлоблением к городам с их либеральным духом. Шайки Руффо назывались «армией веры»; члены их были защитниками принципа светской власти пап. Они действовали преимущественно такими средствами, как убийство политических противников, грабежи, поджоги и пр. Санфедисты были ожесточенными врагами карбонариев (Сорен Эли, История Италии, СПб., 1898 г., стр. 43).

⁷ Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882), Голицын Дмитрий Дмитриевич (1770—1841), Свечина Софья Петровна (1782—1859), Балабин Е. П. — представители русского дворянства, увлекшегося католицизмом.

⁸ *Barbagem* — распространенное название для «Императорской генеральной греко-католической семинарии», учрежденной в 1774 г. императрицей Марией-Терезией при церкви св. Варвары в Вене для униатов всей монархии. Эта семинария имела большое значение для униатской церкви в Австро-Венгрии. Почти все видные представители униатского духовенства были воспитанниками этого заведения.

⁹ Трюбнер Николай (1817—1884) — английский издатель, немец по происхождению. Он широко развил свою издательскую деятельность, укрепив связи с европейским континентальным и американским книжным рынками. Сыграл большую роль в издании и распространении сочинений Герцена и многих других русских книг.

¹⁰ Fulham — предместье Лондона.

¹¹ Кобден Ричард (1804—1865) — английский экономист и политический деятель. Горячий сторонник свободы торговли, вождь фритредеров. В 1838 г. основал «Лигу борьбы против хлебных законов», направленную против крупных землевладельцев. С 1847 г. несколько раз избирался в парламент, где вел борьбу за всеобщее разоружение. — Брайт Джон (1811—1889) — английский политический деятель, друг и соратник Кобдена. Вместе с ним был основателем вышеуказанной «Лиги» и вождем фритредерского движения. С 1843 г. несколько раз избирался в парламент, где являлся одним из признанных лидеров либеральной партии. Отождествление деятельности Герцена и Огарева с деятельностью чистых либералов Кобдена и Брайта, конечно, неправильно, несмотря на все срывы издателей «Колокола» к либерализму. Может быть, в данном случае Кельснев не столько выражал свое глубокое убеждение, сколько старался несколько «примирить» правительство с Герценом и Огаревым.

¹² «Центральный демократический европейский комитет единения партий без различия национальностей», организованный в Лондоне в середине 1850 г. Первоначально руководство комитетом принадлежало Ледро-Роллену, Машини, А. Руге, А. Дарашу (Польша). В дальнейшем Руге заменил Струве, Дараша — Ворцель, и прибавились Кошут и Браттано. Первая прокламация была выпущена комитетом в середине 1850 г. Комитет обращался в своих воззваниях как ко всей европейской демократии, так и к отдельным нациям. Комитет вскоре закончил свое существование, не оказавши никакого влияния на ход политических событий.

¹³ В ноябре 1848 г. папа Пий IX бежал из Рима после того, как его реакционный министр России был убит в палате. Учредительное собрание на первом же заседании своем, 9 февраля 1849 г., провозгласило республику и объявило светскую власть папы в Риме отмененною. Тогда на помощь папе пришел президент Французской республики Людовик-Наполеон, когда-то заигрывавший с карбонариями, а теперь старавшийся вызвать расположение к себе клерикальных и консервативных кругов. Несмотря на противодействие значительной части Законодательного собрания, Наполеон отправил в Рим войска. 3 июля 1849 г. Рим был взят французами. После этого все меры, принятые недолго просуществовавшим республиканским правительством, были отменены.

¹⁴ «Dio e popolo!» («Бог и народ!») — известный лозунг Машини.

¹⁵ «Italia fara da se!» («Италия справится сама!») — т. е. освободит себя от Австрии без посторонней помощи. Таков был в 30-е и 40-е годы общий лозунг Италии — и революционеров, и умеренных.

¹⁶ Давиль — французский врач, высланный Наполеоном из Франции после декабрьского переворота. Имел в Лондоне хорошую врачебную практику. В 1861 г. психически заболел, в следующем году увезен во Францию и помещен в сумасшедший дом, где вскоре умер. Был в хороших отношениях с Герценом и состоял постоянным врачом его семьи. Алтгауз (а не Альтмауэр, как ошибочно назвал его Кельснев) Фридрих (1829—1897), немецкий историк литературы. Попад в эмиграцию, был в Лондоне профессором немецкого языка и литературы. Написал несколько статей о Герцене.

Мейзенбург Мальвида-Амалия фон (1816—1908) — немецкая писательница. По рождению связанная с придворно-аристократическими кругами, она горячо приветствовала революцию 1848 г. и была в сношениях с рядом ее деятелей. Окончательно порвала с семьей и сделалась преподавательницей высшей женской школы в Гамбурге. В 1852 г., во избежание ареста, уехала в Англию. Жила в Лондоне уроками, переводами и другими случайными заработками. Имела много друзей среди

немецкой демократической эмиграции. В 1853—1856 гг. была воспитательницей дочерей Герцена и жила у него в доме. Оставила его дом после приезда Н. А. Огаревой, с которой она решительно не сошлась. В 1856 г., по просьбе Герцена, взяла на себя воспитание его дочери Ольги и поселилась с нею в Париже. Заменила Ольге Герцен мать, жила с нею во Франции и Италии. Находилась в постоянной переписке с Герценом. Напечатала «Воспоминания идеалистки» в трех томах, в значительной степени посвященные отношениям с Герценом и его семьей.

¹⁷ Пульсский Франц (1814—1897) — венгерский политический деятель и литератор. Принимал участие в венгерской революции 1848 г., после поражения которой эмигрировал в Англию. Был в эмиграции ближайшим сотрудником Кошута и сопровождал его в агитационной поездке в Америку. В 1860 г. поселился в Италии, в 1866 г. получил амнистию и возвратился в Венгрию. Поддерживал политику умеренно-либеральной буржуазии и стоял за соглашение с Австрией. После возвращения на родину вообще больше занимался археологическими исследованиями, чем политикой.

¹⁸ Липованы (иначе Тилипоны) — название, применявшееся к русским старообрядцам, жившим вне пределов России — в Буковине, Румынии, Восточной Пруссии — а также и на окраинах России, как Прибалтийский край и Польша.

¹⁹ Газета «Le Nord» (полное название: «Le Nord, journal quotidien. Edition de la poste») выходила в Брюсселе с 1 июня 1855 г. Первым ее редактором был Н. П. Поггенполь. Газета имела целью знакомить западно-европейское общество с русскими делами «в изложении для русского правительства духе. Она существовала на правительственную субсидию; первое время ее финансировал также известный откупщик В. А. Кокорев. Сотрудниками в разное время были Н. И. Греч, Я. Н. Толстой, Д. Н. Толстой, М. П. Погодин, Ю. Маврин, В. В. Скришчин и др. Руководители газеты старались уверить всех, что «Le Nord» — совершенно независимый «орган русского народа», но репутацию издания был разгадан всеми с самого начала.

²⁰ Николай Александрович — старший сын Александра II (1843—1865). После его смерти наследником стал следующий за ним брат — Александр Александрович, будущий Александр III.

²¹ В 1865 г. в реакционной русской прессе появился ряд статей об «агентстве» Герцена в Тульче, занимающегося, между прочим, устройством с революционной целью поджогов в России. См. например, «Русский Инвалид» от 6 августа, «Вилеский Вестник», № 170, и особенно «Московские Ведомости», поместившие несколько статей на эту тему. Важнейшая из них — в № 183, где сообщаются различные подробности о братьях Кельсиевых, как главных деятелях и организаторах «Тульчинского агентства». Герцен ответил на эти обвинения рядом негодующих статей и заметок в «Колоколе» («Агентство Герцена в Тульче и «Московские Ведомости», л. 204; «Первая ретирада», там же; «Письмо к издателю «Отголосков» и «Ответ на предложение «Московских Ведомостей», л. 205; «Лжецы», л. 206; «Агентство в Тульче», л. 207 и др.). В последней заметке говорится: «То, в чем мы не сомневались ни одной минуты, подтвердилось письмом В. И. Кельсиева. Само собой разумеется, что В. Кельснев столько же был удивлен, как и мы сами, прочитав клевету русских шпионов о не знаю каком участии его в поджигательствах». Это письмо Кельсиева неизвестно.

²² Ворцель Станислав-Габриэль, граф (1799—1857) — деятель польского революционного движения. Происходил из богатой аристократической семьи. Принял участие на Волыни в восстании 1830 г.; был избран депутатом в сейм. После взятия Варшавы русскими войсками эмигрировал. В Париже сначала примкнул к аристократической части эмиграции, но постепенно сближался с демократами и окончил полным разрывом с аристократической партией. Имел сношения с тайными французскими республиканскими обществами. В 1833 г. выслан из Франции, в 1834 г. — из Бельгии, после чего поселился в Лондоне. Принимал участие в организации первой польской социалистической группы «Люд польский»; социализм Ворцеля носил утопический характер, имел религиозную и филантропическую окраску. В 1840 г. Ворцель вступил в более широкую демократическую организацию «Объединение», став во главе ее социалистического крыла. В 1845 г. переехал в Брюссель; с 1849 г. до конца жизни вновь жил в Лондоне. Был членом «централизации» (т. е. ЦК) «Польского демократического общества»; проводил линию последовательного демократизма и разрыва с «белыми». Был в ближайших отношениях с руководителями международной демократической эмиграции. Оказал большую помощь Герцену при организации последним «Вольной русской типографии». Герцен посвящал Ворцелю в «Былом и духах» несколько исключительно теплых страниц.

²³ Ангелы сои Владимир Аристович (1821—1857) — эмигрант. Учился в Александровском лицее, вышел оттуда в 1839 г., не окончив курса. Был дружен с петрашевцем Спешневым. Посещал в середине 40-х годов собрания у Петрашевского, но сколько-нибудь заметной роли там не играл. В 1849 г. был арестован по делу Петрашевского, но вскоре освобожден. В 1850 г. выехал за границу и больше не вернулся в Россию. Был сначала очень близок с Герценом, затем у них начались

недоразумения, приведшие к полному разрыву. Написал в 1854 г. несколько прокламаций, изданных Герценом: «Первое видение святого отца Кондратия», «Второе видение святого отца Кондратия», «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон», «Емельян Пугачев честному казачеству и всему русскому люду вторично шлет низкий поклон». Статья его «Что такое государство» напечатана в 1-м выпуске «Полярной Звезды» (1855 г.).

²⁴ Кельсиев не знал Энгельсона лично: он поселился в Лондоне тогда, когда Энгельсона уже не было в живых. Он судил о нем по его статьям да, вероятно, по упоминаниям о нем Герцена и близких Энгельсону лиц. В связи с пренебрежительным отзывом Кельсиева об Энгельсоне, интересно отметить, что Герцен в своем позднейшем очерке «В. И. Кельсиев» находил много сходства между этими двумя своими сотрудниками: «...Он мне напоминал... всем существом своим Энгельсона, — и, действительно, он очень многим был похож на него... Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей шеренге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился до тла, читал всякую всячину, и надо всем ломал довольно бесплодно голову» (Герцен, т. XIV, стр. 401).

²⁵ По поводу странной идеи Энгельсона, пропагандировавшей в прокламации сожжение трупов, Герцен писал: «Он зацепил тут церковные постановления (похороны), — не до того теперь дело, чтоб учить уму-разуму, а учить злобе да непослушанию...» (письмо к М. К. Рейхель, — Герцен, т. VIII, стр. 11).

²⁶ Совершенно неверно, что Герцен печатал статьи Энгельсона нехотя. Уже сильно испортившиеся их личные отношения не мешали тому, что Герцен находил в его прокламациях, рассчитанных на самые широкие массы, большие достоинства. «Первое видение Кондратия» он называл шедевром. Несмотря на некоторые критические замечания, Герцен находил очень хорошей вещь и «Второе видение». По поводу первого письма Пугачева Герцен находил, что оно хорошо, хотя об ассигнациях сказано много, а о крепостном состоянии мало: «Конец и начало очень красивы». Герцен просил даже передать Энгельсону совет написать катехизис для мужика: «у него решительно талант языкомерзья антихристовского» (Герцен, т. VIII, стр. 11). О статье Энгельсона «Что такое государство» Герцен писал в «Полярной Звезде»: «Писатель необыкновенного таланта и резкой диалектики прислал нам, только-что разнесся слух о «Полярной Звезде», превосходную статью под заглавием «Что такое государство». Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора».

²⁷ Воззвание «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» напечатано в «Вольной русской типографии» особым листком с датой 20 июля 1853 г. В том месте, о котором упоминает Кельсиев, Герцен говорит, обращаясь к дворянам: «Мы еще верим в вас, — вы дали залоги, наше сердце их не забыло, — вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим, для того, чтобы сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтобы сказать им: «Ну, братцы, к топорам теперь! Не век вам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе: постойте за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших, довольно обломали палок об ребра стариков... Нутка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!».

²⁸ Кельсиев не точно излагает этот пункт расхождения между Герценом и Энгельсоном. Последний во время Восточной войны предлагал, для ускорения победы над Николаем I, сбрасывать с воздушных шаров свои прокламации против царя. Герцен указывал ему не только на химеричность этой затеи, но и на политическую неблагоприятность активной поддержки императора Наполеона III. Энгельсон остался при своем и обратился даже с официальной запиской к французскому военному министру, излагая свой проект и предлагая французскому правительству снабжать его соответственными прокламациями. Записка осталась без последствий.

²⁹ На обложке «Полярной Звезды» были помещены портреты пяти казненных декабристов.

³⁰ Герцен неоднократно указывал на инициативную роль Огарева в деле основания «Колокола». Например, в статье по поводу десятилетия «Вольной русской типографии» он говорит: «В начале 1857 года Огарев предложил издавать «Колокол» (Герцен, т. XVI, стр. 134).

³¹ Парижским миром закончилась Восточная война 1853—1856 гг. Он был заключен 30 марта 1856 г. Россией — с одной стороны, Францией, Англией, Турцией и Сардинией — с другой, при участии Австрии и Пруссии.

³² Сведения об офицере Казакове по другим источникам не имеется. Не исключена возможность, что в данном случае Кельсиев перепутал или намеренно измыслил фамилию.

³³ В 133-м листе «Колокола» (от 15 мая 1862 г.) было помещено заявление Герцена и Огарева, датированное 12 мая, что они готовы учредить при редакции «Колокола» сбор денег, «предназначенных на общее наше русское дело», беря на

себя обязанность не только хранить деньги, но и распределять их. Капитал, составленный из этих пожертвований, и является «общим фондом». Тратился он исключительно на помощь нуждающимся эмигрантам. В 241-м листе «Колокола» Герцен поместил объявление о прекращении с 15 мая 1867 г. всяких сборов в «общий фонд» при «Колоколе».

³⁴ П. С. Усов с 1850 г. был издателем-редактором газеты «Северная Пчела», прекратившейся в 1864 г.

³⁵ Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — известный литературный деятель. Сын священника, учился в саратовской духовной семинарии. По окончании в 1851 г. юридического факультета Петербургского университета был преподавателем в военных учебных заведениях в Петербурге. В 1855 г. был «по высочайшему повелению» уволен от преподавания в Пажеском корпусе за неблагонадежность, а в 1856 г. «за вредный образ мыслей» ему воспрещено было служить по учебной части. В середине 1857 г. поехал в Лондон; там сблизился с Герценом, был одно время учителем его дочерей, оказывал ему некоторую помощь в его издательской деятельности, например, перевел с английского «Записки Е. Р. Дашковой», изданные Герценом. После жизни в Лондоне слушал лекции в Сорбонне в Париже. Вернувшись в Россию, стал в 1860 г. редактором, а потом и издателем радикального журнала «Русское Слово»; помещал в нем свои статьи. После закрытия в 1866 г. «Русского Слова» Благосветлов до конца жизни был издателем и негласным редактором радикального журнала «Дело».

³⁶ Герцен получил 9 октября 1861 г. два письма, в которых неизвестный его доброжелатель предупреждал, что III Отделение решилось «похитить его или убить». По этому поводу Герцен в 109-м листе «Колокола» (от 15 октября) поместил статью «Бруты и Кассии III Отделения», написанную в форме письма к русскому послу в Лондоне барону Бруноу. По поводу похищения Герцен говорит: «Первое из этих предположений слишком смешно, чтобы быть возможным. Рассудите, барон, сами, что я за Прозерпина с бородой и что Шувалов за Плутона с аксельбантом?» Остальная часть статьи посвящена угрозе смерти; автор говорит, что если с ним что-нибудь случится, то все обвинят в этом русское правительство. Статья эта вызвала много насмешек по адресу Герцена во враждебной ему части прессы.

³⁷ Кельсиев получил урок в семье Герцена; он занимался со старшей дочерью Герцена, Натальей.

³⁸ Бонапарт Луи-Люсьен (1813—1891) — сын Люсьена Бонапарта, племянник Наполеона I. В 1849 г. выбран членом Законодательного собрания, в 1851 г. поддерживал политику своего двоюродного брата, Луи-Наполеона Бонапарта, сделавшегося в 1852 г. французским императором. В награду он получил от Наполеона III звание сенатора и титул принца императорского дома. При империи не играл никакой политической роли, после крушения Наполеона III уехал в Англию. Люсьен Бонапарт увлекался вопросами лингвистики, писал исследования о языке басков, о шотландских и английских диалектах и пр. (см. «Langue basque et langue française», Londres, 1862).

³⁹ «Песня песней царя Соломона» (первый перевод на русский язык, Лондон, 1858 г.).

⁴⁰ «Пятикнижием» называются в совокупности пять библейских книг: книга Бытия, Исход, Левит, книга Числ и Второзаконие. Перевод Кельсиева вышел в издании Трюбнера в 1860 г. Титул книги таков: «Библия. Священное писание ветхого и нового завета, переведенное с еврейского, независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся в греческом и славянском переводах. Отдел первый, заключающий в себе Закон, или Пятикнижие. Перевод Вадима». С предисловием переводчика.

⁴¹ «Православное Обозрение», 1860 г., т. III, стр. 381—391. «Об издании библии в русском переводе в Лондоне». Подписано: Русский.

⁴² «Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)». Лондон, «Вольная русская типография», 1860 г. С предисловием И. А., т.-е. иеродиакона Агапия Гончаренко.

⁴³ Гончаренко Агапий (Андрей) — украинец по происхождению, бывший дьяком при русской миссии в Афинах, эмигрант. В 1860 г. не поехал в Россию по вызову начальства, а явился в Лондон в мае этого года и стал наборщиком в типографии Герцена. Оставил типографию в сентябре 1861 г., «наделав разных сплетен и гадостей», как писал Герцен в письме к П. В. Долгорукому. После тех его скитаний, о которых упоминает Кельсиев, он переехал в Северо-Американские Соединенные Штаты. В 1868—1873 г. редактировал газету «Alasca-Herald» на английском и русском языках. В 1873 г. издавал в Сан-Франциско русскую газету «Свобода», ничтожную по своему содержанию. Умер 5 мая 1916 г. в Калифорнии. Существует его автобиография, изданная в 1894 г. в Коломье, «Споминки А. Гончаренко, украинского козака-священника». См. также его автобиографию в газете «Прогресс» (Нью-Йорк), 1892, №№ 15 и 18.

⁴⁴ Гагарин Иван Сергеевич, — князь (1814—1882), иезуит, писатель. Сын члена Государственного Совета. В молодости некоторое время служил по дипло-

матической части. В 1843 г. принял католичество и вступил в орден иезуитов. Написал на французском языке ряд книг в защиту католичества и иезуитов. Заветною его мыслью было соединение восточной церкви с западною. Учредил славянскую библиотеку в Париже. Поддерживал сношения с Герценом и своими прежними русскими знакомыми. В течение довольно долгого времени неосновательно подозревался в том, что был автором известных анонимных писем, приведших Пушкина к роковой дуэли.

⁴⁵ Долгоруков Петр Владимирович — князь (1816—1868) — писатель, эмигрант. В 1843 г. уехал за границу и напечатал под псевдонимом гр. Альмагро «Notice sur la principales familles de Russie», где разоблачал русские аристократические роды. По требованию правительства вернулся в Россию и был сослан в Вятку. В 1859 г. вновь тайно уехал за границу и в 1860 г. выпустил книгу «La verité sur la Russie» (на русском языке в 1861 г.: «Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым»). Отказался вернуться на родину по требованию правительства и был объявлен изгнанным из России. Издавал несколько политических журналов и газет («Будущность», «Правдивый», «Листок»). Выпустил много книг на французском языке (по-русски, еще до эмиграции: «Российский родословный сборник» и «Сказание о роде князей Долгоруковых»). В 1934 г. вышло собрание его статей под заглавием «Петербургские очерки. Pamфлеты эмигранта» (М., изд. «Север»). В политическом отношении был поклонником дворянской конституционной монархии. Чисто дворянские тенденции Долгорукова резко отличали его от прочих эмигрантов; в его публицистике было много сумбурного, как и в его поведении. В последние годы очень много вероятно получило давно высказанное предположение, что именно Долгоруков был автором безымянных писем, вызвавших дуэль Пушкина с Дантесом.

⁴⁶ Очевидно, статья «Ононие на крымских татар» в 117-м листе «Колокола» (22 декабря 1861 г.), стр. 973—977.

⁴⁷ А. П. Шапов. Имеется в виду книга: «Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII в. и в первой половине XVIII в. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола», Казань, 1859 г. Другая известная книга Шапова о расколе «Земство и раскол» вышла уже позже, в 1862 г. в издании Д. Е. Кожанчикова.

⁴⁸ «Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Выпуск I—IV, Лондон, «Вольная русская типография». Первый выпуск вышел в 1860 г., второй — в 1861 г., третий и четвертый — в 1862 г.

⁴⁹ Мельников Павел Иванович (1819—1883) — беллетрист (псевдоним — Андрей Печерский), автор известных романов «В лесах» (1871—1875) и «На горах» (1875—1881), исследователь раскола, державшийся официальной точки зрения. Как чиновник, славился суровыми преследованиями раскольников и сектантов.

⁵⁰ «Записка о русском расколе, составленная Мельниковым для в. к. Константина Николаевича по поручению Ланского (1857)», — «Сборник», вып. I, стр. 167—198.

⁵¹ «Синаксарь о подвигах страдальцев Покровского монастыря, Климовского, Зыбковского и Злынского посадов, совершившихся в 1791 году. По переселении из Вятки», — «Сборник», вып. II, стр. 221—244.

⁵² Статья «Раскол», как орудие враждебных России партий», за подписью Г. была помещена в «Русском Вестнике», 1866, №№ 9 и 11, 1867, №№ 4 и 5. Автор — известный расколовед Н. И. Субботин. Статья эта в 1867 г. вышла отдельным изданием, с фамилией автора.

⁵³ Шафарик Павел-Иосиф (1795—1861), словак, один из родоначальников сравнительного изучения славянских языков. Много содействовал росту национального движения в славянских землях. Выступал на съезде славян в Праге в 1848 г. — Гакман Евгений, буковинский митрополит, занимавший кафедру в Черновцах. Сообщал Н. И. Надеждину разные сведения о заграничном старообрядчестве, о чем Надеждин и упоминает в своей книге.

⁵⁴ Здесь проявляется в высшей степени характерная для Кельсиева склонность к увлечению и к созданию широчайших планов, за какую бы новую деятельность он ни брался.

⁵⁵ Old fellows — члены тайного общества благотворительности и взаимопомощи, возникшего в Англии в первой половине XVIII в. По своей обрядности общество имело много общего с масонством; девиз его — «Дружба, любовь и правда». В 1850 г. общество легализовалось. Цели общества: умственное и нравственное усовершенствование, развитие филантропических стремлений, помощь бедным, поддержка молодых людей, стремящихся к образованию, и пр. Общество, располагающее большими средствами, существует и поныне в разных странах (преимущественно в Англии и Америке).

⁵⁶ Collaborative Associations — производительные товарищества.

⁵⁷ Книга «Исследование о скопческой ереси» была написана в служебном порядке известным Н. И. Надеждиным (1804—1856), бывшим редактором «Телескопа». Она была напечатана в 1845 г. по особому распоряжению министра внутренних дел

и в продажу не поступала. К исследованию были приложены таблицы рисунков, тоже воспроизведенных в лондонском издании.

⁵⁸ «Собрание постановлений по части раскола». Том первый: Постановления министерства внутренних дел. Выпуски I—II. Лондон, «Вольная русская типография», 1863.

⁵⁹ Книжка «Вероисповедание духовных христиан, обыкновенно называемых молоканами» напечатана в Женеве, в «Вольной русской типографии» в 1855 г. На основании некоторых архивных данных, возможно думать, что автором ее был некий Н. А. Шевелев. Этот Шевелев участвовал в составлении книжки «Земле-описание для народа», Женеве, «Вольная русская типография», 1868.

⁶⁰ Жорж Санд, Похождение Грибуля (перевод с французского), с предисловием Искандера, Лондон, «Вольная русская типография», 1860.

⁶¹ Чернецкий Людвиг — был управителем типографии Герцена с самого ее основания. В 1863 г. в предисловии к сборнику, посвященному десятилетию «Вольной русской типографии», Герцен писал: «Помощь, которую вы мне сделали упорной, неустанной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это...». В 1865 г. Чернецкий переехал вместе с Герценом из Лондона в Женеву. В 1866 г. Герцен передал ему в собственность перевезенную из Лондона типографию; в ней продолжали печататься герценовские издания. В 1872 г., по смерти Герцена, Чернецкий был принужден продать типографию, так как дела ее шли очень плохо. Умер Чернецкий 18 июня 1872 г.

⁶² Тхоржевский Станислав, польский эмигрант. Был вынужден оставить Россию под угрозой ареста в 1845 г. В начале 50-х годов поселился в Лондоне и открыл там небольшую книжную лавку для нужд польской эмиграции. Вместе с Чернецким был ближайшим помощником Герцена по изданию и распространению русской зарубежной литературы. В 1865 г. переехал в Женеву вместе с Герценом и поселился там в его доме. После смерти Герцена не переставал поддерживать связи с его семьей. Умер в Женеве, повидимому, в 80-е годы.

⁶³ Дубровин — под этим именем скрывается Михаил Степанович Бейдеман, о трагической судьбе которого рассказал П. Е. Шеголев в своей работе «Таинственный узник». Бейдеман, дворянин по происхождению, родился около 1840 г. в Бессарабской губ. По окончании Константиновского военного училища произведен в поручики драгунского полка. Летом 1860 г. эмигрировал из России через Финляндию и Швецию. Явился в Лондон в конце 1860 или начале 1861 г., был наборщиком в типографии Герцена. В июле 1861 г. был арестован в Улеборге при попытке возвратиться в Россию. Открыл свое имя и 23 июля был заключен в Алексеевский рavelин. При нем найден подложный манифест от имени Константина, возбуждавший крестьян к восстанию. Сидя в рavelине, подавал заявления, поразившие своей смелостью; сообщал о бывшем у него намерении цареубийства, от чего, впрочем, потом отказался. По личному распоряжению Александра II от 27 октября 1861 г. оставлен в рavelине «впредь до особого распоряжения». Заmurованный в рavelине на долгие годы, Бейдеман, в конце концов, сошел с ума. 3 июля 1881 г. переведен в больницу для умалишенных в Казани, где и умер 5 декабря 1887 г.

Остается под вопросом, было ли известно в окружении Герцена подлинное имя Бейдемана. Во всяком случае, при своем появлении в Лондоне он назвался Дубровиным. В письме к И. С. Тургеневу от 4 февраля 1861 г. Герцен просил его навести справки о бывшем гвардейском офицере Н. П. Трубецком, добавляя: «Есть и еще офицер, с неба свалившийся: Дубровин, тоже экстрапировавшийся. Естественно, что Тургенев ответил ему: «О Дубровине никто ничего не знает» (Герцен, т. XI, стр. 29—30).

В. И. Кельсиев довольно подробно говорит о Бейдемане-Дубровине еще в другом месте — в статье «Из рассказов об эмигрантах» («Заря», 1869 г., III). Он называет его здесь Буровиным (переделка фамилии Дубровин). Статья эта, оставшаяся неиспользованной лицами, писавшими о Бейдемане, включает в себе некоторые детали его биографии, которые мы здесь и приводим. Буровин был, «как будто», сын исправника, родился где-то около Очакова. Окончил курс в кишиневской гимназии, «потолкался около Киевского университета» и переехал в Петербург. По окончании курса в константиновском военном училище, был произведен в офицеры драгунского полка. Бейдеман только что сшил себе мундир и фактически не был еще офицером, так как, испугавшись репрессий за какое-то нерасхваченное его письмом, сбежал через Финляндию. Шел пешком через Швецию, подвергался задержанию в Оребро. По прибытии в Лондон на другой же день стал наборщиком в типографии; набирал «Колокол» и «Сборник правительственных сведений о раскольниках». Объявил, что едет в Италию к Гарибальди, но, доехавши до Булони, не был пропущен во Францию и вернулся в Лондон. Стоксовавшись по родине, хотел тайно вернуться в Россию, чтобы заняться пропагандой среди раскольников, от чего Кельсиев его отговаривал. Но Бейдеман остался тверд и решил воспользоваться старым своим путем, через Торнео, чтобы потом пробраться в какие-нибудь северные скиты. Он проехал в Гуль, сел там на пароход и от-

правился в Берген, — без копейки денег и без паспорта. «Что с ним случилось с тех пор, не знаю; но я слышал, что он погиб...» (стр. 89). Нет никакого сомнения, что все здесь рассказываемое может относиться только к М. С. Бейдеману.

⁶⁴ Сведения о князе Николае Платоновиче Трубецком крайне недостаточны и отрывисты. Он был поручиком гвардейской артиллерии, состоял адъютантом герцога Мекленбургского. Уволен от службы в чине штабс-капитана. В конце 1860 г. явился в Лондон. Был около года наборщиком в «Вольной русской типографии». На положение эмигранта, повидимому, не переходил. В конце 1861 г. арестован в Турине, как подозрительное лицо, и посажен в тюрьму; в январе 1862 г. освобожден. По сведениям М. К. Лемке, источника которых он не указывает, «вскоре вернулся в Россию, где в 1862 г. принимал участие в организации «Земли и Воли», помогая Падлевскому (Герцен, т. XI, стр. 30). В 1866—1867 гг. жил за границей, поддерживая сношения с Герценом; намеревался ехать в Россию (повидимому, уехал). В апреле 1872 г. был прислан по этапу в Орел из Севска, как бродяга. К этому остается добавить, что по сведениям Лемке, во время пребывания за границей в начале 60-х годов оказывал помощь Гарибальди, обучая его артиллерийскому делу.

⁶⁵ К тому, что сообщает Кельсиев об Эбермане, можно добавить не много. Эберман Владимир Михайлович — сын английского подданного, родился в 1842 г. Учился в нижегородской гимназии, откуда в марте 1861 г. уволен по прошению. Живя в Тульче, учил детей, служил в лавке и даже в трактире. Весной 1866 г. уехал без разрешения в Россию. В 1869 г. было постановлено выслать его из России. В августе того же года доставлен в Ригу для отправления в Англию, но английский консул решительно отказался способствовать его возвращению. Эберман просил, чтобы его оставили в России; III Отделение в январе 1870 г. ответило, что не имеет к этому препятствий. В своих показаниях после ареста Эберман заявил, что в Лондоне он часто бывал у Кельсиева, но совсем не бывал у Герцена.

⁶⁶ Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872) — музыкант-дирижер. Устроивши хор из своих крепостных, в 40-е годы давал концерты в Петербурге и Москве. Был тамбовским губернским предводителем дворянства. В 1858 г., будучи за границей, познакомился с Герценом. За его сношения с Герценом, ставшие известными III Отделению, он по возвращении в Россию был лишен придворного звания, устранен от должности предводителя и выслан под надзор полиции в город Козлов. В феврале 1860 г. с чужим паспортом уехал за границу. Отказался исполнить требование правительства о возвращении, после чего был объявлен изгнанным навсегда из России с конфискацией имений. В Лондоне Голицын устраивал концерты, пользовавшиеся большим успехом. Испытавши крайнюю нужду и не имея принципиальных побуждений к эмиграции, Голицын просил у правительства позволения вернуться в Россию и получил его, с обязательством жить под надзором полиции в Ярославле. Позже получил разрешение вновь устраивать концерты. В 1870 г. в Петербурге вышли его мемуары под названием «Прошедшее и настоящее». Им написано много музыкальных пьес, в том числе в Лондоне 1862 г. вышла его «Фантазия освобождения». О колоритной фигуре этого барина-самодура и о его злоключениях за границей довольно много говорится в «Былом и думах» Герцена. Под «спутниками» Голицына Кельсиев подразумевает увезенную им с собой в качестве жены дочку его управляющего и несколько человек его служащих.

⁶⁷ Джунковский Степан Степанович (1821—1870) — один из русских приверженцев католицизма. Сын тайного советника, он в 1842 г. окончил курс Петербургского университета по юридическому факультету. Получив командировку за границу, изучал философию в Германии. Был в это время ярым сторонником православия, в защиту которого печатал брошюры и статьи на разных языках. В 1845 г. в Риме принял католичество и поступил в иезуитский орден. Проведя 6 лет в иезуитской коллегии в Риме, принял сан священника, вышел из иезуитского ордена и поселился в Париже, где работал в различных благотворительных обществах и развил широкую проповедническую и публицистическую деятельность. Подал проект об уничтожении для католического духовенства celibата. В 1854 г. назначен начальником миссии на крайнем севере Европы; заводил церкви, устраивал католические епархии в Швеции, Норвегии, Исландии, Шотландии и на Феррорских о-вах. Получил от папы сан префекта апостольского престола в арктических странах, с полномочиями епископской власти. Снова входил к папе с представлениями о необходимости существенных реформ в католической церкви. Стал изобличителем католической церкви, жил в Италии и Германии, женился на англичанке. В 1866 г. в Штутгарте вернулся к православию и получил разрешение вернуться на родину. В том же 1866 г. напечатал в «Русском Инвалиде» ряд статей под заглавием «Письма русского после 24-летней заграничной деятельности». В 1867 г. напечатал «Энциклику против Рима». Был членом учебного комитета при синоде, членом миссионерского общества, сотрудничал в разных духовных и светских изданиях. По поводу его возвращения к православию Герцен в статье «Ответ И. С. Аксакову» («Колокол», л. 240) писал: «Для нас нет задних дверей, в которые стучатся утомившиеся грешники; пусть ими проползают со своим покаянием двойные ренегаты

и изменники, как этот ничтожный, дрянной Джунковский, которого чудотворное обращение в православие из папских агентов de bas étage наполняет благоуханием криня сельского благочестивые души в Москве и Петербурге» (Сочинения, т. XIX, стр. 287). Отметим одно замаскированное упоминание о Джунковском, на ряду с Кельсьевым, в литературе. В известном романе И. А. Кушевского «Николай Негорев или благополучный россиянин», вышедшем в 1871 г., на последних страницах говорится о брате героя, Андрее, женевском эмигранте: «Брат как-то написал мне, что хочет воротиться в Россию, и я имел неосторожность спросить — не à la ли К. и Д. хочет он воротиться. Этот невинный вопрос послужил поводом к целому граду ругательств, которые Андрей высылает из Женевы, по мере накопления, на имя сестры». Под К. и Д. здесь, конечно, подразумеваются Кельсьев и Джунковский.⁶⁸ У нас нет сведений о типографии, устроенной Джунковским в Норвегии. Нет никаких оснований предполагать, чтобы это была русская типография. По всей вероятности, типография была заведена Джунковским для нужд католической пропаганды.

⁶⁹ Мартынов Петр Алексеевич (1835—1865) — крепостной гр. Гурьева. Из старообрядцев «нетовского» согласия. Окончил помещичью школу, много занимался самообразованием. Был у Гурьева приказчиком по хлебному делу. Выкупившись у помещика незадолго до освобождения крестьян, был купцом по хлебной части, по-разорился, после чего служил в пароходном обществе. В 1861 г. приехал в Лондон, имея в виду добиться путем печати от своего бывшего хозяина возмещения убытков. Познакомился с Герценом, напечатал в 132-м листе «Колокола» (от 8 мая 1862 г.) «Письмо к Александру II», проникнутое идеями «демократической монархии» и антидворянскими настроениями. В том же духе написана и выпущенная в конце 1862 г. в Лондоне брошюра «Народ и государство». По вопросу о поляках разошелся с Герценом, Огаревым и Бакуниным, решительно осуждая симпатии к восстанию, выражавшиеся в «Колоколе». При возвращении в Россию Мартынов был арестован на границе 12 апреля 1863 г. В мае осужден сенатом на пять лет каторжных работ и на вечное поселение в Сибири. Умер в сентябре 1865 г. в Иркутской больнице. Герцен посвятил Мартынову в «Колоколе» статью «П. А. Мартынов и земский дар» (л. 175) и краткую некрологическую заметку (л. 224). Кельсьев изобразил Мартынова под именем Петра Александровича Артемьева в очерке «Из рассказов об эмигрантах» («Заря», 1869 г., кн. III).

⁷⁰ В литературе о М. А. Бакунине можно указать много враждебных отзывов о нем. Но мнение Кельсьева, что он был «колоссальнейшая неспособность» и «тупой бунтовщик», является единственным и свидетельствует лишь о полной неспособности Кельсьева понять что-нибудь в Бакунине.

⁷¹ «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева было издано в Лондоне в 1858 г. с предисловием Герцена. В одной книге с «Путешествием» было напечатано сочинение кн. М. М. Шербатова, О повреждении нравов в России.

⁷² Лугинин Владимир Федорович (1834—1911) — известный химик. В молодости — артиллерийский офицер, участник Севастопольской кампании. В 1861 г. состоял членом тайного общества «Великорусс». В начале 1862 г. уехал за границу, где занимался химией. Сблизился с Герценом, Огаревым и Бакуниным. Долгие годы прожил за границей, работал по термохимии. С 1890 до 1906 г. читал лекции в Московском университете, сначала в качестве приват-доцента, затем профессора. Пожертвовал Московскому университету устроенную им на свои средства термохимическую лабораторию.

⁷³ Прокламация «Молодая Россия» была написана П. Г. Заичневским, при некотором участии его товарищей (достоверно известно участие И. И. Гольц-Миллера). Напечатана она была в тайной типографии московского кружка Заичневского и Аргиропуло в первой половине мая 1862 г. Появление ее совпало со знаменитыми петербургскими пожарами 1862 г., продолжавшимися в течение двух недель. Пожары начались 16 мая. Высшего предела они достигли 28—30 мая, когда сгорели Апраксин и Шукин дворы с тысячами находившихся там мелких лавок. Среди обывателей с самого начала пожары приписывались поджогам. Больше всего винили в поджигательстве студентов-революционеров. Эти слухи проникли и в печать. На то, что вышла и широко распространяющаяся прокламация «Молодая Россия», с ее призывами уничтожить до основания весь существующий строй, ссылались в доказательство того, что поджоги в Петербурге идут из революционной среды.

⁷⁴ «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел 1-й. Стихотворения. Часть 1-я». С предисловием Огарева, Лондон, «Вольная русская типография», 1861.

⁷⁵ Пафнутий Коломенский (до монашества Поликарп Петрович Овчинников) — старообрядческий деятель. Родился в 1827 г. в Стародубском уезде Черниговской губ. Сын купца третьей гильдии, придерживавшегося беллопоповства. Смолodu отдался уединенной жизни и изучению старообрядческой литературы. Придя к ряду сомнений, как относительно беллопоповщины, так и относительно беллопоповщины, отправился в 1851 г. в Белую Криницу искать «истины» в Австрийском согласии. Был убежден Павлом Белокриницким, принял монашество. В 1853 г. посвящен в архидиаконы. В 1855 г. временно удалился «на безмолвие» в Тисский мо-

настырь (в Молдавии). В конце 1857 г. отправился в Москву, где сначала был рукоположен в священники, а в сентябре 1858 г. поставлен старообрядческим епископом на Коломенскую кафедру. В 1865 г. обратился к митрополиту московскому Филарету с просьбой о присоединении его к православной церкви. В том же году присоединение было совершено. В конце 70-х годов снова ушел в раскол. Умер в Белой Кринице 23 февраля 1907 г.

⁷⁶ Павел Белокрыницкий (до монашества Петр Васильевич Великодворский) — главный деятель по учреждению белокрыницкой иерархии. Родился в 1808 г. в Валдайской подгородной слободе. Был волостным писарем, затем поселился в Лаврентьевском старообрядческом монастыре Могилевской губ. По предложению известного старообрядческого деятеля, петербургского купца Громова отправился на Восток, для отыскания нужного старообрядцам-поповцам епископа. После долгих поисков и хлопот уговорил бывшего босно-сараевского епископа Амвросия пойти в митрополиты к старообрядцам. Написал устав Белокрыницкого монастыря и еще несколько сочинений для нужд старообрядчества. Умер 5 мая 1854 г. Письма Павла Белокрыницкого напечатаны в «Переписке раскольнических деятелей», изданной Н. И. Субботиным, выпуск 1-й, М. 1887 г.

⁷⁷ М. А. Бакунин приехал в Лондон, действительно, 27 декабря 1861 г., нового стиля, как об этом говорит краткая заметка в «Колоколе», лист 118.

⁷⁸ Статья Бакунина «Русским, польским и всем славянским друзьям» была напечатана в виде приложения к листу 122—123 «Колокола» (1862). В этой статье Бакунин обращался к полякам с предложением союза для совместной борьбы с царским правительством. О «хлопской Польше» там говорится, что аристократическая Польша не в состоянии противостоять крестьянской России: белорусским, лифляндским, литовским, курляндским, украинским крестьянам нет никакого дела до исторических воспоминаний и исторических границ. Как и русскому народу, им всем нужны земля и воля. «Обернитесь спиной к прошедшей истории; объявите хлопскую Польшу; тогда многие из этих племен, — а если от вас Россия отстанет, пожалуй, и все — пойдут за вами».

⁷⁹ Перед Крымскою войною в турецких владениях было два старообрядческих епископа — Аркадий и Олимпий. Генерал Ушаков, командир русских войск, расположенных во время войны в Добрудже, распорядился арестовать обоих епископов; основанном к этому он указывал жалобы жителей крепости Исакия на «липован», т.е. старообрядцев, которые, якобы, возбуждали турок против русских. Арестованные были немедленно отправлены в заточение в знаменитый Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь. В 1857 г. ходатайство турецкого правительства об их освобождении было отклонено. Олимпий и умер в заточении (в августе 1859 г.), Аркадий же, «по высочайшей милости», был освобожден в 1881 г. и умер во Владимире в 1889 г.

⁸⁰ АльбертINI Николай Викентьевич (1826—1890) — публицист 60—70-х годов, принадлежавший к умеренно-либеральному направлению. Окончил юридический факультет, был преподавателем в московском кадетском корпусе, с 1859 г. поселился в Петербурге, занимался литературною деятельностью. Сотрудничал в «Отечественных Записках», «Голосе» и других изданиях. В 1861 г. принимал участие в кампании либеральной и консервативной прессы против Н. Г. Чернышевского. В том же году был арестован во время студенческих волнений в Петербургском университете, вследствие того, что в его квартире происходило студенческое собрание. В 1862 г. ездил за границу, в Лондоне бывал у Герцена. В следующем году привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, но от суда был освобожден. В 1866 г. привлекался к новому дознанию по делу о Гейдельбергской читальне и приговорен к высылке в Архангельскую губ. В 1872 г. получил разрешение переехать в Ревель, где служил по вольному найму в губернаторской канцелярии, продолжая в то же время сотрудничать в «Голосе». В 1880 г. ему позволено возвратиться в Петербург. Вызывает сомнение утверждение Кельсиева (да еще сделанное с оговоркой), что АльбертINI присутствовал при свидании Бакунина с Пафнутием: АльбертINI приехал в Лондон только в конце марта 1862 г. (Герцен, т. XV, стр. 78), а Пафнутий, поселившийся у Кельсиева около 10 декабря 1861 г., по собственным словам Кельсиева, прожил у него шесть недель, — следовательно, ко времени приезда АльбертINI его уже не было в Лондоне.

⁸¹ Можно думать, что здесь Кельсiev умышленно или неумышленно искажает фамилию, говоря о Ковальском вместо Ковалевского. В числе лиц, посещавших Герцена в 1862 г., помимо известного ученого В. О. Ковалевского, капитана Петра Ковалевского, статского советника Ю. М. Ковалевского и д-ра медицины О. Ю. Ковалевского, повидимому, был и какой-то правед Ковалевский. По крайней мере, в одном агентурном списке посетителей Герцена упоминается «Ковалевский (кажется, правед)» (Герцен, т. XV, стр. 381). Конечно, не исключена возможность, что агентом фамилия была переправлена.

⁸² «Организация» и «Ад» — революционные кружки, созданные в Москве Н. А. Ишутиным и его товарищами. Из ишутинского кружка вышел Д. В. Каракозов, решившийся произвести покушение на Александра II.

⁸³ Лугинин не был сторонником крайней дворянской реакции, выразительницей которой являлась газета «Весть». О его взглядах см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и молодая эмиграция».

⁸⁴ Кельсиев ошибочно говорит здесь об Иоанне Охтенском. Книгу «Полное историческое известие о древних строгольниках и новых раскольниках» (в 1855 г. было 5-е издание) написал известный историк старообрядчества, священник Журавлев, более известный под именем «Андрей Иоаннов» (1751—1813). Сначала сам старообрядец, он потом принял православие и был сделан священником охтенской церкви в Петербурге. — Книга плодovitого писателя Василия Николаевича Берха (1781—1834) «Царствование царя Алексея Михайловича», в двух частях, вышла в 1831 г.

⁸⁵ Имеется в виду упоминавшаяся выше статья Субботина «Раскол, как орудие враждебных России партий». Там говорится, что Кельсиев из изданий Герцена давал читать Пафнутию «Колокол» и прокламации «Что нужно помещикам?», «Что надо делать духовенству?», «Что нужно народу?», но «Полярную Звезду» и «С того берега» он остерегался ему давать: «Надо полагать, что опасались, как бы наивный старообрядец не смутился некоторыми из сделанных там замечаний, вроде того, например, что апостол языков, сделавшись Павлом, нанес гораздо больше вреда христианству, нежели когда был Савлом — гонителем христиан, или что святые отцы не больше как «византийские растлители ума», писавшие разные «бредни» («Русский Вестник», 1867, IV, стр. 716—717).

⁸⁶ «Гриша» — не роман, а очерк или рассказ из раскольничьего быта П. И. Мельникова-Печерского, первоначально появившийся в «Современнике», 1861 г., № 3, и в том же году вышедший отдельным изданием.

⁸⁷ Ничипоренко Андрей Иванович (1837—1863) — чиновник, участник революционного движения. Учился в петербургском коммерческом училище, где был на несколько классов моложе Кельсиева. Был корреспондентом «Колокола», членом общества «Земля и Воля». В 1862 г. был у Герцена в Лондоне, получил от него некоторые поручения. В марте этого же года имел сношения с Кельсиевым, тайно приехавшим в Петербург. Привлеченный к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, да «откровенные» показания. Умер в Петропавловской крепости. Крайне враждебное и пристрастное изображение Ничипоренко дано в очерке Н. С. Лескова «Загадочный человек». Он же выведен Лесковым в романе «Некуда» под именем Пархоменко.

⁸⁸ Лицо, давшее деньги — маркиз де Траверсе, Николай Александрович (1829—1864). Служа в Сибири, он познакомился с Бакуниным. В Лондоне в 1862 г. виделся с ним и познакомился с Герценом и Кельсиевым. Привлеченный к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами и поселенный в Алексеевский равелин, он заболел психически и вскоре умер.

⁸⁹ Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — известный дипломат. Советник посольства в Вене (1833—1838), посланник в Штутгарте (1841—1850), посланник при Германском союзе (1850—1854), посланник в Вене (1854—1856), министр иностранных дел (1856—1882). С 1867 г. носил звание государственного канцлера.

⁹⁰ Журнала «Экономический указатель» в 1862 г. уже не существовало, но вместо него тем же профессором И. В. Вернадским издавался «Экономист».

⁹¹ Бенни Артур-Вильям Иванович (род. около 1840 г.) — участник общественного движения 60-х годов. Сын пастора местечка Томашова, Варшавской губ.; учился в петровской гимназии; в 1857 г. уехал в Англию, где принял великобританское подданство. В Лондоне познакомился с Герценом. В 1861 г. вернулся в Россию, сотрудничал в газетах. Предпринял вместе с А. И. Ничипоренко путешествие по России, с целью собирать подписи под адресом Александру II, а также для изучения русской жизни. Был заподозрен в кружках передовой интеллигенции, как шпион III Отделения. Был привлечен к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Судом сената в декабре 1864 г. за недонесение о приезде в Россию Кельсиева приговорен к трехмесячному тюремному заключению и к высылке за границу. В октябре 1865 г. выслан из пределов России. Жил в Швейцарии и Италии. Отправил в Россию Шувалову прошение о принятии его в русское подданство. Как корреспондент английской газеты, участвовал в походе Гарибальди. При невыясненной обстановке был ранен в битве под Ментаной и умер 27 декабря 1867 г. В новейшей литературе биография Бенни дана наиболее полно в книге: Рейсер С., Артур Бенни, М., 1933 г.

⁹² По другим сведениям, Бенни служил в арсенале в Вульвиче.

⁹³ Здесь Кельсиев ошибается: приезд Бенни в Лондон, о котором он дальше рассказывает, никак не может быть отнесен к осени 1860 г., — ведь, Бенни возвратился в Россию только в 1861 г. Довольно подробно говорит Кельсиев о Бенни в обширной рецензии на известную книгу Н. С. Лескова «Загадочный человек» («Заря», 1871 г., VI, отдел библиографии, стр. 1—31). Здесь он утверждает, что Бенни приехал в Лондон, со специальной целью получить от Герцена удостоверение в своей политической безупречности, летом 1861 г. (стр. 20). Это тоже ошибка: данная поездка Бенни в Лондон могла иметь место только в 1862 г.

⁹⁴ Проект адреса царю был составлен еще в 1860 г. Бенин совместно с И. С. Тургеневым (см. названную выше книжку: Рейсер С., Артур Бенин, стр. 29).

⁹⁵ В упомянутой выше рецензии на «Загадочного человека» («Заря», 1871 г., кн. VI) Кельсиев дает совсем уж фантастическую генеалогию Бенин: «Отец его был протестантский пастор еврейского происхождения, сын, кажется, испанки, внук чуть ли не итальянки и правнук, если не ошибаюсь, португалки; жена этого пастора была англичанка, но как-то опять дочь немки и внучка шведки» (стр. 7). Сам Бенин в заявлении графу П. А. Шувалову писал: «Я родился в Царстве Польском от отца полунемца, полуйтальянца и матери англичанки».

⁹⁶ Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — известный писатель-этнограф, автор книг: «Год на Севере» (СПб., 1859 г.), «На Востоке. Поездка на Амур в 1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания» (СПб., 1864 г.), «Гюрья и ссыльные» (СПб., 1862 г. В дополненном виде — «Сибирь и каторга», СПб., 1871), «Лесная глушь» (СПб., 1871 г.), «Бродячая Русь Христа ради» (СПб., 1877 г.), «Крылатые слова» (СПб., 1890 г.) и др. Идеологически Максимов примыкал к «почвенникам». В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию, но от суда освобожден.

⁹⁷ Кожанчиков Дмитрий Ефимович — книгопродавец-издатель, открывший книжную торговлю в Петербурге в 1858 г. В 60-е годы издал ряд книг, относящихся к расколу: «Житие протопопа Аввакума» (1862), «История Выговской пустыни» и др. Привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию, от суда освобожден. Умер в 1877 г.

⁹⁸ Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866) — видный участник революционного движения 60-х годов. Окончил в 1853 г. Александровский лицей, служил в государственной канцелярии, в министерстве внутренних дел и в главном комитете по крестьянским делам. Выйдя в отставку, открыл в 1861 г. в Петербурге книжный магазин и библиотеку. Участвовал в организации воскресных школ, сотрудничал в герценовских изданиях и в составлении огаревских прокламаций, был одним из организаторов общества «Земля и Воля». Арестован 7 июля 1862 г. по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами и заключен в Алексеевский рavelин. В декабре 1864 г. приговорен сенатом к каторге на двенадцать лет; государственным советом каторга заменена ссылкой на поселение в Сибирь. Умер в Иркутске на пути в ссылку. Был человеком исключительной прямоты и мужества. — Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838—1869), революционер 60-х годов. В 1862 г. выехал за границу и больше не вернулся в Россию. За границей сблизился с Герценом, но потом стал во главе борьбы «молодой эмиграции» с Герценом. В 1867 г. выпустил резкий памфлет против Герцена «Наши домашние дела». Принимал участие в редакции «Народного Дела», в деятельности I Интернационала, в швейцарском рабочем движении. Впал в душевное расстройство и покончил самоубийством.

⁹⁹ Н. А. Серно-Соловьевич в 1861 г. выпустил в Берлине (а не в Лейпциге) в издательстве Ферд. Шнейдера, под своим именем брошюру «Окончательное решение крестьянского вопроса».

¹⁰⁰ Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901) — известный литературовед. С 1852 г. — адъюнкт Петербургского университета по кафедре русской литературы. С 1860 г. — экстраординарный профессор, с 1864 г. — ординарный профессор того же университета, с 1872 г. — академик. В совершенно ровной академической карьере Сухомлинова был кратковременный период, когда он пользовался некоторой популярностью среди петербургского студенчества. Это было в 1856—1857 гг., т. е. как-раз тогда, когда Кельсиев был вольнослушателем университета. В воспоминаниях А. М. Скабичевского по этому поводу говорится: «Древне-русскую литературу читал М. И. Сухомлинов суховато и вяловато, и студенты не засыпали на его лекциях благодаря лишь либеральным фейерверкам, о которых говорит Писарев в своей статье «Наша университетская наука» — М. К.], характеристизу Телицына. Надо, впрочем, отдать справедливость Сухомлинову, фейерверки эти производились искренно, от всей души, и почтенный профессор пользовался вполне заслуженною репутацией среди студентов, тем более, что в 1857 году оказался впереди студенческого движения...» («Литературные воспоминания», 1928, стр. 89). В 1857 г. Сухомлинов принял большое участие в издании студенческого сборника статей. На собрании студентов 20 апреля по поводу сборника он произнес весьма патетическую речь. Несмотря на всю свою банальность, она вызвала взрыв аплодисментов. «Замечательно, что вместе с сборником тушевался и Сухомлинов», — говорит Скабичевский (стр. 91). — Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — профессор истории. С 1847 г. читал лекции в Киевском университете; был инициатором открытия в Киеве первой воскресной школы. В конце 1853 г. переведен в Петербург на службу в археографическую комиссию. В 1860 г. подвергался аресту в связи с делом харьковских студентов. Его речь о тысячелетии России, произнесенная на публичном вечере 2 марта 1862 г., произвела фурор. Павлов был арестован и выслан в Костромскую губ., с запрещением выступать впредь с публичными лекциями. В 1866 г. получил разрешение вновь жить в Петербурге. В 1875—1885 гг. был профессором

по кафедре теории искусства в Киевском университете. См. «Дело профессора Павлова» М. К. Лемке в его «Очерках освободительного движения шестидесятых годов». Костомаров Николай Иванович (1817—1885), русский историк. Как один из основателей Кирилло-Мефодиевского общества, арестован в марте 1847 г. в Киеве и приговорен к одному году заключения в Петропавловской крепости и высылке в Саратов под надзор полиции. В 1855 г. получил разрешение жить в Петербурге. В начале 60-х годов пользовался громадной популярностью среди студентов. Его публичные лекции в городской думе, которые он читал после закрытия университета в 1861 г., имели исключительный успех и посещались не только студентами, но и посторонней публикой. Когда в марте 1862 г. был выслан из Петербурга профессор П. В. Павлов (см. выше), студенты в виде протеста против этой меры решили прекратить чтение лекций. Костомаров отказался подчиниться этому решению, за что на ближайшей его лекции студенты устроили ему шумную обструкцию. Этот инцидент положил конец прежней популярности Костомарова среди радикальной молодежи.

¹⁰¹ Щеглов Дмитрий Федорович (умер в 1902 г.) — педагог и писатель. Учился в педагогическом институте в Петербурге, где был товарищем Добролюбова. Был в это время радикальных взглядов и влиял в этом смысле на Добролюбова в начале их знакомства. По окончании института занимался некоторое время публицистикой, причем отказался от прежних убеждений. Впоследствии был директором гимназий в Новочеркасске и Одессе. Написал «Историю социальных систем» (1883), представляющую некоторый интерес по фактическому материалу, но крайне реакционную.

¹⁰² Это рассуждение о роли Каткова — самый яркий показатель того политического сумбура, который образовался в голове Кельсиева в 1867 г. Катков, как спаситель России не только от «нигилистов», но и от реакции, «Московские Ведомости» в качестве посредника между правительством и народом — все это показывает полную беспомощность его мысли и его политических концепций. У него выходит так, что та роль, на которую он в 1862 г. прочил Герцена, была с успехом сыграна Катковым.

¹⁰³ Более чем сомнительна солидарность Н. А. Серно-Соловьевича с изложенным здесь Кельсиевым «планом» диктатуры Герцена и пр. Свои собственные настроения и мышления Кельсиев задним числом приписывает и Серно-Соловьевичу.

¹⁰⁴ Петров Антон — крестьянин с. Бездна, Казанской губ., старообрядческий начетчик, руководитель крестьянского восстания в с. Бездна, происшедшего в связи с объявлением манифеста об освобождении крестьян. По приговору военно-полевого суда расстрелян 17 апреля 1861 г.

¹⁰⁵ Шибанев Иван Иванович (род. около 1835 г.) — московский купец-старообрядец. В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву. Содержался около двух лет в Алексеевском равелине. Судом сената приговорен в декабре 1864 г. к трехмесячному заключению в смиренном доме за недонесение о сделанном ему Кельсиевым предложении печатать в Лондоне недозванные в России старообрядческие книги. Ввиду его раскаяния суд ходатайствовал о вменении ему в наказание предварительного содержания в крепости. Ходатайство суда удовлетворено в марте 1865 г.

¹⁰⁶ Л. А. Перовский был министром внутренних дел с 1841 до 1852 г. Нельзя сказать, чтобы при нем относительно старообрядцев началась какая-нибудь, по существу, новая политика: систематическое преследование старообрядцев началось уже с 1826 г., с самого начала царствования Николая I, и в этой области было сделано очень много уже до 40-х годов. Во всяком случае, при Перовском преследования старообрядцев продолжались очень энергично. В 1841 г. был обращен в единое вероисповедание последний значительный иргизский монастырь — Верхний Спасо-Преображенский, «и солнце православия зашло на Иргизе». В том же году был строго подтвержден фактически почти не исполнявшийся указ 1838 г. об отобрании детей у раскольников для крещения их по православному обряду. Тогда же были отобраны все колокола, а с 1842 г. правительство стало усиленно запечатывать молитвенные здания старообрядцев. У старообрядцев были отняты в 40-х годах Преображенское и Рогожское кладбища в Москве, Волковская и Малоохтинская богадельни в Петербурге. Под влиянием всех этих гонений у старообрядцев стали развиваться эсхатологические настроения: старообрядческие проповедники настойчиво предсказывали, что на пасхе 1842 г. произойдет конец света.

¹⁰⁷ Семенов Семен (1829—1867) — известный начетчик австрийского согласия у московских старообрядцев. Уроженец Серпуховского уезда, бывший крестьянин гр. Орлова-Давыдова.

¹⁰⁸ Сивов Александр Львович.

¹⁰⁹ Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — известный книгоиздатель, сын купца-старообрядца. С 50-х годов начал собирать картинную галерею, которую завещал Румянцевскому музею. Издал много ценных книг по истории, литературе, этнографии и пр. В 1862—1864 гг. давал деньги на издание «Общего Веча».

¹¹⁰ Возможно, что это был А. Боголепов, раскольник австрийского согласия, пользовавшийся большим влиянием на Рогожском кладбище (см. исследование: Марков В. С., К истории раскола-старообрядчества второй половины XIX столетия, — «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1915, I (252), стр. 837).

¹¹¹ Кельспев Иван Иванович (род. около 1841 г., ум. 9 июня 1864 г.) — брат В. И. Кельсиева. О нем см. в предисловии к его письму к Е. В. Салпае.

¹¹² Касаткин Виктор Иванович (1831—1867) — литератор и революционер. О нем см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и молодая эмиграция».

¹¹³ Трубецкой Павел Петрович, князь — отставной поручик лейб-гвардии конной артиллерии, мировой посредник. В 1855 г. произведен из камер-пажей в корнеты с прикомандированием к михайловскому артиллерийскому училищу. В 1857 г. окончил курс в училище и переведен в гвардейскую конную артиллерию. Назначен мировым посредником в Москву 21 апреля 1861 г. В связи с приездом Кельсиева в Москву привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Освобожден от ответственности.

¹¹⁴ Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — известный фольклорист и историк русской литературы, автор исследований «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 3 тома, 1866—1869) и «Русские сатирические журналы 1769—1777 годов» (М., 1859), издатель «Народных русских сказок» (М., 8 выпусков, 1855—1863) и «Народных русских легенд» (М., 1859). Привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию. Освобожден от суда, но уволен от службы в московском архиве министерства иностранных дел. Позже служил секретарем в московской городской думе и в мировом съезде.

¹¹⁵ Заявление Кельсиева голословно и ничем не подтверждается.

¹¹⁶ Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — писатель по философским вопросам. Окончил Московский университет в 1856 г. В молодости увлекался французским утопическим социализмом. В 1858 г. был под надзором полиции по делу «вертепников» (П. Н. Рыбников и др.). В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву; от суда освобожден. Позже был близок с некоторыми членами ишутинского кружка. В 1866 г. привлекался к дознанию по делу Каракозова; запрещено жить в столицах. С начала 70-х годов стал интересоваться философией и совершенно отошел от революционного движения. С 1876 по 1887 г. был в Киевском университете сначала приват-доцентом, потом профессором философии.

¹¹⁷ Орфано Александр Герасимович (1834—1902) и Алексей Герасимович (1837—1891). Оба они в 1862 г. привлекались к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву, а в 1866 г. — по делу Каракозова.

¹¹⁸ Петровский Николай Федорович — отставной штабс-капитан, преподаватель Александровского кадетского корпуса в Москве, сотрудник воронежских «Филологических Записок». В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву. Приговорен 10 декабря 1864 г. к годичному заключению в крепости, причем суд, ввиду выраженного Петровским раскаяния, ходатайствовал о вменении ему в наказание предварительного содержания под стражу. Ходатайство удовлетворено царем 30 марта 1865 г. Обращает на себя внимание характер высказываний Кельсиева о Петровском: «В восторг пришел, узнав, что я эмигрант», «Отдался в мое распоряжение безусловно, беззаветно, душою и телом», «Идеи мои он принял и поставил себе в закон». Чем объяснить такую откровенность, вовсе несвойственную Кельсиеву в «Исповеди»? К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба Петровского, после утверждения приговора. Является вопрос: не умер ли он к этому времени, так что Кельсiev не мог ему повредить своими заявлениями?

¹¹⁹ Челищева Мария Александровна (родилась около 1841 г.) — дочь помещика. В начале 60-х годов была гражданскою женою А. А. Козлова, который придавал гражданскому браку принципиальное значение. В 1862 г. привлекалась к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву; за хранение у себя запрещенных сочинений приговорена к десятидневному аресту. В 1866 г. привлекалась к дознанию по делу Каракозова.

¹²⁰ Павел Прусский (до монашества Петр Леднев) — известный старообрядческий деятель. Родился в 1821 г. в Сызрани. Лет восемнадцати был «перекрещен» по обряду федосеевцев-беспоповцев. Жил некоторое время в Москве на старообрядческом Преображенском кладбище. Затем в 1848 г. уехал в Пруссию (откуда его прозвище) и основал там близ Гумбиннена монастырь. До 1867 г. стоял во главе этого монастыря. Пользовался большой известностью, как один из вождей раскола. В феврале 1868 г. в Москве присоединился к единоверию и поселился в Никольском единоверческом монастыре. Был потом архимандритом и настоятелем этого монастыря. Вел в литературе энергичную борьбу с расколом. Умер в апреле 1895 г. Биографические сведения о нем см. в книге: Субботин Н. И., Павел Прусский, М., 1895 г.

¹²¹ Иоганнесбург — городок в Восточной Пруссии, в ста тридцати километрах от Гумбиннена.

¹²² Мазуры — польское племя, живущее в Мазовии (область по рр. Висле, Бугу и Нареву) и Мазурии (в Восточной Пруссии). Среди других поляков мазуры представляют особую диалектическую группу и имеют свои бытовые особенности.

¹²³ Здесь у Кельсиева какое-то недоразумение. Балаам — не имя какого-нибудь инока, а название острова на Ладожском озере, на котором находился известный монастырь.

¹²⁴ Голубев (или Голубов) Константин Ефимович (а не Константинович, как ошибочно пишет Кельсиев) — религиозный писатель, ученик и помощник Павла Прусского. Изучил типографское дело у Гонсеровского и был наборщиком. Журнал «Истина», издававшийся Павлом Прусским, наполнялся, главным образом, статьями Голубева. Настоящий самоучка, Голубев интересовался не только религиозными, но также философскими и политическими вопросами. Находился в переписке с Огаревым и свои письма-ответы Огареву помещал в журнале «Истина». Называл себя в этой полемике «мужиком»; старался опровергнуть материалистические и республиканско-социалистические тенденции «Колокола». Летом 1867 г. Голубев принял единоверие — даже раньше Павла Прусского, примеру которого он следовал. Местом жительства ему после этого был назначен Псков. Был единоверческим священником. Издавал с 1867 по 1886 г. в Пскове журнал «Истина» (в 1887 и 1888 гг. издал «Миссионерские статьи под названием «Истина» в двух выпусках). К. П. Победоносцев и его постоянный корреспондент, известный специалист по вопросам раскола Н. И. Субботин, относились к этой литературной деятельности Голубева довольно пренебрежительно (см. «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1915, I). Личностью Голубева в 60-е годы очень заинтересовался Ф. М. Достоевский. 11/23 декабря 1868 г. он писал из Флоренции А. Н. Майкову: «А знаете ли, кто новые русские люди? Вот тот мужик, бывший раскольник, при Павле Прусском, о котором напечатана статья с выписками в июньском номере Русского Вестника. Это не тип грядущего русского человека, но конечно один из грядущих русских людей» (Достоевский, Письма, II, 1930, стр. 149). Достоевский здесь ошибается, говоря об июньском номере: статья Субботина «Русская старообрядческая литература за границей», которую он имеет в виду, помещена в июльской и августовской книжках «Русского Вестника» за 1868 г.). В черновых набросках «Бесов» Ставрогин встречается с Голубевым и подпадает под его влияние, т. е. ему отводится та роль, которая позже была дана Достоевским Тихону Задонскому (см. Достоевский, Сочинения, изд. «Просвещение», т. XIII, стр. 471—472).

¹²⁵ Гонсеровский — владелец типографии в Иоганнесбурге. С ним вступил в соглашение Павел Прусский, выписавший из Праги славянский шрифт.

¹²⁶ Очевидно, мысль о написании, с дозволения правительства, истории революционного движения в России за 1855—1862 гг. была одним из главных мечтаний, с которыми Кельсиев возвращался в Россию. Он, как видно, плохо представлял себе свое будущее положение ренегата в России и наивно думал, что участники революционного движения будут с ним откровенничать.

¹²⁷ «Поморские ответы» — выдающееся произведение старообрядческой письменности, излагающее очень полно учение старообрядцев по разным пунктам. Книга эта построена в виде ответов на 106 вопросов, которые были поставлены иеромонахом Неофитом, посланным «для увещания» в Выговскую обитель. Составлены «Поморские ответы» в 1723 г. Главный их автор — знаменитый Андрей Денисов, виднейший расколуучитель поморского толка, основатель Выговской пустыни; некоторое участие в составлении принимали также Семен Денисов и другие лица.

¹²⁸ Прокламация Огарева «Что нужно народу?» напечатана в «Колоколе» от 1 июля 1861 г., лист 102; в том же году вышла отдельной брошюрой. «Что надо делать духовенству?» напечатано с подписью Огарева в «Общем вечере», № 5, от 22 октября 1862 г. Прокламация «Что надо делать войску?», написанная Огаревым и Н. Н. Обручевым, напечатана в «Колоколе» от 8 ноября 1861 г., лист 111; в следующем году вышла отдельным изданием.

¹²⁹ Первый номер «Общего вечера» вышел 15 июля 1862 г. в качестве приложения к 141-му листу «Колокола». Вот содержание первого номера: От издателей. — Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви (с подписью Н. Огарева). — Хромцы. — Купцы Сергиевского посада Московской губернии: Пролубшиков, Агапов, Мальцов и Прокофьев. — Дело Сурнина. — Уральское дело. — Донос иже по делам веры фискальствующего купца Сопелькина (с примечанием В. К., т. е. Кельсиева). — Еще от издателей.

¹³⁰ В своей брошюре 1868 г. «Миколка-публицист» А. А. Серно-Соловьевич высказал о Кельсиеве такое предположение: «Уже не он ли сам и выдал-то Ветошникову?» (стр. 13). Это тяжелое обвинение против Кельсиева совершенно ни на чем не основано, и никто, кроме Серно-Соловьевича, ничего подобного не высказывал. Объяснить эту несправедливость Серно-Соловьевича можно лишь тем тяжелым душевным состоянием, в котором он находился в 1868 г., и большим его возмущением против Кельсиева, как ренегата.

¹³¹ О «Молодой России» Герцен в «Колоколе» высказывался в статьях «Мо-

лодая и старая Россия» (лист 139) и «Журналисты и террористы» (лист 141). В первой из этих статей он говорит: «...По совести признаемся, не понимаем ни белой горячки правительства, ни хныканья добросовестных журналов, ни душемяшения платонических любовников прогресса... Маловерные, слабые люди! как мало надобно вашим женским нервам, чтобы испугаться, бежать назад, схватиться за фалду квартального; как мало надобно, чтобы ваши парные чувства простыли и свернули; как мало — чтоб и вы, туда же, пустили свой камень в преследуемых». Герцену пришлось отвечать на обвинения в отсталости, предъявленные ему в «Молодой России». Он писал. «Вы нас считаете отсталыми — мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали сердцем, а сердце дает такт. Не сердитесь же и вы, когда мы дружески обратим ваше замечание и скажем, что ваш костюм Карла Моора и Гракха Бабефа на русской площади не только стар, но сбивается на маскарадное платье».

¹³² Демонстрация в Варшаве, которую имеет в виду Кельснев, произошла 8 апреля 1861 г.; поводом к ней послужило закрытие правительством Земледельческого общества, последовавшее 6 апреля. При усмирении войсками этой демонстрации было более ста жертв. Кельснев неправильно называет демонстрацию 8 апреля «первой свалкой»: демонстрации начались в Варшаве еще в 1860 г.; оружие применялось войсками уже 27 февраля 1861 г. Но демонстрация 8 апреля резко выделялась по количеству жертв. В Лондоне о ней стало известно из телеграмм 10 апреля. Как-раз на этот день Герцен назначил празднование освобождения крестьян в России, на которое собрались не только русские, но и многие представители международной эмиграции. Герцен имел в виду предложить тост за Александра II. Известие о событиях 8 апреля в Варшаве, конечно, сделало невозможным этот тост и придало всему собранию мрачный характер. По этому поводу Герцен поместил в 96-м листе «Колокола» статью «10 апреля 1861 года и убийства в Варшаве».

¹³³ Конечно, никаких оснований не имеет утверждение Кельснева, что, если бы не свирепая расправа с поляками, Герцен и Огарев тоже воротились бы с повинной. Свое ренегатство он старается оправдать тем, что и другие, якобы, были склонны к отступничеству.

¹³⁴ Замоиский Владислав, граф — польский политический деятель, родственник и ближайший единомышленник Адама Чарторыйского. Принадлежал к аристократической части польской эмиграции. Во время Восточной войны ездил в Турцию с неосуществившимся планом организации польских легионов для борьбы с Россией.

¹³⁵ Мерославский Людвиг (1814—1878) — известный польский революционер. Участвовал в польском восстании 1831 г., эмигрировал и был лектором во французской политехнической школе. В 1845 г. получил от Демократического общества поручение организовать восстание в Познани и в следующем году был там арестован. Освобожден из тюрьмы, вследствие революции 1848 г. В 1849 г. руководил восстанием сицилийцев против неаполитанского короля, командовал революционной армией в Бадене. Участвовал в гарибальдийском движении, организовал артиллерийскую школу для подготовки офицеров к будущему польскому восстанию. Во время восстания 1863 г. выдвигался на пост диктатора; однако, диктатором был избран Лявгевич, так как «белые» видели в Мерославском слишком левого. В феврале 1863 г. Мерославский потерпел неудачу на русской границе и бежал в Познань.

¹³⁶ Браницкий Ксаверий Владиславович, граф (1812—1879) — польский политический деятель. Представитель богатейшего аристократического рода. В молодости был гвардейским офицером в России, флигель-адъютантом Николая I. В 1848 г. уехал за границу и перешел на положение эмигранта. Занимал выдающееся положение среди польской аристократической эмиграции, связывавшей свои надежды с наполеоновской политикой. Во время Восточной войны 1853—1856 гг. ездил в Константинополь для организации польских легионов. В 1863 г. финансировал известную морскую экспедицию Лапинского. В том же году принял французское подданство и вскоре был назначен сенатором. Написал ряд брошюр по социально-экономическим вопросам.

¹³⁷ Хоецкий Карл-Эдмунд (1822—1899) — франко-польский литератор, политический деятель (во французской литературе известен под псевдонимом Шарль Эдмонд). С 1841 г. писал в варшавских изданиях, в 1844 г. поселился в Париже и с тех пор писал, главным образом, по-французски. В 1848 г. принимал участие в славянском съезде в Праге. Сотрудничал в изданиях Прудона; был посредником между Герценом и Прудоном при организации последнего газеты «Voix du peuple». В 1851 г. должен был покинуть Францию, но в конце 1852 г. вернулся в Париж. По выражению Герцена, приспособился к условиям бонапартовской монархии. Во время Восточной войны служил в турецких войсках, действовавших против России. Был личным секретарем либеральничавшего принца Наполеона («Плон-Плон»). Много работал в органе французских крупных промышленников «Temps». Продолжал поддерживать отношения с Герценом, хотя они и сильно разошлись политически. Опубликовал большое количество драм, романов, путевых очерков и пр., пользовавшихся успехом у французской публики. Имя Хоецкого часто упоминается в «Былом и

думах», также в письмах Герцена. Одиннадцать писем Герцена к нему опубликованы во втором томе сборника «Звенья».

¹³³ Падлевский Сигизмунд (1835—1863) — польский революционер. По окончании военной академии в Петербурге, был поручиком гвардейской артиллерии. В 1861 г. уехал в Париж и стал эмигрантом. В 1862 г. преподавал тактику и стратегию в эмигрантской польской военной школе. В сентябре того же года, вместе с Гиллером и Миловичем, от лица Варшавского центрального народного комитета, вел переговоры о восстании с Герценом и Огаревым. После этого руководил в Варшаве подготовкой восстания. В конце года ездил в Петербург, для переговоров с русскими и польскими революционными организациями. После начала восстания принял в нем активное участие, командуя отрядом повстанцев, стремившихся взять Плоцк. 21 апреля 1863 г. взят в плен, осужден военным судом и 15 мая расстрелян.

¹³⁹ Чарторыйский Владислав — сын Адама Чарторыйского. Как и его отец, был представителем и деятельным участником правой части польской эмиграции, группировавшейся около Отеля Ламберта.

¹⁴⁰ Поездка Бакунина в Париж, предпринятая им с намерением познакомиться и сговориться с лидерами польской эмиграции, состоялась в августе 1862 г.

¹⁴¹ Фенин — офицер стрелковой бригады, расположенной в Варшаве. Участник военного кружка Аргольдта Сливичко в 1862 г. Бежал за границу (имеются сомнительные сведения, что он принимал участие в восстании 1863 г.). Умер, по-видимому, в начале 900-х годов.

¹⁴² Потехня Андрей Афанасьевич — революционер. Год рождения не установлен, сын офицера. По окончании кадетского корпуса в Петербурге служил подпоручиком в войсках, расположенных в Польше. Был организатором военной революционной группы. Создал в Варшаве офицерскую организацию «Земли и Воли». Был заподозрен в соучастии в террористическом покушении на наместника Польши Лидерса (15 июня 1862 г.), после чего перешел на нелегальное положение. Один из инициаторов и авторов «Адреса русских офицеров», напечатанного Герценом в «Колоколе». В 1862 г. по делам военной организации два раза ездил в Лондон к Герцену. Прикнул к восстанию и в сражении с русскими войсками убит под Песчаной Скалой 4 марта 1863 г. В 161-м листе «Колокола» был помещен его краткий некролог, в 162-м статья Н. П. Огарева «Надгробное слово».

¹⁴³ В конце сентября 1862 г. в Лондоне к Герцену явились представители варшавского центрального комитета — Падлевский, Гиллер и Милович, привезшие с собой письмо центрального комитета с изложением его революционной программы. После переговоров делегатов комитета с Герценом, Огаревым и Бакуниным, заявление комитета было напечатано в 146-м листе «Колокола». Комитет, скрепя сердце, пригласил свою программу ко взглядам русских революционеров. Суть программы выражена в следующих словах: «Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, совершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самостоятельность всякого народа располагать своею судьбою». Декларация комитета и состояла в подробном развитии этих двух пунктов. Издатели «Колокола» поместили свой ответ на заявление варшавского комитета в листе 147 «Колокола». Они подчеркивали в ответе, что новая программа комитета совпадает с требованиями русских революционеров: «Что касается до нас, нам легко с вами идти, вы идете от признания прав крестьян на землю, обрабатываемую ими; вы признаете право всякого народа располагать своей судьбою» (Герцен, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 508).

¹⁴⁴ Под адресами здесь подразумеваются: «От центрального народного польского комитета в Варшаве гг. издателям «Колокола» (Колокол», лист 146; перепечатано: Герцен, т. XV, стр. 503—505); «Его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу от русских офицеров, стоящих в Польше» («Колокол», лист 148); «Офицерам русских войск от комитета русских офицеров в Польше» («Колокол», лист 151). По поводу этих адресов в европейской прессе и в «Колоколе» было много статей.

¹⁴⁵ Совершенно неверно, что организатором «Земли и Воли» был Герцен в 1862 г. «Земля и Воля» — тайное общество 60-х годов, возникшее в кругах, близких к «Современнику», по инициативе Н. А. Серно-Соловьевича, А. А. Слепцова и Н. Н. Обручева. Летом 1861 г. эти лица вели переговоры с Герценом и Огаревым; статья Огарева «Что нужно народу?» рассматривалась, как программа будущего общества. Центр общества был создан в России. Окончательно оформилось оно и приняло название «Земля и Воля» к августу 1862 г. Во главе его стоял русский центральный народный комитет. Несколько местных комитетов было организовано в губернских городах. А. А. Потехня создал в Варшаве довольно многочисленную офицерскую организацию «Земли и Воли». Организация выпустила под своим именем несколько прокламаций и два листка под названием «Свобода». «Земля и Воля» рассчитывала объединить как буржуазно-либеральные элементы, так и революционные. После польского восстания деятельность «Земли и Воли» стала замирать, и к 1864 г. общество совершенно распалось. Кельсиев уехал в Констан-

тинополь к моменту окончательного оформления общества, но все предварительные разговоры велись и первые организационные шаги делались еще во время его пребывания в Лондоне. Поэтому сомнительно, чтобы он был до такой степени не осведомлен о «Земле и Воле», как он это говорит. Его, между прочим, мог осведомить о деятельности общества уже в константинопольский период его брат Иван, в организации побего которого принимала участие «Земля и Воля».

¹⁴⁶ Лицо, о котором вели переговоры Герцен, Огарев и Бакунин, — по всей вероятности, принц Жером Бонапарт (См. «Каторга и Ссылка», 1926, № 5 (26), стр. 256). Об этой попытке французского правительства оказать, в своих целях, содействие развитию герценовской пропаганды в России ничего не известно из других источников. Весьма возможно, что посредником в сношениях Герцена с принцем служил Хоецкий, бывший личным секретарем принца Наполеона. Бонапарт Наполеон-Жозеф-Шарль-Поль (1829—1891), известный под именем принца Жерома, по прозвищу «принц Плон-Плон», — племянник Наполеона I. После Февральской революции 1848 г. был избран от Корсики в учредительное собрание, где примкнул к умеренным республиканцам. После декабрьского переворота 1851 г. держался в стороне от двора и считался вождем «левых» бонапартистов. Произносил либеральные речи в сенате. После падения второй Империи жил в Швейцарии, в 1875 г. вернулся во Францию. Избранный в 1876 г. в палату депутатов, выступал там против ультрамонтанов и иезуитов. После закона об изгнании из Франции принцев ранее царствовавших фамилий, принятого в 1887 г., жил сначала в Швейцарии, а потом в Италии, где и умер.

¹⁴⁷ В Далмации сербо-хорватское население, католическое по религии, пользовалось издавна правом слушать богослужение на славянском языке, по требникам глаголического написания. В 1904 г. это право существенно ограничено. Глаголица — сложный и своеобразный славянский алфавит: неясно, возникла ли глаголица раньше или после получившей широкое распространение кириллицы.

¹⁴⁸ Штрoсмайер Иосиф-Георг (1815—1905) — хорватский деятель. В 1849 г. назначен католическим епископом в Дьяковаре. На ватиканском соборе 1869—1870 гг. боролся против провозглашения догмата папской непогрешимости, но подчинился, когда догмат был принят. Был главою кroatской национальной партии в Хорватии. Содействовал основанию славянских учебных заведений, собранию и изданию произведений устного народного творчества и исторических памятников. Добился введения церковной службы на хорватском языке.

¹⁴⁹ Hôtel Lambert — историческое здание в Париже, построенное в 1604 г. для президента Ламберта де Ториньи. Этим отелем последовательно владели разные лица, в том числе князья Чарторыйские. Дом Чарторыйского был центром деятельности аристократической части польской эмиграции.

¹⁵⁰ На 1846 г. намечалось восстание во всех частях бывшего польского королевства. Центром восстания должен был сделаться Краков — вольный город по венскому трактату 1815 г. В Кракове революционеры образовали временное правительство, которое начало призывать к восстанию все части прежней Речи Посполитой. В конце концов, австрийское войско вступило в Краков, а затем подошли русские и прусские отряды. По венскому соглашению в ноябре 1846 г. правительства Австрии, России и Пруссии, несмотря на протесты Англии и Франции, включили Краков в состав австрийских владений.

¹⁵¹ Чарторыйский Адам-Юрий, князь (1770—1861) — польский политический деятель. Участвовал в военных действиях против русских в 1792 г., после чего эмигрировал. В 1795 г. появился при дворе Екатерины II в качестве заложника; сблизился с вел. кн. Александром Павловичем. Был назначен Павлом I послом к сардинскому двору — для удаления его от Александра Павловича. В 1801 г. вернулся в Россию, был близким другом и советником Александра I, членом «негласного комитета». Назначен попечителем виленского учебного округа и помощником государственного канцлера Воронцова. В 1804—1807 гг. — министр иностранных дел. В 1810 г. выехал навсегда из Петербурга; дружеские сношения его с Александром I продолжались. Присутствовал на Венском конгрессе. В Польше получил звание сенатора-воеводы и члена административного совета. Постепенно потерял доверие Александра I и в 1823 г. совершенно устранен от участия в управлении. Во время польского восстания 1830 г. занял пост президента сената и национального правительства. Являлся вождем умеренной, аристократической партии. После поражения восстания эмигрировал и до смерти жил в Париже, в «Hôtel Lambert». Был главой аристократической части эмиграции («белых»), которая видела в нем будущего короля Польши. Делал неудачные попытки к объединению польской эмиграции; уже в 1833 г. демократическая часть эмигрантов объявила его в манифесте «недостойным доверия» и «врагом эмиграции». Чарторыйский пользовался известным влиянием при некоторых европейских дворах, с которыми вел дипломатические переговоры, но в развитии революционного движения в Польше его партия никакой роли не играла. Им написан ряд книг.

¹⁵² Решид Мустафа-паша (1802—1858) — турецкий государственный деятель. В 30-х годах был послом в Лондоне и Париже. В 1837 г. назначен министром

иностранных дел, но уже в следующем году смещен по проискам старотурецкой партии; опять был послом Турции в Лондоне, Париже и Берлине. В 1839—1841 гг. — снова министр иностранных дел, в 1841—1843 гг. — посол в Париже. С конца 1845 г. — вновь министр иностранных дел, в 1846—1852 гг. — великий визирь, в 1853 г. — в четвертый раз министр иностранных дел, в 1856—1857 гг. — опять великий визирь. Видный представитель антирусской политики Турции.

¹⁵³ Чайковский Михаил Станиславович (Илларионович) (1804—1886) — польский политический деятель и писатель. Родился в Житомирском уезде, происходил из древнего польского рода, униат по религии. Принимал участие в восстании 1830—1831 гг.; после его разгрома эмигрировал, жил в Париже, где был близок к партии Чарторыйского и начал литературную деятельность. В качестве агента Чарторыйских отправился в Константинополь, с целью образовать постоянное казачье войско для поддержки польского дела. Создал польскую агентуру в Турции, Австрии, Болгарии, Сербии. После 1848 г., по предложению султана, принял магометанство с именем Садык-паши; получил от султана пожизненную пенсию и большое поместье близ Константинополя. В 1853 г. с началом крымской кампании, призван в ряды действующей турецкой армии и назначен начальником всего казачьего населения Порты. Сформировал регулярный «казачий» полк из славян («славянский легион»). Командовал авангардом турецкой армии, а потом корпусом, расположенным на рр. Серете и Пруте. По заключении мира назначен начальником султанской кавалерии. В течение двух лет искоренял разбойничество в Фессалии и Эпире. Произведен в генералы султанской гвардии. К польскому восстанию 1863 г. относился отрицательно. Мечтал о восстановлении Польши при помощи казачества и о слиянии ее с другими славянскими народами. Польской прессой рассматривался как изменник народному делу. В конце 60-х годов подал в отставку. Получил от русского правительства разрешение вернуться в Россию, куда прибыл в конце 1872 г. Принял православие и поселился в Киеве. Последние годы жизни жил в своем имении в Черниговской губ. Покончил самоубийством на почве семейных недоразумений. Не отличаясь художественным талантом, напечатал на польском языке много повестей, рассказов и пр. Сочинения его были изданы в двенадцати томах в 1862—1873 гг. По возвращении в Россию помещал свои произведения в русской реакционной прессе («Русский Вестник», «Московские Ведомости», «Киевлянин»). Его автобиографические записки помещены в «Русской Старине», 1895, XI, XII; 1896, I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII; 1897, II, V; 1898, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 1900, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII; 1904, VI, VIII, IX. Кроме того написаны им «Заметки и воспоминания Михаила Чайковского», — «Русская Старина», 1904 г., X, XII.

¹⁵⁴ 3 (15) апреля 1866 г. в Яссах произошло вооруженное кровопролитное столкновение между сторонниками соединения Молдавии и Валахии и сепаратистами-молдаванцами, противившимися соединению и кандидатуре Карла Гоенцоллерна. Во главе сепаратистов стоял митрополит. Против демонстрантов-сепаратистов действовали валашские войска, присланные бухарестским временным правительством. В румынской прессе устройство демонстрации приписывалось России.

¹⁵⁵ Фанариоты — греческие обитатели квартала Фанар в Константинополе, представлявшие привилегированную часть греческого населения в Турции. Благодаря своей близости к константинопольскому патриарху, фанариоты эксплуатировали в финансовом отношении христианское население Балканского полуострова. В XVIII—XIX вв. представители фанариотских родов играли заметную роль в государственной жизни Турции: очень часто они назначались на более видные посты в турецких посольствах за границей и являлись представителями власти в придунайских княжествах — Молдавии и Валахии. После турецкой революции фанариоты потеряли всякое значение.

¹⁵⁶ Нессельроде Карл Васильевич (Карл-Роберт), граф (1780—1862) — русский государственный деятель. Ученик и поклонник Меттерниха, проникнутый идеями «Священного союза». С 1816 до 1856 г. — руководитель министерства иностранных дел. — Каподистрия Иоанн, граф (1776—1831), русский и греческий государственный деятель. В 1816—1822 г. был одним из руководителей русской иностранной политики, являясь ближайшим помощником Нессельроде. С 1827 г. — правитель Греции.

¹⁵⁷ Бем Иосиф (1795—1858) — деятель польского национально-освободительного движения, талантливый полководец. Служил в польских войсках, после 1825 г. был уволен. Во время восстания 1830 г. командовал артиллерией восставших и произвел ряд удачных военных действий. После подавления восстания эмигрировал во Францию. В 1848 г. отправился в Вену и руководил обороной Вены от войск Виндишгреца. В 1849 г. командовал по назначению Кошута венгерскими революционными войсками в Трансильвании.

¹⁵⁸ Косцельский Владислав, граф (род. в 1820 г.) — польский эмигрант, сторонник Адама Чарторыйского. Был дивизионным генералом польских войск в Турции под именем Сефер-паши. По характеристике Чайковского (Садык-паши), «человек весьма способный, понимавший славянство и Восток, имевший прекрасные

связи в свете и в дипломатическом кругу». В 70-е годы находился на службе у египетского вице-короля.

¹⁵⁹ Лапинский Теофил — полковник, деятель польского национально-освободительного движения. Родился в Галиции, служил в австрийских войсках. В 1848—1849 гг. принял участие в венгерской революции и сражался в венгерских войсках. После подавления венгерской революции эмигрировал из Австрии. В 50-е годы несколько лет принимал участие в войне горцев на Кавказе против России. Выпустил на немецком языке книгу о войне на Кавказе («Die Bevölkerung des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen Russland». (Hamburg, 1863). Находился в связи с партией Чарторыйских. В 1863 г. был военным начальником неудачной морской экспедиции польских повстанцев против России на пароходе «Ward Jackson».

¹⁶⁰ Делегация от черкесов и абхазцев с целью подать английскому правительству петицию о помощи против России явилась в Лондон в конце 1862 г. Возглавлял делегацию и представлял ее Пальмерстону полковник Теофил Лапинский, вызванный известным политическим деятелем Давидом Уркартом. Делегация не добила никаких положительных результатов.

¹⁶¹ Более подробные сведения о Сливовском Кельсиев дает в своих тульчинских записках. В 1846 г., во время краковского восстания, Сливовский был гимназистом в Плоцке и вместе со своими товарищами-гимназистами собрался уйти за границу. Был арестован и по этапу отправлен в кантонистский батальон в Ярославле. Из кантонистов его перевели в учебный батальон. На одном ученье он бросился со штыком на обругавшего его майора. По военному суду его сослали в Иркутск, куда он шел пешком целый год, с 25 февраля 1849 г. по 25 февраля 1850 г. Десять лет Сливовский провел в Сибири, где усердно занимался самообразованием и не опустился. После производства в офицеры вернулся в 1860 г. на родину — на Волынь. Участвовал в первых демонстрациях и был отправлен в Саратов. Бежал из Саратова вместе со своим братом Ксаверием, молодым поляком Сташевским и канцелярским служащим Заборовским. Попал в Константинополь. Принял участие в экспедиции на Кавказ, организованной полковником Иорданом; был секретарем экспедиции. Через 8 месяцев вернулся в Константинополь, потом жил в Измаиле; переехал в Тульчу и поселился с Кельсиевым.

¹⁶² Заборовский Константин — бывший писец саратовского уездного канцелярия. В апреле 1863 г. вместе со Сливовским и Сташевским (или Станкевичем?) отправился в Константинополь, где имел сношения с Кельсиевым и польскими эмигрантами. В июне 1863 г. арестован в Одессе с турецким паспортом на имя Яна Костанди и выслан обратно в Константинополь. Вторично арестован в октябре того же года в Керчи с революционными изданиями; имел паспорт турецкого подданного Ивана Николо. Был предан уголовному суду.

¹⁶³ Прокламация Кельсиева была напечатана литографским способом славянским шрифтом. Русским шрифтом она напечатана в «Общем Деле», № 12, и в «Европейце», 1864 г., № 1. Славянским шрифтом воспроизведена в сочинениях Герцена, т. XVI, стр. 105.

¹⁶⁴ Русские владения в Америке уступлены Россией Северо-Американским Соединенным Штатам по договору 28 мая 1867 г. за семь миллионов двести тысяч долларов. Часть мурманского берега отошла от России к Норвегии в результате пересмотра и уточнения границ между этими двумя государствами по трактату 1826 г.

¹⁶⁵ Али-паша Магомед-Эмин (1815—1871) — турецкий государственный деятель. В 1854 г. назначен президентом учредительного собрания. С 1855 г. несколько раз назначался великим визирем (в последний раз с 1867 г.). В 1856 г. был на Парижском конгрессе представителем Порты. Очень влиятельный сановник, единомышленник Фуад-паши.

¹⁶⁶ Мутье Франсуа-Рене, маркиз (1817—1869) — французский дипломат. В 1861—1866 гг. был посланником в Константинополе. В 1866—1868 гг. — министр иностранных дел.

¹⁶⁷ Некрасовцы — потомки участников булавинского бунта 1707 г., переселившиеся под руководством атамана Игната Некраса в Турцию. Были поселены турецким правительством в Добрудже. Жили в селах Дунавец и Сериклой, не платя податей и имея лишь обязательство воевать с Россией по требованию турецкого правительства. По вероисповеданию — старообрядцы-поповцы.

¹⁶⁸ Гончар или Гончаров (сам он подписывался «Гаңчар») Осни Семенович (1796—1880) — старообрядческий деятель, один из главных руководителей турецким правительством в Добрудже. Жил в г. Измаиле, избранный некрасовцами своим представителем для переговоров с русскими властями. Вернувшись в Турцию, занимался торговлей. С 1837 по 1859 г. был старшиной общины некрасовцев. Являлся одним из организаторов белокрымской иерархии. Во время Крымской войны организовал вместе с Чайковским в помощь Турции особый казачий полк из русских выходцев. По делам некрасовцев находился в сношениях с турецкими властями, французским правительством, с поляками, а также с русскими лондонскими эмигрантами. В 70-е годы несколько раз приезжал в Россию. В 1870 г. получил раз-

решение поселиться в России. Его автобиография в передаче А. Б. Никитина напечатана в «Русской Старине», 1883, № 4.

¹⁶⁹ Павел Великодворский ошибочно назван здесь Белодворским. О нем см. выше, примеч. 76. Олимпий Милорадов, старообрядческий монах, до пострижения — Афанасий Зверев, мещанин посада Крылова, Полтавской губ. Принял монашество в Серковском монастыре, отсюда бежал за границу; здесь принял фамилию Милорадова. Очень смелый человек, горячо преданный старообрядчеству, он вместе с Павлом Великодворским отправился в 1845 г. в «великое странствие», в поисках лица, подходящего для поставления его старообрядческим епископом; они побывали в Сирии, Палестине, Египте и пр., представлялись австрийскому императору Фердинанду. Олимпий был участником славянского съезда, открывшегося в Праге 1 июня 1848 г. Из русских на этом съезде был еще М. А. Бакунин. Когда 12 июня 1848 г. в Праге неожиданно вспыхнуло восстание, подавленное через два дня, Олимпий принял в нем некоторое участие. В 1862 г. Бакунин безуспешно пытался письменно возобновить свое знакомство с Олимпием, чтобы через него привлечь старообрядцев в революционное движение.

¹⁷⁰ Энергичные хлопоты старообрядцев-поповцев об учреждении собственной иерархии в 40-е годы XIX в. увенчались успехом. Для этой цели был использован старообрядческий монастырь в Белой Кринице (в Буковине, входившей тогда в состав Австрии). В 1849 г. императором Фердинандом был дан указ, разрешивший белокриницким старообрядцам иметь своего епископа. Им согласился быть бывш. босно-саравский епископ Амвросий, отрешенный от епархии константинопольским патриархом, вследствие его столкновений с турецкими властями. Амвросий был перемазан в Белой Кринице 27 октября 1846 г. и тотчас же посвятил в преемники себе белокриницкого монаха Кирилла. Вследствие происшедших дипломатических осложнений, австрийское правительство арестовало Амвросия и подвергло его заключению, но старообрядческая церковь уже имела архиереев — в лице Кирилла и нескольких других лиц, рукоположенных Амвросием.

¹⁷¹ Райя — немусульманское население Турции, платившее государству подати, но пользовавшееся известной самостоятельностью в области гражданских обычаев и суда.

¹⁷² Вилково — селение на левом берегу Дуная, на песчаном мысе, в Килийском рукаве.

¹⁷³ Бульвер Вильям-Генрих Литтон (1801—1872) — английский дипломат. В 1857—1866 гг. был послом в Константинополе.

¹⁷⁴ Тувенель Эдуард-Антуан (1818—1866) — французский дипломат. Призван в министерство иностранных дел после переворота 2 декабря 1851 г. Занимался там преимущественно делами Востока. В 1860—1862 гг. — министр иностранных дел.

¹⁷⁵ Ушаков Александр Клеоникович (1803—1877) — генерал от инфантерии, участник Восточной войны на турецком фронте. Командовал русскими войсками, введенными в Добруджу.

¹⁷⁶ Статья Г. (Н. И. Субботина) «Раскол, как орудие враждебных России партий», — «Русский Вестник», 1866 г., № 11, стр. 50—51.

¹⁷⁷ Евгения (1826—1920) — дочь испанского графа Монтихо, с 1852 г. — жена французского императора Наполеона III.

¹⁷⁸ Герцен в главе «Былого и дум», посвященной Кельсиеву, говорит о Гончаре: «В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону: от него я этого не слыхал». В «Жизнеописании Осипа Семеновича Гончарова», написанном А. Б. Никитиным, говорится, что Гончар имел аудиенцию у Наполеона III, который его расспрашивал о жизни некрасовцев в Турции и приказал показать ему «все древности» («Русская Старина», 1883 г., кн. IV, стр. 188). Скорее дело ограничилось свиданием с Тувенелем: ссылка Кельсиева на переводчика довольно убедительна.

¹⁷⁹ Марониты — ветвь сирийских, с течением времени арабизировавшихся христиан, живших в горах Ливана. По религии близки к католицизму, хотя с отличиями в обрядах. Находились в половине XIX в. под покровительством Франции. Друзья — сирийская народность и секта, жившая в Южном Ливане и на Антиливане. Религия их представляла смесь различных элементов (магометанского, еврейского и христианского). В половине XIX в. друзья номинально подчинялись Турции. Вследствие интриг французов и англичан между друзьями и маронитами происходили сильные трения, разрешившиеся в 1861 г. отчаянной резней, которую произвели друзья среди маронитов. Воспользовавшись этим, Франция послала на Ливан оккупационный корпус.

¹⁸⁰ Гончар прожил в Лондоне у Герцена с 14 до 19 августа 1863 г. Герцен рассказал об этом посещении в «Былом и думах», часть VI, глава XI. О цели его приезда Герцен говорит: «Ему хотелось разузнать, какие у нас связи с раскольниками и какие споры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности, для него было все равно: он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией и с Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев» (Герцен, т. XIV, стр. 409).

¹⁸¹ И. И. Кельсиев прибыл в Константинополь 27 июля ст. ст. 1863 г.

¹⁸² Добруджа — область, обнимающая дельту Дуная и плоскую возвышенность к югу от нее. Население отличается чрезвычайной пестротой. С начала XV в. до 1878 г. Добруджа была подвластна Турции, входя в состав Болгарии. По Берлинскому трактату 1876 г. северная Добруджа присоединена к Румынии. Южная Добруджа была захвачена Румынией в 1913 г. ударом с тыла по обессилейшей от Г. локанских войн Болгарии. По сепаратному миру Румынии с Германией, подлежала возвращению Болгарии, но по договору в Нелли (27 ноября 1919 г.) Добруджа была оставлена за Румынией. В 1940 г. южная часть Добруджи была возвращена Румынии Болгарии.

¹⁸³ Фуад-паша Магомед (1814—1869) — турецкий государственный деятель и писатель. В 1840 г. состоял при Али-паше, отправленном в Лондон для переговоров. В 1848 г. назначен правительственным комиссаром в дунайских княжествах. В 1852—1853 и 1858—1860 гг. — министр иностранных дел. Был сторонником реформы во внутренней жизни Турции, поклонником европейской образованности и врагом России. В 1860 г. подавил восстание в Дамаске в качестве правительственного комиссара. В 1861 г. назначен великим визирем, в 1862 г., кроме того, и заведующим финансами Турции. С 1867 г. — вновь министр иностранных дел, каковым оставался до смерти.

¹⁸⁴ Аркадий, до монашества Андрей Родионович Шапошников — старообрядческий епископ. После Павла Белокриницкого — наиболее замечательное лицо в Белокриницкой иерархии. Уроженец Черниговской губ., позже переселился в Кременчуг. Еще молодым постригся в старообрядческом Лаврентьевском монастыре в Могилевской губ. Был настоятелем этого монастыря. По закрытии Лаврентьевского монастыря поселился в Славском скиту, в Добрудже, где пользовался громадным уважением и влиянием. В 1847 г. был единогласно выдвинут от Славского скита кандидатом в епископы, но митрополит Амвросий отказался посвятить его, так как Аркадий в молодости был женат на вдове, а это по старообрядческим правилам являлось препятствием для посвящения. В январе 1854 г. был все-таки посвящен и в том же году, после занятия Добруджи русскими войсками, бежал с Гончаром в Царьград. Потом вернулся в Добруджу. Носил звание экзарха Славского. Умер в ноябре 1868 г. Этого Аркадия не следует смешивать с другим старообрядческим епископом Аркадием (по фамилии Лысый), который в 1854 г. был арестован русскими войсками в Добрудже вместе с епископом Олимпом.

¹⁸⁵ Текст обращения к Александру II от группы старообрядцев-некрасовцев помещен в комментариях М. К. Лемке к сочинениям Герцена (т. XVI, стр. 166—168). Обращение было подано вопреки советам Гончару Герцена и Огарева. Составители петиции ходатайствовали о веротерпимости для старообрядцев в России; тон ее относительно Александра II подобострастный и льстивый. Нельзя сказать, чтобы петиция была направлена «против поляков». О поляках там говорится следующее: «Великий государь, просим мы все, заграничные старообрядцы, просит и польский народ, удивив на них милость свою! Даруй отеческое прощение, если Христос, спаситель мира, молил отца своего за распинающих его, поревнуй его щедро, отпусти польскому народу оказанную ими грубость, останови потоки крови». Письмо Огарева к Гончару, где он дает оценку прошению, см. в сочинениях Герцена, т. XVII, стр. 132—133.

¹⁸⁶ Пероты — уроженцы Перы, торгового квартала в Константинополе, населенного по преимуществу европейцами.

¹⁸⁷ Игнатъев Николай Павлович, граф (1832—1908) — государственный деятель. С 1864 г. был послом в Константинополе. В 1881 г. назначен, вместо Лорис-Меликова, министром внутренних дел для борьбы со «смутой». Издал «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». В 1882 г. вышел в отставку, в связи с составленным им проектом созыва «земского собора».

¹⁸⁸ Других биографических сведений о М. С. Васильеве, кроме тех, которые сообщает Кельсиев, не имеется. В «Пережитом и передуманном» Кельсиев изображает Васильева под именем Семена Михайловича Мудрова.

¹⁸⁹ Красноповцев Петр Иванович — сын штаб-доктора смоленского военного училища. В 1854 г. окончил курс в дворянском полку (впоследствии Константиновское военное училище), поступил в 5-ю артиллерийскую бригаду 5-й пехотной дивизии 2-го пехотного корпуса и отправился по собственному желанию в Севастополь, где пробыл с 22 июля по 27 августа 1855 г., т.-е. до очищения русскими войсками южной стороны города. Стоял затем со своей бригадой сначала в Подольской и Волынской губ., а затем в Царстве Польском, преимущественно в Люблинской губ. С 1857 г. начал читать «Колокол» и другие заграничные издания и вести пропаганду среди своих товарищей. В 1862 г. находился в Варшаве, будучи временно прикомандированным к 6-й артиллерийской бригаде. Участвовал в панихиде, устроенной офицерами по казенным Арнальдте и Сливицком. В то время, как других участников панихиды разослали по разным полкам внутри России, Красноповцев остался в Варшаве, так как состоял в это время под судом за «неуважение к начальству», т.-е. за ссору с полковником Зайцевым. В конце апреля 1863 г. он,

видя невозможность продолжать прежнюю пропаганду, отправился в Люблинскую губ. для вступления в какой-нибудь повстанческий отряд. В продолжение четырех месяцев был в одном из маленьких отрядов под начальством Зелинского; с ним участвовал в четырех сражениях, в том числе при Жиржине. Все время надеялся поднять простой народ и увлечь на сторону восстания русских солдат (из них в его отряде было пять человек). По разбитии отряда, поняв слабость восстания и невозможность перекинуть его в Россию, Красноповцев принял предложение отправиться в Галицию для формирования кадров из солдат австрийской службы. В Галиции его арестовали и заключили в крепость Ольмюц. Освобожденный, он, не теряя еще надежды на развитие восстания, направился в Краков, но увидев, что дело вконец проиграно, уехал в Париж, где сильно бедствовал. Через несколько месяцев он отправился в Тульчу к Кельсиеву. Приведенные сведения, очень дополняющие существующие скудные данные о биографии Красноповцева, взяты нами из «выписки из журнала русского эмигранта Кельсиева, доставленного в азиатский департамент вице-консулом в Тульче». Это показывает, что Кельсiev в конце 1864 г. вел в Тульче какие-то записки, из которых тульчинскому вице-консулу, конечно, «агентурным» путем удалось добыть выписку. Выписка сохранилась в деле о Кельсиеве в архиве III Отделения. Довольно много говорит Кельсiev о Красноповцеве в «Пережитом и передуманном», называя его там его настоящим именем. Оттуда можно извлечь некоторые дополнения к сообщениям его в «Исповеди», например, о том, что Красноповцев был большим приятелем А. А. Потебни и входил в «центральный комитет русских офицеров в Польше» и пр.

¹⁹⁰ Сообщения Кельсиева о том, в чем отряде сражался Красноповцев, противоречивы. В своих тульчинских записках, о которых см. предыдущее примечание, он называет Зелинского, в «Пережитом и передуманном» — Биссика.

¹⁹¹ Станкевич Павел Платонович — украинец, студент Киевского университета.

¹⁹² Левицкий Андрей Андреевич — воспитанник военного училища в Галиции. Принимал участие в польском восстании 1863 г. Дауша — чех, воспитанник политехнического училища в Праге. Также участник восстания 1863 г.

¹⁹³ По донесению тульчинского вице-консула А. Кудрявцева, Красноповцев покончил с собой в ночь с 7 на 8 февраля 1865 г. (см. Герцен, т. XIV, стр. 640).

¹⁹⁴ Писем Кельсиева к Герцену и Огареву в печати не появлялось. Из писем к нему издателей «Колокола» напечатаны: письмо Огарева с припиской Герцена от 3 июля 1865 г. (Герцен, т. XVIII, стр. 160); письма Герцена: от 29 октября 1865 г. (там же, стр. 241—242), от 13 декабря 1865 г. (с припиской Огарева, — там же, стр. 281), от 9 мая 1866 г. (там же, стр. 388—389), от 24 мая 1866 г. (там же, стр. 405—406).

¹⁹⁵ Пряшов — славянское название города Эпереш в Венгрии, на левом берегу реки Гарцы, со смешанным мадьярско-славянским населением.

¹⁹⁶ 21 октября 1863 г. Кельсiev написал письмо в Иерусалим к русскому архиерею Кириллу (числившемуся мелитопольским епископом), который несколько лет стоял во главе русской духовной миссии в Иерусалиме и в это время отзывался обратно в Россию. До Кельсиева дошли неправильные слухи, что Кирилл в России ждет «опала и чуть ли не ссылки, и он в своем письме уговаривал Кирилла перейти в старообрядчество и стать в с. Майносе, в Малой Азии, епископом той значительной части старообрядцев-поповцев, которая не желала признавать белокрыницкой иерархии из-за греческого происхождения первого белокрыницкого митрополита Амвросия. Кельсiev думал, что если бы нашлся епископ-великоросс, то эти «раздорники» признали бы его. Кирилл игнорировал это предложение. Письмо Кельсиева напечатано в «Православном собеседнике», 1867, № 2, стр. 114—120; перепечатано в «Русском Вестнике», 1867, № 3, стр. 405—409.

¹⁹⁷ Газеты «Courrier d'Orient» мы не могли отыскать в московских библиотеках, и статья Кельсиева в этой газете нам неизвестна. О редакторе газеты, корсиканце Петри, Кельсiev упоминает выше, в отделе «Цареградские дела».

¹⁹⁸ Кельсievа Варвара Тимофеевна (родилась около 1840 г., умерла в октябре 1865 г.) — жена В. И. Кельсиева. Урожденная Щербакова. До замужества была гувернанткой при дочерях гр. Ореуса. В некрологической заметке о ней в 208-м листе «Колокола» Герцен писал: «Безропотно, самоотверженно, кротко, без фраз вынесла эта твердая, превосходная женщина добровольную ссылку, страшную бедность и всевозможные лишения. Ей едва ли было двадцать пять лет» («Две кончины», Герцен, т. XVIII, стр. 249).

¹⁹⁹ Базиаш — городок в Венгрии, на Дунае, на сербской границе.

²⁰⁰ Духинский Франциск (1817—1893) — польский историк и публицист. Уроженец Украины. Эмигрировал за границу, был сначала профессором польской школы в Париже, а потом хранителем известного польского музея в Рапперсвиле. В 50-е и 60-е годы напечатал ряд работ, в которых доказывал, что великороссы не являются арийцами и принадлежат не к славянскому, а к туранскому племени. В качестве политического вывода из своей теории Духинский предлагал восстановить польское государство с присоединением к нему Белоруссии и Украины. «Гео-

рия» Духинского подверглась в русской литературе резкой критике. Главная работа Духинского называлась «Nécessité des réformes dans l'exposition de l'histoire des peuples aryas-européens et tourans, particulièrement des slaves et des moscovites» (Paris, 1864). По поводу этой книги Герцен 18 августа 1867 г. писал Огареву: «Я читаю теперь Духинского и иной раз перечитываю, чтобы убедиться, что такую беллиберду можно так серьезно писать» (Сочинения, т. XIX, стр. 439).

²⁰¹ По всей вероятности здесь имеются в виду лекции по истории славянской литературы, которые Адам Мицкевич читал в Париже в 1840—1844 гг. Там можно найти некоторые мысли того порядка, который здесь интересует Кельсиева. Так, в 22-й лекции говорится, что великороссы представляют потомство славян и финнов, «потерявшее чистоту своего языка и крови и забывшее свои нравы». «После распада финского племени его дух продолжал жить и перешел в новое тело». Мицкевич доказывал, что история России потеряла славянский характер, что это история мрачная и безумная; рядом с ней история Польши — блестящая история чисто славянского народа. Петр I, по определению Мицкевича, — «отатаренный москаль» и пр.

²⁰² Мартен Бон-Луи-Анри (1810—1883) — французский историк, публицист и общественный деятель. Автор известной «Histoire de France», законченной в 1854 г. и затем многократно перерабатывавшейся и дополнявшейся. В 1871 г. — член Национального собрания, где он примкнул к левым республиканцам; с 1876 г. — сенатор. Автор многих публицистических статей и книг, в т. ч. «Pologne et Moscovie» (1863), «La Russie et l'Europe» (1866). В последней книге, имеющей эпиграфом слова: «Europe aux européens», Мартен призывает Европу изгнать в Азию русских, как «туранцев»; цель его — создание европейской федерации против России. По поводу этой книги Герцен 1 июня 1866 г. писал сыну: «...Анри Мартэн издал теперь книгу «L'Europe et la Russie», — так и руки чешутся» (т. е. хочется выступить полемически против Мартена). Этого своего желания он не привел в исполнение.

²⁰³ Viquésnel (если Кельсиев правильно передает это имя), повидимому, какой-то французский публицист. У нас о нем нет сведений.

²⁰⁴ «Словацкие села под Пресбургом». — «Русский Вестник», 1866, № 7. Подпись: В. Иванов-Желудков.

²⁰⁵ Выстрел 4 апреля — неудачное покушение Д. В. Каракозова на Александра II в 1866 г. За этим покушением последовал взрыв реакции.

²⁰⁶ Покушение Каракозова вызвало целый поток верноподданнических адресов и заявлений, которыми были наполнены все газеты. Конечно, чаще всего они составлялись и подавались просто, чтобы не навлечь подозрений в отсутствии царелюбия.

²⁰⁷ Новые суды вводились постепенно. Было постановлено, что 17 апреля 1866 г. новые судебные учреждения будут открыты в двух округах — петербургском и московском. После выстрела Каракозова 4 апреля в реакционных кругах выражалось мнение, что введение новых судов нужно отсрочить. Однако, этой отсрочки не последовало, и 17 апреля новые суды были открыты в обоих столичных округах.

²⁰⁸ В июле 1866 г. в Россию приехало чрезвычайное посольство от Вашингтонского конгресса для принесения поздравлений Александру II с благополучным для него исходом покушения Каракозова 4 апреля. Посольство было как бы ответом на то, что за три года до этого эскадра адмирала С. С. Лесовского стояла у американских берегов, в чем выражалось благоприятное отношение русского правительства к Северу в его междоусобной борьбе с Югом. Во главе посольства стоял Дж. В. Фокс, второй секретарь морского департамента (товарищ морского министра) США. 27 июля посольство представлялось Александру II, причем Фокс вручил царю поздравительный адрес, утвержденный конгрессом, и произнес речь. На следующий день Фоксу и американским офицерам был дан обед в Кронштадте русскими моряками, и Александр II посетил американский монитор «Миантонома». 11 августа посольство выехало в Москву, 17 августа — на нижегородскую ярмарку. 1 сентября посольство отправилось обратно.

²⁰⁹ Имеется в виду австро-прусская война, предлогом для которой послужил шлезвиг-голштинский вопрос. Пруссия была в Союзе с Италией, на стороне Австрии были южно-германские государства. Война формально началась 17 июня 1866 г. 3 июля пруссаки нанесли Австрии решительное поражение при Сadowой. Уже 27 июля был заключен предварительный мир в Никольсбурге, а 23 августа окончательный — в Праге. Результатами войны были образование Северо-Германского союза, устранение Австрии из Германии и территориальное расширение Пруссии.

²¹⁰ «Письма из Австрии. Следствия войны», — «Голос», 1866, № 218.

²¹¹ Кельсиев здесь приводит строки из стихотворения Михалевица в «Дворянском гнезде» Тургенева:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

²¹² Наследник престола Александр Александрович (будущий Александр III) вступил в брак с дочерью датского короля Христиана IX, Софией-Фредерикой-Дагмарой (Мария Федоровна) 28 октября 1866 г. Принцесса Дагмара была сначала невестой старшего брата Александра, Николая Александровича, умершего в 1865 г.

²¹³ Попов Нил Александрович (1833—1891) — историк и славист, профессор Московского университета по кафедре русской истории с 1860 г., автор исследований «Татищев и его время» (1861) и «Россия и Сербия» (1869). Много писал по вопросам славянской жизни и политики. В качестве секретаря Славянского благотворительного общества в Москве, имел ближайшее отношение к организации славянской этнографической выставки.

²¹⁴ Богшич Балтазар (1840—1908) — уроженец Далмации, известный славянский юрист-этнограф, исследователь славянского права, кодификатор Черногории. С 1862 г. — библиотекарь императорской библиотеки в Вене. В 1869 г. занял кафедру истории славянских законодательств в Новороссийском университете.

²¹⁵ Журнал «Knizewnik» со статьей Кельсиева и Богишича мы не могли найти в московских библиотеках.

²¹⁶ Герцен, действительно, находил, что Кельснев, как писатель, идет вперед и видел в нем публициста своей школы. 29 марта 1867 г. он писал Огареву «Желудкова статья хороша; мой совет, как говорил Чаадаев обо мне и Грановском. Но я немного подожду и сделаю ему печатный *divertissement*. Всего мерзее богоблудие с православием и нападки на вольтеррианизм в Румынии» (Герцен, т. XIX, стр. 256). Статья Иванова-Желудкова (Кельсиева), о которой идет речь, это, очевидно, «Наблюдение над Яссами» («Голос», 1867, №№ 54, 55). Свое намерение о печатном предостережении Кельсневу Герцен привнес в исполнение: в 243-м листе «Колокола» помещена его заметка «Первое предостережение».

²¹⁷ Скарга Петр (1536—1612) — иезуит, знаменитый польский церковный оратор. Окончил Краковскую академию. Ректор Виленской академии, придворный проповедник при Сигизмунде III. Главное его сочинение — «О единстве церкви божией» (1577). Энергично боролся с польскими диссидентами. Умер в Кракове. — Поцей (или Потей) Игнатий (1541—1613), церковный деятель. Учился в Краковской академии. Был одно время кальвинистом, затем снова вернулся к православию. В звании епископа Владимир-Волынского был одним из главнейших деятелей по проведению унии. В 1599 г. назначен униатским киевским митрополитом. — Баторий Стефан (1533—1586), князь семиградский, с 1575 г. — король польский, ведший упорную борьбу с Москвою. — Понятовский Станислав (1676—1762), польский магнат. Поддерживал Карла XII шведского в его борьбе с Россией, состоял его адъютантом. Участвовал в Полтавском битве, после которой бежал с Карлом XII в Турцию. По смерти Карла признал Августа II и служил ему; с 1731 г. был воеводой мазовецким. Август III назначил его каштеляном краковским.

²¹⁸ «Путешествие по Галичине» напечатано в «Голосе», 1866, №№ 260, 261, 263, 268, 274, 276, 278, 318, 325, 333; 1867, №№ 3, 90, 91. Уже после написания «Исповеди», в 1868 г., печатание продолжалось в №№ 69, 88, 89, 99, 106, 133, 149, 157, 162, 190, 191. В 1868 г. вышла отдельная книга «Галичане и Молдавия, путевые письма Василия Кельсиева».

²¹⁹ Голуховский Агнер, граф (1812—1875) — австрийский государственный деятель. По происхождению поляк из Галиции. В 1849—1859 гг. был наместником Галиции. В 1859 г. назначен министром иностранных дел, но уже в следующем году смещен. В 1866—1867 гг., затем с 1871 г. вновь состоял наместником Галиции. Усердно стремился к колонизации края.

²²⁰ Лангевич Мариан (1827—1887) — польский революционер. Участвовал в экспедиции Гарibaldi против Неаполя. В 1862 г. был назначен вождем повстанцев Сандомирского района. В марте 1863 г. провозглашен польским диктатором. После поражения восстания отступил в Галицию, где был арестован. Умер в Турции.

²²¹ Петрушевич Антоний — униатский священник, каноник во Львове, исследователь церковной истории Галичины, также филолог и этнограф.

²²² Май вместо июня назван Кельсиевым по ошибке. Ошибочно он говорит и о числе; в действительности он был доставлен в III Отделение не 2, а 3 июня. Об этом Кельснев дважды говорит в «Пережитом и передуманном», это же явствует и из официальных источников. Верно он запомнил только день: 3 июня в 1867 г. приходилось в субботу.

²²³ Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) был у Герцена в июне 1862 г. 14 июня Герцен писал сыну: «Мне Писемского вообще не очень хочется видеть: он писал дурные вещи, в самом гадком смысле и направлении» (Сочинения, т. XV, стр. 209). 21 июня он сообщает Н. А. Огаревой: «С Писемским и Коршем были сильные и сильно неприятные объяснения» (там же, стр. 220). В 1863 г. Писемский напечатал в «Библиотеке для чтения» пасквильный роман «Взбаламу ченное море»; XVI—XIX главы шестой части романа посвящены сношениям героя его Бакланова с лондонскими эмигрантами. Приведенный в негодование Герцен коснулся Писемского и его романа в статье «Ввоз нечистот в Лондон» («Колокол», лист 175). О характере разговоров при свидании Герцена с Писемским дает пред-

ставление следующая сценка «Подчиненный и начальники», находящаяся в этой статье (подчиненный — Писемский, начальники А. и В. — Герцен и Огарев:

«Подчиненный. — Находясь проездом в здешних местах, счел обязанностью явиться к вашему превосходительству.

Начальник А. — Хорошо, братец. Да что-то про тебя ходят дурные слухи? Подчиненный. — Невинен, ваше превосходительство, все канцелярская молодежь напакостила, а я перед вами, как перед богом, ни в чем-с.

Начальник В. — Вы не маленький, чтобы ссылаться на других. Ступайте...».

Кроме того, Герцен привел в статье отрывок из письма, полученного им от Писемского летом 1862 г., перед их свиданием. — Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист, известен как издатель с 1863 г. крайне-крепостнического органа — газеты «Весть». До того Скарятин был умеренным либералом с англomanским оттенком. Об этом периоде его деятельности говорится в очерке: Пантелеев Л. Ф., В. Д. Скарятин, — «Минувшие годы», 1908, XII. — Потехин Николай Антипович (1834—1896), драматург, участник «Искры», позже — режиссер, актер и театральный рецензент. В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, сидел в крепости, но от суда был освобожден. У Герцена Потехин был в мае 1862 г. (Сочинения, т. XV, стр. 128). Показание его на допросе об этом свидании см. в книге: Лемке М. К., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908, стр. 108—110. — Островский Александр Николаевич (1823—1886) был в Лондоне с 20 по 26 мая 1861 г. (Синюхов, Г. Т. Труды и дни Островского. — Сб. «Островский», «Труды Пушкинского Дома» 1924, стр. 341). О его визите Герцену до сих пор в литературе не было сведений. Горбунов Иван Федорович (1831—1895), артист, известный автор и рассказчик юмористических бытовых сцен. Был спутником Островского в заграничной поездке. Цвет, по всей вероятности, Семен Николаевич, окончивший одесский Ришельевский лицей. Служил по удельному ведомству, затем определился ученым секретарем в отряд из трех корветов, отправившийся в Тихий океан под начальством адмирала А. А. Попова. За выступления Цвета против телесных наказаний матросов и вообще за его «свободомыслие» адмирал высадил его в Англию. Возвратившись в Россию, Цвет был чиновником разных ведомств и дослужился до чина действительного статского советника. Пребывание его в Англии, повидимому, относится к концу 1861 г. См. письмо к нему А. П. Марковой-Виноградской в «Минувших годах», 1908, № 10. — Перетц Григорий Григорьевич (1823—1883), чиновник и литератор. С 1849 г. был учителем русского языка в разных петербургских учебных заведениях; с 1862 г. бросил службу и занялся литературной деятельностью, главным образом, по библиографии и критике. Еще в 1845 г. выпустил книжку стихов под псевдонимом Петра Штавера. В 60-е годы некоторое время заведывал внутренним отделом «Правительственного Вестника», потом стал постоянным сотрудником «Голоса». В 1873 г. поступил на службу в министерство внутренних дел и несколько раз был командирован за границу для изучения вопроса о подделке наших ассигнаций. У Герцена Перетц бывал в июне 1862 г. 20—24 июня Герцен писал о нем Н. А. Серно-Соловьевичу: «Знаете ли вы Г. Перетца? Он, кажется, очень хороший и образованный человек» (Сочинения, т. XV, стр. 219). Когда арестовали Ветошников, явно выданного каким-то шпионом, пробравшимся к Герцену, то стали падать подозрения на Перетца. По этому поводу Герцен писал 5 сентября 1862 г. В. В. Стасову: «Очень благодарен за ваше письмо. — тем больше, что я, наконец, убедился, что перед чист. Странное дело перца, что не он щипал нам язык, а наш язык пощипал его. В Петербурге вы его непременно оправдайте» (там же, стр. 467). Значительное правдоподобие подозрения против Перетца приобрели в 1866—1867 гг., когда он, по словам М. К. Лемке, «официально служил в 3-й экспедиции (разведочной и справочной) III Отделения» (там же, стр. 381). — С. И. С. Тургеневым Кельсиев мог встречаться у Герцена в мае 1862 г., когда он приехал на три дня из Парижа в Лондон для свидания с Герценом и Бакуниным (19 мая Тургенев уехал). Перед тем он был у него в августе 1860 г. — О Л. Н. Толстом см. дальше. — Кусаков — товарищ В. А. Панаева, был в Лондоне вместе с последним весной 1859 г. Он приводил Герцена в восторг своим исполнением русских песен. См. воспоминания В. А. Панаева («Русская Старина», 1902, кн. V, стр. 323). — Михайлов Михаил Илларионович (1829—1865) — известный поэт-переводчик, беллетрист и публицист. В 1861 г. при его участии Н. В. Шелгунов составил прокламацию «К молодому поколению»; Михайлов отпечатал ее в типографии Герцена и в августе 1861 г. привез в Россию. Арестованный 14 сентября, он принял авторство на себя и был приговорен к каторге на шесть лет. — Гербель Николай Васильевич (1827—1883), поэт-переводчик, отставной офицер. Был близок с М. И. Михайловым и Н. В. Шелгуновым, имел некоторое отношение к обществу «Земля и Воля». В 1861 г., проживая в Лондоне, был в близких отношениях с Герценом и Огаревым. Привез материал для печатавшегося Огаревым сборника «Русская потаенная литература XIX столетия» и участвовал в корректуре этой книги (см. Герцен, т. XXII, стр. 128—129). — Жемчужников Николай Михайлович познакомился с Герценом летом 1860 г., явившись к нему с рекомендательным письмом от И. С. Тургенева.

В 1862 г. часто бывал у Герцена. Вернулся в Россию в сентябре 1865 г. по случаю смерти своего отца. — Пассек (урожденная Кучина) Татьяна Петровна (1810—1889), писательница, родственница Герцена, друг его детства и ранней юности, автор известных воспоминаний «Из дальних лет», посвященных, главным образом, Герцену и его кружку. — О Казакове см. выше, примеч. 32-е. — О Дубовицком см. дальше. — Неизвестно, о каком Боборыкине говорит здесь Кельсиев. Известный беллетрист Петр Дмитриевич Боборыкин впервые познакомился с Герценом, мельком встретившись с ним, лишь осенью 1865 г. в Женеве (см. его «Столицы мира», М., 1911 г., стр. 495). Он довольно близко сошелся с Герценом и часто бывал у него только в зиму 1869—1870 гг. — совсем перед смертью Герцена. — Обручев Николай Николаевич (1830—1904) — в начале 60-х годов профессор военной статистики. Был близок к Чернышевскому, входил в тайное общество «Великоросс»; был одним из организаторов общества «Земля и Воля», в 1861 г., командированный на службу за границу, довольно долго жил в Лондоне, где сошелся с Герценом и Огаревым. Вместе с Огаревым принимал участие в составлении прокламации «Что нужно народу?» и «Что надо делать войску?» Впоследствии — видный военный деятель, начальник главного штаба, член государственного совета. — О Сераковском см. дальше. — В 1862 г. в Лондон приезжали два брата Боткина: известный литератор, член кружка людей 40-х годов Василий Петрович (1811—1896) и профессор медико-хирургической академии знаменитый врач Сергей Петрович (1832—1889). Последний был со своей женой; может-быть, под «Боткинскими» Кельсиев подразумевал именно супругов Боткиных? — О личности Белохвостова нам ничего неизвестно. Можно было бы предположить, что Кельсиев забыл фамилию и назвал Белохвостова вместо Белоголового, но дело в том, что доктор Николай Андреевич Белоголовый, сотрудник «Колокола», приехав летом 1861 г. в Лондон специально для свидания с Герценом, не застал его дома, так как он на несколько дней уехал в Париж. Белоголовый немедленно отправился в Париж, и свидание состоялось там. Значит, Кельсиев в Лондоне не мог встречать Белоголового. — Владимиров Николай Михайлович (родился в 1839 г.), потомственный почетный гражданин. Окончил петербургское коммерческое училище, где был несколькими классами моложе Кельсиева. Торговой конторой Скворцова, в которой он служил, был командирован в Лондон, где познакомился с Герценом. Арестован в июле 1862 г. в Москве по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Судом сената приговорен в декабре 1864 г. «за пособничество лондонским пропагандистам в сношениях с соумышленниками и за распространение их изданий» к каторжным работам на восемь лет. В виду его «раскания», каторжные работы по ходатайству суда заменены ссылкой в Сибирь на поселение. В 1866 г. он поселен в с. Оёке. Дальнейшая судьба его неизвестна. — Трувеллер Владимир Николаевич (родился около 1842 г.), юнкер 29-го флотского экипажа. В июне 1862 г. арестован на фрегате «Олег» за приобретение за границей прокламаций «Что надо делать войску?» и «Что нужно народу?» и за попытку распространения их среди нижних чинов фрегата. Морским генерал-аудитором приговорен к трем годам каторги; по конфирмации 19 февраля 1864 г. каторжные работы заменены ссылкой на поселение в Западную Сибирь. В 1865 г. возвращен из Тобольской губ. и поселен под поручительством матери в ее имении в Новгородской губ. В 1877 г. выехал в Швейцарию. — О последних лицах в списке Кельсиева — Богатыреве, Смирнове и Сорокине-Шербине у нас не имеется сведений. Весьма возможно, что «Сорокин-Шербина» нужно читать как «Сорокин и Шербина».

Сорокин Иван Максимович (род. в 1833 г.) — доктор, приятель Чернышевского и Добролюбова; в 1860—1863 гг. проживал за границей для научных занятий. Впоследствии был профессором судебной медицины и токсикологии в Военно-медицинской академии.

Шербина Николай Федорович (1821—1863) — известный поэт; в 1861 г. был за границей и посещал Герцена. Два сохранившихся письма к нему Герцена напечатаны в XI т. собрания сочинений последнего.

²²⁴ Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) — капитан генерального штаба, видный русско-польский революционер начала 60-х годов. В 1845 г. поступил в Петербургский университет; в апреле 1848 г. был задержан при попытке перейти австрийскую границу и по распоряжению Николая I отправлен рядовым в Оренбургский корпус. В 1856 г. произведен в первый офицерский чин. Потом окончил академию генерального штаба. Бел энергичную борьбу с телесными наказаниями солдат. Играл выдающуюся роль в революционных кружках конца 50-х — начала 60-х годов. Близко стоял к обществу «Земля и Воля». Принимал участие в подготовке польского восстания. В марте 1863 г. стал во главе одного из важнейших повстанческих отрядов. Взятый в плен, был по распоряжению М. Н. Муравьева повешен. Н. Г. Чернышевский, относившийся к Сераковскому с глубокой симпатией, вывел его в романе «Пролог пролога» под фамилией Соколовского.

²²⁵ Других сведений о Дубовицком, кроме того, что сообщает о нем Кельсиев, в литературе не имеется.

²²⁶ Запасник Александр, писатель по финансовым вопросам. В ноябре 1860 г.

Огарев писал П. В. Анненкову, что он все читает проект выкупа крестьян, составленный Запасником. Это книга: «Etudes financières sur l'émancipation des paysans en Russie, sur l'impôt foncier, le système monétaire et le change extérieur par Alexandre Zapasnik», Paris, 1860. «Проект очень практичен, по всем правилам науки и в должных границах науки, но все же он слишком умен для комитета и потому не пройдет» («Звенья», III—IV, 418). Этому же Запаснику принадлежит магистерская диссертация «О погашении государственных долгов» (СПб., 1857). Об этой книге говорится в библиографическом обзоре Чернышевского в «Современнике», 1857, № 8. В 1861 г. Запасник, живя в Лондоне для изучения постановки банкового дела, познакомился с Герценом и Огаревым. См. Герцен, т. XI, стр. 361.

²²⁷ Об отношении Герцена с Л. Н. Толстым см. сообщение Н. Гусева в настоящем томе «Литературного Наследства». Разумеется, слова Кельсиева, что Толстой говорил с Герценом исключительно о педагогиче, совершенно не соответствуют действительности.

²²⁸ Живой рассказ об этом изобличителе Бакунина находится в «Былом и думах» Герцена:

«Бакунин вставал поздно: нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Очень рад.

— Что вы это так поздно встаете? а еще демократ.

... Молчание... слышен плеск воды, каскада.

— Михаил Александрович!

— Что?

— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

— Да.

— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности; вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить примером.

— Что вы за вздор несете!

— Да вы, скажите, по любви женились?

— Вам что за дело?

— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата.

— Что вы это, допрашивать меня пришли? Ступайте к чорту!

— Ну, вот, вы и рассердились, а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

— Хорошо, хорошо, только будьте умнее». (Герцен, т. XIV, стр. 432—433).

²²⁹ Аби́хт Генрих, — польский революционер. Учился в гимназии, курса не окончил, был почтовым чиновником. Эмигрировал и около года (в 1858—1859) был наборщиком в «Вольной русской типографии» Герцена в Лондоне, потом уехал в Париж. Принадлежал к польским социалистам. Принимал участие в июльском восстании 1863 г., взят в плен и казнен в Варшаве вместе с ксендзом Макаром Конарским. Кельсиев написал о нем статью «Эмигрант Аби́хт» («Русский Вестник», 1869, I).

²³⁰ Об одном молодом офицере, который в 1863 г. говорил Герцену о своем намерении убить М. Н. Муравьева, Герцен рассказал в 1868 г. в статье «Нашим врагам» в 14-м—15-м листе французского «Колокола» (Сочинения, том XXI, стр. 206). К тому же 1863 г. относится, по словам Н. А. Огаревой-Тучковой, разговор Герцена с тремя русскими, повидимому, о царевубийстве: «Они казались еще очень молоды, едва кончившие курс в каком-то университете. Герцен был так поражен их разговором, что не спросил их имена, а, впрочем, говорил позже, что и не жалел об этом. Вот что он рассказывал о свидании с ними: они начали с того, что рассказывали Герцену, как с польского восстания стали теснить учащих, как все светлые надежды России мало-помалу померкли. Конечно, Герцен, слышал уже обо всем этом; он возразил: «Что же делать, надо выждать; когда реакция пройдет, тогда Россия опять будет развиваться и исполнять свои исторические задачи.

— Но это долго, — возразил один из них, — в молодости терпения мало; мы приехали затем, чтобы слышать ваше мнение; мы хотим пожертвовать собой для блага отечества и для того решились на преступление...

— Не делайте этого, — возразил с жаром Герцен, — это будет бесполезная жертва, и она поведет к еще большей реакции, чем июльское восстание. Обещайте мне честно оставить эту мысль; помните, что этим поступком вы принесете только большой вред отечеству. Возьмите любую историю, и вы найдете в ней подтверждение моих слов.

Они сознались в незрелости их мысли и уехали убежденные». (Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, М., 1903, стр. 210—211).

²³¹ Бейст Фридрих-Фердинанд, граф (1809—1886) — саксонский и австрийский государственный деятель. С 1849 г. министр иностранных дел в Саксонии, с 1853 г., кроме того, и министр внутренних дел. Вдохновитель контрреволюции 1849 г. и последующей реакции. С 1867 г. австрийский министр-президент. Достиг соглашения с Венгрией и создания дуалистического государства Австро-Венгрии. В 1871 г. получил отставку.

²³² Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — известный славист, профессор Петербургского университета, академик.

²³³ Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878) — славянофил, видный общественный и государственный деятель времен Александра II. Участвовал в подготовке освобождения крестьян, в 1863—1864 гг. проводил крестьянскую реформу в Польше. В 1868—1870 гг. — московский городской голова. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. ему было поручено гражданское политическое устройство Болгарии.

²³⁴ Письмо Кельсиева к Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи с вопросом о возможности для него участвовать в русской журналистике опубликовано в «Русской Старине», 1882 г., кн. IX.

²³⁵ Паржницкий Игнатий Иосифович был недолго студентом Главного педагогического института, а затем перешел в Медико-хирургическую академию. В 1856 г. он был во главе делегации к царю от студентов академии, которые жаловались на президента академии. Паржницкий за это был отправлен в качестве фельдшера в Тавастгус. После он поступил в Казанский университет, но за участие в студенческих волнениях исключен. Через некоторое время уехал в Берлин. Дальнейшая судьба его неизвестна. Игнатий Паржницкий был близок с Н. А. Добролюбовым и оказывал на него влияние. У него было два брата — Александр и Поликарп. Неизвестно, кто именно из них попал в Галац. О братьях Паржницких см. «Дневник» Н. А. Добролюбова, 1931 (по указателю).

²³⁶ Дювернуа Николай Львович (1836—1906) — юрист, впоследствии профессор гражданского права Петербургского университета.